

П. П. БАЖОВ

3

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

П. П. БАЖОВ

Сочинения в трех томах

ТОМ III

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1986

Собрание сочинений печатается по изданию:
П. П. Бажов. Сочинения в трех томах.
Изд-во «Правда». 1976.

Иллюстрации художника
И. И. Пчелко

УРАЛЬСКИЕ
БЫЛИ

В ДЕТСКИЕ ГОДЫ

— Ты что не собираешься? Ревело ведь!

— Ладно, без сборов. Отдохнем.

— Что ты! Отказали?

— Объявил вчера надзиратель — к расчету!

Мать готова заплакать. Отец утешает.

— Найдем что-нибудь. Не клином свет сошелся. На Абаканские [1] вон которые едут.

Перед этими неведомыми Абаканскими мать окончательно теряется. Краснеет нос, морщатся щеки, и выступают крупные градины — слезы. Старается сдержаться, но не может. Отец вскакивает с табурета и быстро подходит к «опечку», где у него всегда стояла корневая чашечка с махоркой. Торопливо набивая трубку, сдержанно бросает:

— Не реви — не умерли!

Мать, отвернувшись к залавку, начинает всхлипывать. Я реву. Отец раздраженно машет рукой и с криком: «Взяло! Поживи вот с такими!» — захлопывает за собою дверь.

Вмешивается бабушка. Она ворчит на мать, на отца, на заводское начальство и тоже усиленно трет глаза, когда доходит до Абаканских.

Днем приходят соседки «посудачить». Винят больше отца.

— И когда угомонится человек?

— Мне Михайло когда еще говорил — непременно откажут твоему-то.

— Вон в кричном он Балаболку-то осадил: хоть стой, хоть падай!

---

[1] Железоделательные заводы в Минусинском округе, бывшие Кольчугинские. (*Прим. автора.*)

Начинают припоминать отцовские остроты, но они так круто посолены, что передают их женщины только «на ушко». Мать обыкновенно заступается за отца и, кажется, делает это не только «от людей», но вполне искренно. Она даже горячится, что так редко бывает при ее ровном, спокойном характере.

Вечером приходит отец. Красные воспаленные глаза показывают, что выпито немало. Однако на ногах держится твердо, говорит громко, уверенно. Удивляется «тем дуракам, которые сидят в Сысерти, как пришитые».

— Уедем, и дело с концом! На Абакане, небось, не по-нашему. Чуть кто зазнался, сейчас приструнят. А у нас что? Попетан изъезжается, Балаболка крутит, и Царь ехидствует. А ты не моги слова сказать. Терпи — потому у тебя тут пуп резан. Найдем место. Вон там как живут!

Отцу не противоречат, по опыту знают, что хорошего ничего из этого не выйдет. Мне — малышу — отцовские планы кажутся заманчивыми, и я засыпаю с думой о далеком крае, где все не по-нашему.

Утром тяжелое раздумье — как быть? Оставить домишко, покос, огород! Кому продать? А вдруг на Абакане не лучше Сысерти?

Бабушка и мать, конечно, против Абакана. Отец сдает: «Надо поискать где поближе».

«Поближе» — значит к Белоносихе, на спичечный завод. Но туда редко удавалось поступить. Обыкновенно там было переполнено рабочими, и работали они задаром. На мельницах тоже ничего не было.

Оставалось «пытать счастья» в «городе». (Так безыменно звался Екатеринбург.)

Отец недели на две, на три исчезает из дому. Мать усиленно работает днем и ночью, вконец изводит глаза: плетет широкие кружева или вяжет узорные чулки для заводских барынь. Не столько заработок, сколько взятка по женской линии.

Отец приходит угрюмый — нет работы. Ехать в Сибирь после неудачных поисков уже не собирается.

— Сходи к управителю-то,— говорит бабушка.

Отец хмурится и бормочет:

— Да уж, видно, придется, мать. В «поторжную» — и то не попасть без этого.

Начинается «выдержка»: «На той неделе побывай», «после Успенья зайди».

Съедено уже все. На поденные работы в заводе отец, однако, не выходит. Знает, что все равно не примут, да и позором это считается для фабричного рабочего. Промышляет, чем придется: рыбалкой, старательством, сенокошением и т. д. Мать слепнет над ажурными чулками уже из самого тонкого шелка.

— Рассылка приходил. К управителю звали,— радостно сообщает она возвратившемуся с рыбалки отцу.

Это значит — конец измывательству.

Отец поспешно одевается «по-праздничному» и уходит. Возвращается веселый, «Посылает в Полевской».

Начинаются сборы. Отец обычно уезжает на следующий день «с попутными». А мы с матерью и бабушкой перебираемся потом, когда уже он получит «за половину».

Случай вроде описанного мне пришлось переживать в детстве не один раз. Разница была лишь в подробностях. Вместо Абаканских заводов иногда выплывали более близкие: Невьянский, Нязе-Петровский, прииск Кочкарь. Иногда отцу удавалось устроиться на время в Екатеринбурге или на спичечном заводе в условиях, еще более тяжелых, чем в Сысерти.

Кончалось все-таки возвращением «к своему месту», которое, как тяжелая гиря, тянуло в кабалу к тем же владельцам Сысертских заводов, на которых работали и в крепостную пору.

Отцом, видимо, дорожили за его работоспособность и ряд ценных навыков по пудлингово-сварочному цеху. Его лишь «выдерживали» и «проветривали», но совсем с заводов не «прогоняли».

Может быть, помогала здесь редкая специальность матери: заводские барыни находили, что машинные кружева и чулки слишком грубы против Сверлихиной [1] работы.

«Проветривание» отца продолжалось обыкновенно год — полтора, редко меньше, и мы снова переселялись

[1] Уличное прозвище отца — Сверло. (*Прим. автора.*)

в свой сысертский домишко до той поры, пока отец опять не «забунтит».

«Бунченье» отца было самого невинного свойства. Было у человека в запасе жесткое словцо и уменье «оконфузить на людях». А этого заводское начальство, от самого маленького до самого большого, никак не переваривало. Начинались придирки, доносы... Кончалось обыкновенно «скандалом», после которого неизменное: «К расчету!»

В силу этих постоянных «проветриваний» отца мне в детские годы пришлось пожить — и не по одному разу — во всех заводах Сысертского округа. Не порывал связи с заводами и потом, хотя надо сказать, что эта связь была случайной. Знал лишь о выдающихся фактах заводской жизни: о смене начальства, о крупном недоразумении с рабочими, о каком-нибудь заводском «казусе».

С такой внешней стороны жизнь Сысертского округа была мне известна приблизительно на протяжении тридцати лет — до начала войны четырнадцатого года.

Многое из этой жизни, как я потом убедился, было типичным для всего горнозаводского Урала, поэтому я и решаюсь воспроизвести сохранившиеся в памяти обрывки картин заводского быта за последние три десятка лет перед революцией.

Должен оговориться, что постоянного касательства к заводскому делу я никогда не имел, поэтому многое, может быть, очень важное, ускользнуло от моего внимания.

Я просто жил жизнью рабочих, слышал их жалобы, разговоры, хлесткую насмешку над «начальством», видел жизнь и работу этого «начальства» и хочу, как умею, рассказать об этом, охватывая главным образом восьмидесятые и девяностые годы.

СЫСЕРТСКИЕ ЗАВОДЫ

— Здравствуй, матушка Сысерть, с крутыми горами! Здравствуй, быстрая река, с темными борами!

Так пела «мастеровщина» о своем заводе и речке.

Гор, правда, там нет, но небольшие увалы, отроги Уральского хребта, густо покрытые сосновым лесом, со всех сторон окружили завод и так «ловко стали» около речки, что дали возможность легко ее запрудить.

Четыре заводских пруда имеются на этой маленькой речке: Верхнезаводский — самый большой, Сысертский, на котором стоит главный завод округа, Механический и Ильинский.

По числу прудов было и число фабричных зданий. Верхний завод готовил, главным образом, шинное, узкополосное и круглое железо. Ильинский «гнал кровлю». В Сысертском наряду с прокаткой сортового железа работали и доменные печи. Механическая обслуживала потребности завода в токарных и слесарных изделиях.

Возле верхнезаводских фабрик был маленький поселок, домов около семидесяти, из которых значительную часть составляли заводские дома: для управителя, надзирателя и т. д. Вблизи Ильинского частных домов совсем не было. Механическая вплотную примыкала к окраине Сысертского завода — «Рыму». Все занятое в производстве население жило в Сысертском заводе, который широко раскинулся в северной части заводского пруда, а дальше тянулся по берегу Механического и в заречной части. Считалось в Сысерти в пору моего детства около двенадцати тысяч населения.

Кроме группы фабрик, расположенных по реке Сысерти, в состав округа входили Полевской медеплавильный и железоделательный завод — в сорока пяти верстах от Сысерти, и Северский чугуноплавильный и железоделательный — в сорока верстах. В Полевском считалось свыше семи тысяч населения, в Северском — около четырех тысяч.

Все заводы были окружены густым хвойным, преимущественно сосновым, лесом.

Были в этих лесах и совсем глухие углы. Например, верстах в двадцати от Верхнего завода участок «Храпы» представлял собой непроходимую трущобу, где водился медведь, волк, дикий козел и лось. Козлов и лосей было так много, что их иногда забивали на Верхнезаводском пруду во время их перехода из «Храпов» к «Карасьему». Из «Храпов» лес обыкновенно брали только для каких-нибудь фундаментальных сооружений:

на «мертвые брусья» к плотине, на матицы, на ледорезы. Брусники в борах за Сысертью было так много, что осенью за ней шли длинные обозы из «крестьян» [1]. В заводской конторе за полтинник брали билет на право вывозки одной телеги брусники.

Около Полевского завода сосновый лес начинал смешиваться с ельником, пихтой, лиственницей. Особенно густы были ельники в «Саженском углу», верстах в тридцати от Полевского. Около Полевского встречались и колки липняков. Место было настолько глухое, что еще в девяностых годах здесь велось бортевое пчеловодство самым древним образом. Хозяин ставил на «своих деревах меты» и осенью лез за медом. Были такие пчеловоды, которые исчисляли свои борти сотнями и не всегда их находили.

Кроме заводских селений, в черте Сысертского округа было несколько рудников и приисков, с возникшими около них поселками. Жители этих поселков в пору крепостничества звались «горнозаводскими крестьянами», «непременными рабочими заводов Сысертских». Такими же «непременными» они остались и потом, так как незначительные наделы и «неродимые» земли не давали им возможности кормиться только крестьянским хозяйством, заставляли работать на заводы: по добыче и доставке руды, возке угля, железа, чугуна и т. д.

Земли Сысертского горного округа были расположены в пяти волостях: Сысертской, Полевской, Северской, Полдневской и, частично, Щелкунской и представляли собой полосу верст в сорок шириной (с севера на юг) и верст семьдесят длиной (с востока на запад).

Границы Сысертской заводской дачи имели неправильную форму. Особенно изломанной была северная граница, которая узким выступом подходила чуть не к самому Ревдинскому заводу, захватывая полностью обе речки Вязовки и озеро Ижбулат, где возник первый поселок при разработке Дегтярского месторождения. По документам, в Сысертской заводской даче считалось 239 707 десятин 426 квадратных сажен, то есть около 2 500 квадратных километров.

---

[1] Рабочие заводов сами поголовно значились крестьянами Сысертской, Полевской и Северской волостей, но называли себя «заводскими», а «крестьянами» звали жителей сел и деревень, где занимались хлебопашеством. *(Прим. автора.)*

Из этой полосы часть была выделена для «непременных крестьян», которые имели покосы и кой-какую пашню, и для заводских обществ, которые имели лишь усадебную землю и покосы. Остальное принадлежало заводам «на посессионном праве». За какие-то смешные гроши, по устаревшей расценке XVIII века, владельцы пользовались лесами, рудниками, россыпями и — самое главное — имели возможность самым беспощадным образом выжимать пот из рабочего и крестьянина, которые своими крохотными участками были накрепко привязаны к округу и вынуждены были работать на условиях — «сколько пожалуют».

В заводских селениях считалось свыше двадцати тысяч населения да столько же было «сельских работников» в ближайших селениях: Авериной, Абрамовой, Косом Броде, Кунгуровке, Макаровой, Полдневой, Новоипатовой, Щелкуне и других. Огромное количество постоянных дешевых рабочих, великолепные леса и богатые руды давали заводским владельцам возможность получать большие доходы даже при самом первобытном способе оборудования завода.

Помню, мальчуганом я удивлялся оборудованию Полевского завода. Здесь медь плавилась в каком-то старинном котле, в который со всех сторон были проведены трубки-поддувалы. Чтобы очистить медь от примесей, расплавленную массу «дразнили», опуская в нее березовую палку, чуть подсушенную. Древесный сок вызывал бурление, и на крышу летела «медная пена» — мелкие шарики, которые мы, ребятишки, охотно собирали для игрушек. Взрослые, кстати сказать, тоже иногда собирали «медную пену», но уже по другим соображениям. Они приписывали ей лекарственное значение — сращивает переломленную руку или ногу, помогает от грыжи, желудочных болей и так далее.

Низенькое здание медеплавильной с толстыми закопченными стенами, котел и почерневшие от времени трубки напоминали о глубокой старине. Казалось, вот-вот покажется думный дьяк Виниус, с приказом которого связано начало заводского дела в этом месте. Этот думный дьяк, по тогдашнему моему пониманию, представлялся в виде заводского дьячка Петровича, с лохматой головой, вышибленными в пьяной драке зубами и покривившимся носом.

Капиталистического предприятия, которое из конкуренции стремится к новой машине и техническому улучшению, в Сысертских заводах совсем не было видно. Здесь просто велось огромное помещичье хозяйство с самым упрощенным выматыванием жил рабочего и крестьянина.

Зачем было тратиться на новые машины да еще держать специалистов-инженеров, когда свои «доморощенные» правители умели без новых машин выколачивать достаточно?

Было все так ясно, понятно.

Потребует владелец внеочередной куш — правители пошлют. Пошлют сразу без разговоров. И даже больше: как-нибудь этот неожиданный расход сумеют покрыть. Сведут ближайший лесной участок, начнут брать руды только с ближних рудников, заложат, что можно — но деньги в срок доставят и перерасход замажут. Какое значение эти неожиданные барские требования имели для производства — об этом мало кто тревожился: была бы выполнена «барская воля».

БАРЫ

«ИСКОННЫЕ»

«Коренные, родовые, исконные» бары для Сысертского округа были Турчаниновы, которые владели заводами с 1759 года. Их фамилией часто назывался весь округ и его фабрикаты: турчаниновские заводы, турчаниновское железо, турчаниновская пристань.

В пору крепостничества Турчаниновы по своему усмотрению выселяли, вселяли и переселяли «своих горнозаводских». Известно, например, что Полдневая, бывшая когда-то крепостцой против башкирских набегов, была населена «мастеровыми Турчанинова». Село Кунгурское «заселено» в 1826 году крепостными, «перегнанными» из Полевского завода. Были случаи переселений чуть не накануне падения крепостничества. Так, в деревню Щербаковку Марк Турчанинов переселил своих

крепостных из деревни Салтыковой, Пензенской губернии, в 1846 году.

Это переселение из центральной России в половине пятидесятых годов, между прочим, показывает, что на Урале Турчаниновы чувствовали себя более уверенно. Если в средней России уже заколебались устои крепостничества, то на далеком Урале они еще казались, видимо, крепкими. Здесь даже официально крепостничество держалось много дольше, чем в средней России. Бывшим своим крепостным верхбоевцам и новоипатовцам Турчаниновы удосужились выделить землю по уставным грамотам только 1 сентября 1879 года.

В конце прошлого столетия Турчаниновы представляли не более как старое имя. Фамилия Турчаниновых давно уж разбилась на ряд ветвей. Приплелись сюда люди с другими именами, они приспособились к владельчеству «с бочку»: получили какую-нибудь долю в приданое за дочерью или «владельческой племянницей». Эту владельческую мелочь старые заводские служаки, гордившиеся былым могуществом Турчаниновых, презрительно называли «заводскими пьявками».

Дробность владения позволила более ловкой и близкой к верхам семейке Соломирских скупить большую часть владения и стать тем заводским барином, прихотью которого определялось заводское производство.

Во времена моего детства как раз заканчивалась борьба Соломирских за владение с последней Турчаниновой. Так и говорилось: на половине Турчаниновой, на половине Соломирского, но больше «половины» звались по управляющим, которых тоже было двое: Трубин и Черкасов.

Нужно сказать, что рабочие и служащие, кроме «прихвостней», относились к этой борьбе с насмешкой.

Борьба, однако, была слишком неравна. У Соломирского было девяносто частей владения, а у Турчаниновой таял последний десяток, переходя через вторые и третьи руки к ее противнику. К концу восьмидесятых годов Турчанинова была сведена на положение «прихлебательницы», с которой перестали считаться. Ее дети уже вовсе не имели никакого значения.

Единственным владельцем заводов остался Соломирский.

ТУРЧАНИНИХА

«Марья Антоновна — ангел небесный»,— говорили о ней заводские «присудари» и их жены. Слово «небесный» обязательно прибавлялось. Думали, видно, что одного слова «ангел» мало.

«Марейка-сука»,— коротко определяла мастеровщина.

Одни в своем определении налегали на внешность, другие — на внутренние качества.

Даже в пору увядания Турчаниниха была красивая, хорошо одетая женщина. Немудрено, что в годы молодости она закружила, завертела последнего Турчанинова и разорила его дотла. Мотать она умела мастерски. В последние годы своего владельчества, не выезжая из Сысерти дальше Екатеринбурга, она ухитрялась спускать такие суммы, которые по тому времени были огромными.

Иногда, впрочем, на нее находила полоса экономии и хозяйственности. Что это была за хозяйственность, лучше всего показывает «индюшачий завод».

Турчаниниха как-то узнала, что в Екатеринбурге на базаре индюшки дороги, и решила устроить специальный «индюшачий завод». Для начала под индюшек был отведен нижний этаж бывшего турчаниновского дома в Екатеринбурге. Потом одного этажа оказалось мало, пришлось переселиться в верхний.

Увлечение продолжалось несколько лет. К столу подавались «свои» индюшки, но когда Турчаниниха спросила, можно ли часть индюшек пустить в продажу, то приставленный к этому делу «счетный человек» объяснил, что продавать-то нечего, да и «своя» индюшка не может пойти по рыночной цене: она раз в десять дороже.

На этом «индюшачья затея» и кончилась. В результате пришлось вывозить из дома целые горы птичьего помета, заново отделывать дом, перестилать паркетные полы, перекрашивать стены и т. д.

Около Турчаниновой — пышной вдовы — постоянно вертелась целая стая фаворитов, которых мастеровщина звала «ейные кобели». Выезд этой группы куда-нибудь на прогулку с барыней назывался «собачьей свадьбой».

Нам, ребятишкам, было всегда очень интересно взглянуть на эту кавалькаду. Очень уж тут необыкно-

венные люди бывали. Тут и гусар в ярком костюме, вроде петуха, тут же какой-то необыкновенно вертлявый человек со стеклышком в глазу и огромным пестрым платком на шее. На тяжелой вороной лошади выезжал огромный толстый детина с красной грудью, в удивительной шапке, на которой развевался конский хвост; рядом гарцевал на поджарой лошадке ловкий берейтор-поляк, он нравился нам своим удальством, веселой речью и какими-то необыкновенными усами с распущенными кончиками. Иногда в своре «ейных кобелей» торжественно ехал сам заводский «отец дьякон», красивый рослый мужчина с мягкой бородой, румяным лицом и пышными кудрями. Его присутствие нам казалось всего занятнее, так как было известно, что дьякон ездит не совсем по своей воле и что после каждой такой поездки ему приходится переживать трудные минуты, когда «мать-дьяконица» начинает «при людях» читать ему на всю улицу наставления о правилах супружеской жизни.

Раньше Турчаниниха, говорят, любила ездить верхом, но я видел ее только в коляске рядом с каким-то чучелом в чепчике, которое она возила с собой «для отводу глаз».

Из свиты Турчанинихи я назвал только наиболее заметных. Их было много не только при выездах, но и в остальное время. Веселые люди, балагуры, красивые самцы с пустым кошельком постоянно толклись в турчаниновском доме. На еду и попойки уходили те средства, которые получала Турчаниниха от Сысертских заводов. У барыни была одна печаль — денег ей недоставало. Вот и воевала с своим совладельцем, чтобы получить побольше. Помогали ей и ее «кавалеры». Один даже, как говорили, пытался выступить в роли управляющего «турчаниновской половины», но оказался шулером, которого побили в день назначения.

Раньше труд рабочих Турчаниновы разматывали по заграницам, потом перенесли мотовство в столицы, чтобы кончить эту свистопляску в Сысерти, где куча пьяных негодяев с «Марейкой-сукой» во главе как будто специально старалась показать рабочему, куда и на что уходят его пот, силы, здоровье.

Рабочий, износившийся окончательно за двадцать лет «огневой» работы, видел, что от его труда не толь-

ко в его жизни, но и на предприятии ничего не прибавлялось, ничего не улучшалось.

Развалины огромных оранжерей, где выращивались фрукты юга, были, пожалуй, самым подходящим памятником семейке Турчаниновых...

ПУЧЕГЛАЗИК

Первого из владельцев Соломирских я не помню. Слыхал лишь, что он был из офицеров какого-то кавалерийского полка. Мастеровые звали его даже генералом.

Как кавалерист он больше всего возился с лошадьми, устроил даже конский завод, который после его смерти весьма быстро растаял. Дебош и пьянство были ему не чужды, но, видимо, была и «прижимистость», если он сумел прибрать к рукам все крошки, которые сыпались с пьяного турчаниновского стола, и передал своему наследнику свыше восьмидесяти частей владения.

Этому наследнику пришлось лишь закончить борьбу с последней Турчаниновой. Борьба была не особенно трудной, и Дмитрий Павлович Соломирский стал единственным владельцем заводов. Про него мастеровые говорили: «Митрий Павлыч у нас — душа-человек, только в заводском деле «тютя». Добродушно-пренебрежительное отношение к нему сквозило и в заводской кличке — «наш Пучеглазик».

Этого дельца я стал знать, когда он уже был пожилым человеком с седыми, коротко подстриженными усами. Самым заметным в его наружности были обвислые щеки и вытаращенные глаза.

По одежде он ничем не отличался от служащего средней руки. Только фуражка с «дворянским (красным) околышем», которую он носил зимой и летом, была необычной в заводском быту.

Смолоду Соломирский жил вне заводов, но в пору моего детства он уже почти безвыездно сидел в Сысерти.

Летом разъезжал по своему обширному поместью с фотографическим аппаратом, ружьями и рыболовными принадлежностями. В наиболее красивых уголках Сысертской лесной дачи у него были «понатыканы» охотничьи и рыбацкие домики, и старик здесь жил созерца-

тельной жизнью любителя природы, которому нет дела до рабочих, задыхавшихся в «огневой» и надрывавшихся в рудниках.

В зимнее время Соломирский редко выходил из своего довольно обширного дома, обращенного им в музей. Только доступа в этот музей не было. Потом оказалось, что он работал в области изучения пернатых Урала, а также как коллекционер.

Занимался Соломирский, как и полагается «добродетельному барину», благотворительностью, хотя справедливость требует отметить, что эта благотворительность была неприлично грошовой.

Строил хибарки старухам (старикам не полагалось) и усиленно возился с детским приютом, куда принимались только девочки — круглые сироты.

Этих сирот «воспитывали»: учили грамоте, рукодельям, пению, чистенько одевали и готовили... в горничные для «хорошего дома». Шли, конечно, приютки и дальше по той дорожке, по которой обыкновенно направляли из «хорошего дома» молодых девушек.

Об этом знали все. Даже в заводских песнях соболезновали «милке-сироте с черными бровями», у которой «от Сысертских крутых гор путь на «Водочну» [1] пошел».

Всего этого владелец заводов как будто не слышал и не знал, оставляя «сироток» в прежних условиях.

Но это не все. Было еще одно, что делало этого внешне «благодушного» старика вреднейшим человеком для заводского предприятия и связанного с этим предприятием населения.

У «благодетельного барина» была барыня и дети. Какими «добродетелями» отличалась барыня — не знаю, слыхал лишь от заводских служащих, что она «где-то там вращалась и блистала». Как и где она «вращалась», об этом в заводе знали смутно. Одно было хорошо известно, что свыше двухсот тысяч рублей, получаемых Соломирским от заводов, уходило без остатка на это «блистание и вращение». Иногда этой суммы даже недоставало, и старик требовал «дополнительных».

В заводах эта «блистательная» барыня была, насколько помню, один раз. Слух о приезде пришел с вес-

---

[1] Улица притонов в Екатеринбурге в дореволюционное время. *(Прим. автора.)*

ны. Но дело затянулось до середины лета. Приехала жена владельца как-то неожиданно, поздним вечером, и немногие видели ее «поезд».

В ближайший летний праздник,— какой-то пустяковый, когда не ожидалось даже порядочной драки молодяжника,— народу в церкви и около набралось полным-полно. Необыкновенным казалось, что мужчин было не меньше, чем женщин: рабочие пришли посмотреть на дорогую игрушку старого барина. В толпе сновали полицейские, которых по стародавней привычке звали в заводе «казаками». Становой в новеньком мундире, размахивая кулачищем, «честно просил держать строгий порядок». От заводского дома до церкви, через площадь, образовалась широкая живая улица. Ребятишки взобрались куда повыше, или шмыгали под руками старших вдоль живой дорожки.

Открылась парадная дверь владельческого дома, и показалась барыня — некрасивая и уже немолодая женщина, разодетая в какое-то необыкновенное платье с турнюром, по тогдашней моде. Рядом с ней шла девочка, дочь. Сам Пучеглазик был одет тоже по-особому: в невиданной шляпе с белыми мягкими перьями (плюмаж), в белых штанах, в расшитом золотом спереди и сзади мундире (он имел какой-то придворный чин: гофмейстера или егермейстера). Дальше шли какие-то приезжие гости. Прошли в церковную гущу, где только усиленным мордобойством полиции удавалось сохранить дорожку и место впереди.

В толпе, оставшейся на улице, идут разговоры. Женщины судят о наследнице и пышном турнюре барыни. Этот «барынин зад» заметили и рабочие.

— Видел зад-от?

— Подушка ведь. Известно.

— В подушку-ту эту и робим!

— Так видно. У Пучеглазика-то ведь тоже позолочено.

— Старайся, ребята, может, еще кому вызолотим. Тогда и помирать можно,— шутит старый заводский балагур — Стаканчик.

Это уже похоже на «бунченье». Раздаются предупреждающие голоса:

— Ладно. Ему все смехи! Домой не оставишь — бабам рассказать.

Толпа начинает редеть.

Уехала барыня, а на заводах продолжалась работа «в подушку» и на «золоченый зад». Старик Соломирский благодушествовал, наслаждался созерцанием и... посылал деньги своей барыне.

Управление округом было полностью в руках управляющих. Владелец подбирал их так, что только руками разведешь, когда вспомнишь.

Когда Соломирский был помоложе и вел борьбу с последней Турчаниновой, на заводах в заглавных ролях бывали инженеры.

Тибо-Бриньоль, Карпинский, Гайль, Пономарев пытались работать в Сысертских заводах, но «не ужились» из-за того, что настаивали на целом ряде нововведений и частичном переоборудовании. Эти расходы на улучшение предприятия, видимо, не сходились с интересами «барыниной подушки», и инженеры ушли. Их сменили свои, взращенные барами «самородки», которые не мелькали так быстро, как инженеры, а сидели на местах крепко, подолгу,— владельцу на усладу, рабочим и предприятию на разор.

Эти умели угодить «барину»: деньги доставляли, новшеств не заводили и без наук обходились.

«Доморощенных» управляющих на протяжении последних тридцати лет до революции было только трое.

Каждый из них был, как говорится, молодец на свой образец. Поэтому стоит о каждом сказать особо.

ЗАПРАВИЛЫ

ПАЛКИН

Управитель, у которого не было обычного в заводах прозвища. Видимо, фамилия казалась подходящей кличкой.

Детина саженного роста с зычным голосом. Раньше он был «караванным».

«Караванный» — это сплав барок с железом по быстрине Чусовой, гоньба на косных, наскок, матерщина и водка. «Смачивание боков» при выходе на широкую

воду и «помин убитым баркам». Дальше нижегородская ярмарка и Лаишев, куда сплавлялись тогда изделия Сысертских заводов. Пьяные купцы и пьяные продавцы, которые, однако, не должны терять в пьяном угаре расчета. Уметь всех перепить — главное достоинство «караванного». Требовалось и другое деликатное искусство — «смазки». Оно нужно было во многих местах: при подходе барок к разгрузочному месту, при отводе запасных барок, при разных «недоразумениях с артелями грузчиков» и т. д. На этот случай, правда, держались «особые специалисты», которые в искусстве смазки дошли до того, что могли проигрывать в карты «нужному человеку» ровно столько, сколько было назначено. Но руководителем этого тонкого дела все-таки был «караванный».

И вот этот «караванный», прошедший высшую школу пьяного дела и изучивший потаенные ходы взятки, вдруг назначается управляющим округа. Прельстился, должно быть, владелец крупной фигурой Палкина, или, может быть, рассчитывал, что человек, умевший орудовать около воды и водки, сумеет работать и среди огня и железа.

Назначение Палкина было так неожиданно, что даже осторожный заводской служака — главный бухгалтер не удержался и недоумевающе спросил:

— Неужели, Николай Порфирьевич, вас управляющим назначили?

— Говорят, что так,— угрюмо буркнул свежеиспеченный заводской властитель.

Правил Палкин, как и следовало ожидать, по-особому. Преобладала быстрота наездов, мгновенная ревизия, «цветок» (так назывался букет похабнейших ругательств) и водка.

Кончилось дело тем, что этот управляющий установил необыкновенно быструю связь с заводами. Расстояние в восемь верст до Верхнего завода покрывалось его тройками в очень незначительный срок. Но этого казалось мало неутомимому заводскому «деятелю», и он загонял одну тройку за другой. Это продолжалось до тех пор, пока окончательно не убедились, что человек просто в длительном припадке белой горячки.

Тогда только решили «сдать» спившегося Палкина в «архив».

ВОРОБУШЕК

После Палкина управляющим был назначен верхнезаводский управитель Иван Чиканцев, по заводскому прозвищу «Воробушек».

Этот был полной противоположностью своему предшественнику.

Очень маленький ростом, который Воробушек старался увеличить каблуками чуть не в четверть аршина, мягкая речь, веселые вороватые глаза, балагурство и вообще признаки «демократического обращения с подчиненными».

Было у Воробушка и образование, хотя не «ахтительное»: учился не то во втором, не то в третьем классе классической гимназии. А это среди тогдашних заводских служащих ставилось высоко,— Иван, умевший написать свое имя латинскими буквами, казался уже не простым Иваном, а «человеком с образованием».

В производстве Воробушек, как говорили, «ни шиша не понимал». Но по фабрикам бегал усердно и свою беспомощность умел ловко маскировать. Еще более ловко умел пользоваться всяким случаем, чтобы показать владельцу и рабочим, что заводское дело при нем — Воробушке — процветает.

Помню, раз к осени, вследствие дождливого лета, вода в Верхнезаводском пруду оказалась на самом высоком уровне, какой даже не каждую весну бывал. Сейчас же по этому случаю торжество. Угощение рабочим (водка, конечно), песенники, балалаечники, фейерверки, катанье на лодках и речи: «Вот-де, в первый раз, как стоят заводы,— удалось...», и т. д.

Рабочие, разумеется, ухмыляются и, расходясь домой, говорят:

— Ишь, втирает очки Пучеглазику!

— А тот, поди, думает: молодчага Чиканцев — к осени полный пруд скопил.

— Как не скопишь, ежели этакой сеногной ныне стоял.

Иногда случаи для торжества специально выискивались.

Каждую зиму из Оренбурга на верблюдах привозили баранину для продажи заводскому населению, а обратно верблюды грузились поделочным железом. Явле-

ние самое обыкновенное, но Воробушек и тут отметил торжеством «рост» торговли, когда однажды верблюдов пришло больше, чем в предыдущем году.

Выставочные награды за изделия заводов сопровождались общезаводскими торжествами.

Всякого рода юбилеи, в том числе и его собственный — десятилетие управления,— проводились так, чтобы лишний раз нашуметь о процветании Сысертских заводов.

К десятилетнему юбилею Воробушка ловкому конторскому человеку поручили даже составить книгу, где, по документам архива, была рассказана история заводов с неизбежным направлением «на процветание» в пору Воробушка. С документами, впрочем, не особенно церемонились. Один печатный лист, не понравившийся почему-то владельцу, «изъяли» во время печатания.

Так, Сысертские заводы под управлением Воробушка — а оно продолжалось свыше десятка лет — все время, без перерыва, «цвели и цвели», пока вдруг не «отцвели». Но к этому времени Чиканцев уже сколотил себе домишко в Екатеринбурге, купил паровую мельницу в Камышловском уезде, своих дружков Иванушек протащил в дипломированные Иваны Иванычи за заводский счет. Для них даже вносились специальные стипендии в высшие учебные заведения, и это давало им возможность поступать без конкурса.

По отношению к техническому образованию детей рабочих и мелких служащих Воробушек вел другую линию.

Совсем отказывать по тому времени уже было нельзя, так как в Уральском горном училище и в Кунгурском техническом имелось несколько заводских стипендий. Из-за них шла борьба, и ловкий управляющий пользовался ею в своих целях. Стипендии в его руках часто служили приманкой, на которую он ловил нужного ему служащего или рабочего. Но технически грамотных людей Воробушку все-таки было не нужно в заводах. И когда молодые техники и горняки, закончив образование, являлись на заводы, их ставили в такие условия, что большинство уходило. Оставались на службе лишь дети особо приближенных, но и те держались в черном теле.

Не любил Воробушек чужой грамоты, да и было почему. Ведь его управление представляло собой сплош-

ное втирание очков, и технически грамотный человек был ему помехой. В управители отдельных заводов Воробушек подбирал «своих» людей, которые бы не «умствовали». Один из них — верхнезаводский управитель, не только не имел наклонности к «умствованию», но даже кое-как подписывал свою фамилию. Зато малограмотный управитель мастерски играл на гитаре и лихо плясал на торжествах. А это в пору Воробушка было чуть не самым главным. Процветают заводы — ну, и радуйся, пой, пляши! Чем круче коленце, тем приветливее улыбка ласкового управляющего, который, выставив свое внушительное брюшко, благодушно смотрит на веселье своих подчиненных.

Когда затихла торговля железом, оживление которой наблюдалось во время постройки Сибирской железной дороги, всем стало ясно, что оборудование заводов никуда не годится и никакой конкуренции с южными заводами они выдержать не могут.

Рабочие оказались без куска хлеба и вынуждены были куда-нибудь уходить или уезжать в поисках работы. Приток денег в карман владельца прекратился.

Таков был конец «славного правления» Воробушка.

Старик владелец, обеспокоенный исчезновением дохода, решил спасти дело выбором нового управляющего.

КУЗЬКИНО ОТРОДЬЕ

«Героем» оказался северский управитель Мокроносов, по заводскому прозвищу «Кузькино отродье».

Это был, не в пример своим предшественникам, настоящий заводский человек, который побывал чуть не на всех заводах в разных мелких должностях: надзирателя, смотрителя и т. д. Не шутя он считал себя специалистом. Был у него, как говорили, даже какой-то «диплом», который он получил на военной службе в саперных частях. Претензии он во всяком случае имел большие и усиленно строительствовал в Северском заводе и на так называемом Крылатовском прииске еще в пору управления Воробушка. Злые языки, впрочем, говорили, что это строительство было похоже на воробушковы торжества — то же втирание очков, только другим способом. Так ли это — не могу уверять. Знаю

лишь одно, что он «сооружал» драгу для прииска чуть ли не по своим чертежам. По крайней мере мне пришлось случайно на станции Мрамор слышать, как Мокроносов уверял, что его драга будет лучше тех, которые он только что осматривал в Невьянском заводе.

Действительность, однако, не оправдала смелых надежд строителя — драга оказалась негодной. Она, при первой же пробе, не просто затонула, а даже перевернулась. Словом, получился «конфуз», и часто эта мокроносовская драга упоминалась в речи, заменяя собой слово «головотяпство».

За управление Сысертским округом Мокроносов взялся решительно и сразу повел такую жестокую политику снижения «жалованья» и введения черных списков, что рабочие взвыли, вспомнив известного при крепостной зависимости Кузьку, которому новый управляющий приходился внуком. Только внук употреблял другие приемы. Вместо решительного приказа он «действовал убеждением и примером».

«Я вот сам, как управляющий, должен получать восемнадцать тысяч рублей в год, а буду получать только шесть».

Чувствуйте, понимайте и берите пример!

По этому примеру получилось что-то совсем дикое для рабочего: вместо рубля стали платить тридцать пять — сорок копеек в день. Даже грошовые пенсии, которые давались инвалидам и сиротам, были в большинстве сняты.

Словом, установилась безудержная экономия во всем, кроме доходов владельца.

— Ему-то не резон терять, когда мастеровые не могут себя обработать! — говорил управляющий.

— Пусть побольше вырабатывают, тогда и заработок увеличится. Потерпеть придется.

Рабочему стало нечем жить, и новоявленный экономист был взят за жабры, да так, что едва успел увернуться. Прихвостни ухитрились-таки вытащить его из разбушевавшейся толпы рабочих и сумели устроить ему побег.

Вместо управляющего в Сысерть прибыли ингуши и драгуны, началась расправа и вылавливание.

Сам управляющий с той поры в Сысерти не показывался. Нельзя было ездить и на другие заводы окру-

га. Так он и правил издали. Жил в Екатеринбурге, в том самом турчаниновском доме, где когда-то был «индюшачий завод», и отсюда правил неспокойными заводами. «Правление» было такое же, как сначала: снижать заработок и освобождаться от бунтарей. Тех, кого подозревали в «наклонности к бунту» (так и говорилось), выкуривали из заводов, отказывая им, а иногда и их родственникам, от работ на заводах.

Это продолжалось вплоть до того момента, когда пролетарская революция произнесла свой справедливый приговор над последним управляющим Сысертских заводов. В первом же списке расстрелянных на одном из первых мест рабочие увидели ненавистное имя:

Мокроносов Александр Михайлович — бывший управляющий заводами Сысертского горного округа.

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ

«МАСТЕРКО»

Между пятью и шестью часами утра и вечера на улицах завода движение. В это время происходила смена. Везде можно было видеть основного заводского работника — «мастерка», как его звали.

В рубахе и в штанах из синего в полоску домотканого холста, в войлочной шляпенке без полей, в пимах с подвязанными к ним деревянными колодками, в засаленном коротком фартуке, быстро шел «мастерко» по заводским улицам. Обменивались друг с другом короткими приветствиями, шуткой, летучим матерком — иной раз угрожающим, иной раз безобидным.

Зимой к летнему одеянию прибавлялся какой-нибудь полушубчишко или пальтишко из таких, которые не жаль было потерять из общей кучи, куда сваливалась верхняя одежда на фабрике. Колодки, похожие на деревянные коньки, прикреплялись к пимам обычно наглухо и уже с них не снимались. Некогда было после двенадцати часов работы у огня возиться со сниманием колодок. Так и шли по улицам, как по фабричному по-

лу, поднимая пыль летом, скользя по утоптанным дорожкам зимой и трамбуя грязь весной и осенью.

Это, впрочем, было обычно только для тех, кто работал в Сысертском заводе. Не у всех было такое удобство. Некоторым, в виде дополнения к рабочему дню, приходилось еще ежедневно «бегать» по нескольку верст.

Из Сысерти рабочие ходили на Ильинский листопрокатный завод и на Верхний — железоделательный. Ильинский был недалеко от Сысерти — верстах в двух от центра завода, до Верхнего же по тракту было восемь верст. Прямой дорогой через пруд было ближе — верст пять. Рабочие обыкновенно пользовались этой дорогой; летом их подвозили версты две по заводскому пруду на пароходе и грузовой барже. Пять верст ежедневной пробежки с неизбежными задержками летом при посадке на пароход прибавляли к рабочему дню лишних три-четыре часа, и положение верхнезаводских рабочих было самым невыгодным.

Этим заводское начальство пользовалось в своих целях. Перевод на Верхний был чем-то вроде «первого предупреждения» для тех, кого заводское начальство считало нужным «образумить». Так и говорилось: «На Верхний побегать захотел?» «Хотенья», конечно, не было, и многие «смирялись».

Попавшие на Верхний завод принимали все меры, чтобы выбраться в Сысерть. Иной раз это толкало некоторых слабодушных в разряд «наушников» и подхалимов, которых остальным приходилось «учить». «Учь» производилась под покровом «заводских» драк, когда не только «мяли бока и считали ребра», но и били стекла и «высаживали рамы» в домах «исправляемых». Попутно иногда доставалось и жене, особенно в тех случаях, когда было известно, что «у него баба зудит». Такой «зудящей бабе» и влетало, хотя это было редкостью: считалось неудобно «счунуться с чужой бабой».

Нужно отметить, что и сами верхнезаводские участвовали в этих драках вместе с остальными рабочими, так как «наушничество» им, пожалуй, было даже страшнее: грозило увольнением с заводов.

«Людей строгого нейтралитета», забитых и смирных, в этих свалках частенько тоже встряхивали. Тем более, что «учь» производилась всегда в пьяном виде,

а пьяному где разбирать разные тонкости: подхалим али божья коровка. Один другого лучше!

Положение ильинских рабочих было много лучше. У них была своя специальность — кровельный лист. Требовала она особых навыков, поэтому оценивалась выше. Этим, вероятно, и объясняется, что попавшие на Ильинский завод не стремились уходить оттуда, считая, что некоторое повышение заработка вполне вознаграждает их за ежедневную прогулку. К тому же и расстояние было пустяковое.

Среди шмыгающих колодками рабочих немало было и подростков, порой совсем еще малышей. Это «шаровка».

В «шаровку» принимались дети в возрасте от двенадцати лет. Заводскому начальству не было дела, под силу ли детям этого возраста кочегарные работы. Было бы дешево!

«Шаровка» по своему костюму старалась не отличаться от взрослых. Тот же домотканый синий холст, шляпенка, валенки и колодки. Последние делались даже толще обыкновенных — по ребячьему делу, «шаровка» гордилась своей «огневой» работой и старалась это подчеркнуть.

В глазах заводских малышей «шаровка» казалась чем-то заманчивым, героическим: «Легко ли? Работают «по огневой», ходят на колодках, дерутся в заводских драках!»

Матери тоже относились к ребятам, работавшим на фабрике, по-особому. Смотрели на них, как на взрослых, и исполняли некоторые ребячьи капризы.

Одним из самых распространенных капризов было требование шаровщиков заменить «аржанину — крупчатошным».

— Отягу нет с нее — с аржанины-то твоей.

Мать пытается разубедить, указывает на «крестьян»: «Аржаной едят, а поздоровее наших заводских».

Малыш-рабочий, однако, стоит на своем:

— Работа у них не та. Не у огня стоят. А ты вот попробуй сама — побросать «паленьговски»-то дрова. Не квартирник ведь! Какой отяг будет с аржанины? Живо прогонят!

Мать, конечно, и сама понимает, что возиться с полусаженными плахами около жерла пудлинговой печи

вовсе не под силу подростку, и идет на уступки. Ржаной хлеб заменяется самым низким сортом крупчатки.

В «крупчатошном» было своего рода щегольство «шаровки».

Не чужды были этому щегольству и заводские женщины. Многие из них старались показать, что они живут хорошо — «крупчатошный едят». Желание щегольнуть друг перед другом особенно было видно в обеденную пору, когда со всех концов завода женщины с узелками шли на фабрику — несли обед мужу, сыну, брату, отцу.

Время обеденного перерыва, между одиннадцатью и двенадцатью, так и звалось «бабьим часом».

Около фабричных зданий везде были видны пестрые группы женщин. Старух мало. Одеты почище, но не по-праздничному. Шутки, смех, «загогулины с крутым поворотом» со стороны рабочих. Взвизгивание, хихиканье и взаимная слежка у женщин.

— Смотри, Елесиха-то третий пирог в половину принесла.

— Она — старуха заботливая. Сама не съест, а ребятам притащит.

— А вон видишь, Степанька чем мужа кормит? На черном куске держит.

— Покушай, значит, милый муженек, мою неудачу да фартук с кружевами мне купи.

Молодая красивая женщина в фартуке с кружевными концами слышит эти пересуды. Краснеет, готова заплакать. Муж что-то говорит ей, видимо, успокаивает, но и сам смущен.

В «огневой» не заработать белого куска считалось зазорным. И многие дома голодали, чтобы только «на людях» показать кусок получше. Верхом женской заботливости считался рыбный пирог.

Эта «бабья слава», в которую, кроме показного обеда, входили и занавески на окнах хибарки, и платье по-городски, иной раз дорого стоила рабочему. В лучшем случае она толкала его на поиски дополнительного заработка в часы отдыха, что, конечно, преждевременно делало рабочего инвалидом. В худшем — начиналась погоня за местечком «потеплее», наушничество, подхалимство, чтобы пробраться в ряды заводских служащих.

Питанию детей «бабья слава» тоже вредила. Заработок рабочего был таков, что его еле хватало на прожитье, и всякая даже самая скромная потребность одеться почище или украсить свою избушку «немудрящей занавеской» была уже не по карману.

ПРИКАЗНЫЕ

Всех служащих, начиная с управляющего и кончая самым маленьким канцеляристом, фабричные называли общим именем приказные или «приказея». Эта приказея делилась на несколько групп: судари или начальство, присудари, шоша, кричные жомы. Отдельно стояли расходчики, которых на всех пяти заводах округа неизменно звали собаками.

Судари — это управляющий, управители отдельных заводов, караванный, плотинный, надзиратели заводов, смотрители приисков — словом, все те, кто имел право увольнения и приема рабочих.

Присудари — это люди конторского труда. Их работу мастеровые плохо знали и определяли по-своему: «Сидит в конторе, присудыркивает. На счетах щелкает да бумажки пишет».

В действительности этих присударей: конторщиков, счетоводов, чертежников, вплоть до главного бухгалтера, заводское начальство выматывало порой не хуже, чем мастеровых. Большинство из них за четвертную в месяц вынуждено было проворотить столько работы, что приходилось корпеть над ней целые ночи напролет, гремя костяшками или поскрипывая пером.

К присударям близко подходила так называемая «шоша» — мелкое заводское начальство: «уставщики», надсмотрщики, надзиратели цехов... «Шошу» заводское начальство также держало в черном теле: плохо оплачивало и часто смещало. Положение этих служащих, между тем было, пожалуй, самое трудное: слишком усердствовать — рабочие изуродуют, не усердствовать — начальство сместит и с заводов «прогонит». Сами недавние рабочие, отличавшиеся от остальных только высокой квалификацией и кой-какой грамотностью, они в большинстве своем старались не разойтись с рабочими. Но тогда начальство находило их «неспособными к делу»

и заменяло другими до тех пор, пока не находило «подходящего человека». Такой «подходящий человек» оказывался совсем «неподходящим» для рабочих, и они старались его убрать. Обыкновенно в этом случае применялся «служебный подвох»: уничтожение записей, порча материалов... Если этим путем не могли добиться результата, то пытались «выучить». Выучка нередко кончалась инвалидностью для выученика. Но не всегда так бывало. Некоторым прихвостням начальства удавалось крепко стоять на месте и держаться целыми десятками лет, а иногда даже проходить в «настоящее начальство».

В силу двойственного положения «шоши» отношение к ней мастеровых было разное: одних считали за своих лучших товарищей, на других смотрели, как на злейших врагов.

«Кричными жомами» в заводах называли разных приемщиков: угля, руды, дров, железа. К выбору «жомов» заводское начальство относилось внимательно и подбирало вполне «надежных» людей, главным образом из лиц конторского труда, которые с голодного куска охотно шли в группу «жомов». Жалованье там было меньше, чем в конторе, но зато выдавались наградные за «пример» и «привес» иногда в размере годового заработка, и представлялась возможность «темного» дохода.

Приемка производилась так, что на ней заводоуправление получало не менее четверти ежегодного дохода.

Кроме «узаконенного» грабежа крестьянского и рабочего труда, производилась специальная надбавка, определявшаяся ловкостью «жома» и его аппетитом.

Легче всего, конечно, было орудовать с рудой и углем. Здесь помогал и способ укладки, и малограмотность, и разрозненность крестьянства, которое по преимуществу занималось доставкой этих материалов.

С дровами тоже было просто. Тут и усушка, и неплотность кладки, и трухлявое полено — все шло в дело. За все нужна была скидка. И набегало!

Даже с медью и железом ухитрялись «зарабатывать». Прежде всего здесь практиковался узаконенный «поход» на развеску — по десять фунтов с каждого «весу» («вес» — около сорока пудов). Этот «поход», выкачиваемый в количестве десятка тысяч пудов из кармана

рабочего, не оставался в пользу завода — он шел в виде взятки екатеринбургским продавцам сысертского железа и вокзальным служащим, у которых в конце года получался тоже «привес».

Узаконенным «походом» дело, однако, не ограничивалось.

После двенадцати часов «огневой» работы сдатчики от смены, конечно, не имели большого желания задерживаться еще на час — на два, и вот начиналась «маховая работа». Железо проходило по весам, но точно не взвешивалось. Только и слышались короткие выкрики: «С весу! Пишу сорок один.— С весу! Пишу тридцать восемь». Опытный взгляд весовщика работал в пользу заводоуправления. Получался «поход» сверх «похода» — за быстроту записи и наметанность глаза. Такого дополнительного «похода» набиралось по всем заводам тоже свыше десяти тысяч пудов в год.

Если прибавить к этому, что часть «темного» железа непосредственно сбывалась «жомами» на сторону, то станет ясным, что «обмишуливание» рабочих в Сысертских заводах было поставлено основательно и совершенно откровенно.

Нужно сказать, что отношение рабочих к «жомам» было все-таки терпимое. Все знали, что заводоуправление держит их чуть ли не исключительно на «наградных», которые определялись количеством «привеса». Окажется в конце года «экономия» тысячи три-четыре пудов — дадут «награду» рублей полтораста — двести. Это, конечно, немного при пятнадцати — двадцатирублевом жалованье, и рабочие мирились с неизбежностью «жертвовать» не только тысячи пудов владельцу, но и сотни весовщикам.

Недовольство было лишь в тех случаях, когда кто-нибудь зарывался свыше всякой меры, когда все видели, что за счет «привеса» и «примера» начиналась постройка домов, покупка выездных лошадей и так далее. Тогда применялась «учь». На дровяных площадях и в угольных сараях чаще обыкновенного начинались пожары, в магазинах перепутывались сорта железа, производилась повторная сдача, железо попадало «случайному возчику», не доходя до магазинов. И в результате замена зарвавшегося другим приемщиком была обеспечена.

ЗАВОДСКИЕ

Заводскими назывались не просто жители заводских селений, а те, кто имел какое-нибудь касательство к производству заводов. Сюда входили и крестьяне, занятые на заводских работах.

Наиболее многочисленные группы составляли «руднишные» и «куренные».

Разработка руд в конце прошлого столетия велась в основном на Боевском руднике, где работали крестьяне ближайших к руднику сел и деревень. В заводах «руднишные» показывались главным образом зимой, когда производился прием выработки.

Бесконечные вереницы саней с коричневыми от руды палубками тянулись ежедневно в Сысерть со стороны Боевки. Выбитая ступеньками дорога была тоже коричневой. Около возов шагали коричневые люди.

Хотя они и звались заводскими, но в действительности жили все-таки своей особой жизнью. Для них работа на рудниках и возка руды были подсобными занятиями к основному — крестьянскому.

«Мастерко» смотрел на них сверху вниз, как на «крестьянчиков», хотя иногда завидовал им. Ему, дескать, ловко работать из-за земли-то. Никому не кланяйся!

В действительности было не совсем «ловко». Этих угрюмых коричневых людей загонял на рудники недостаток земли. Из-за земельной тесноты и шли они, от мала до велика, за заработком на рудничные работы и как раз к посеву изматывали своих лошаденок на заводской работе.

Их обмеривали самым наглым образом и во время приемки руды из забоя, и при доставке на заводы. Расходчики, иногда стеснявшиеся своих фабричных, по отношению к рудничным «орудовали» без всякого стеснения и даже щеголяли своим бесстыдством: «Что он, сипак, понимает? Его на трех копейках обставить можно».

Чтобы превратить два миллиона пудов руды в чугун и железо, заводам, работавшим исключительно на древесном топливе, приходилось вести довольно обширные заготовки дров и древесного угля.

При каждом заводе, иногда не в одном месте, были просторные дровяные площади, где ежегодно ставились

«к сушке» длинные поленницы дров, пней и хвороста взамен исчезающих запасов прошлого года. Около угольных сараев тоже постоянно толклись люди с огромными угольными коробами: подвозили и отвозили.

Дроворубы и углежоги назывались куренными рабочими. Большинство из них тоже были крестьяне ближайших сел и деревень, но часть работ, особенно в Полевском заводе, выполнялась коренным заводским населением. В Полевском не редкость было встретить «лошадного мужика», который кормился исключительно куренными работами, прерывая их на время покоса.

Углежжение производилось по старинке, в кучах. Работа эта требовала известных навыков, и те семейства, которые имели в своем составе опытного углежога, зарабатывали лучше других, жили «справно» и держали по десятку лошадей.

«Куренное» ремесло так и передавалось из поколения в поколение. В Полевском заводе можно было найти такие семейства, у которых деды и прадеды робили в курене. Иной раз эти заводские углежоги не прочь были использовать свои навыки для эксплоатации случайных углежогов-крестьян: выряжали, например, несколько коробов угля «за досмотр». Подрядчиками, впрочем, им стать не удавалось. На своей каторжной работе куренные заматывали всех членов семьи. Во время главных работ при запалке куч в лес увозили и всех женщин, которых можно было взять из дома. Недаром про полевчан говорилось: «Чесноковик (прозвище жителей Полевского завода) к куреню женится. Работница прибудет».

Кроме «руднишных» и «куренных», в заводах было много так называемых возчиков.

Число грузов было довольно значительно. Возили не только готовые изделия в Екатеринбург, но и между отдельными заводами перебрасывалось много полуфабрикатов. Чугун возили из Сысерти на Верхний и Ильинский, из Северского завода — в Сысерть и Полевской. В общей сложности количество грузов, кроме руды и древесины, было не менее пяти миллионов пудов в год.

Зимой обыкновенно выезжало много крестьян, иногда из сравнительно удаленных селений, чтобы «по дороге» заработать кое-что к весне или по крайней мере «оправдать корма».

Эти случайные возчики были очень выгодны заводоуправлению, но для кормившихся извозом заводских жителей зимний выезд крестьянства был бедствием.

— Кадниковцы выехали — четверть копейки слетела.

— А вот скоро леший принесет дальних: Шабурову, Петухову, Белопашину.

— Тут уж опять впроголодь насидишься.

— Им ведь что! Овес свой, лошади кормные, на хлебе.

— Известно, из-за естя робят. Не нам чета.

— За обновами бабам в город-то едут!

— Потянись за ними! У него четыре, как чугун, а у меня одна — шлаковка. Много на ей увезешь?

Такими разговорами встречался каждой зимой выезд крестьян на заработки.

Тревога была вполне законна. Заводоуправление по части выжимания копейки было мастеровато. «Жомам» было предписано снижать попудную плату в зависимости от числа приехавших. Бывало, плата с пуда за сорок семь верст от Сысерти до Екатеринбурга доходила до двух с четвертью копеек.

Понижение цен на возку от Сысерти до города неизбежно отражалось и на провозной плате между отдельными заводами, хотя крестьяне обыкновенно за перевозку этого вида не брались — она им была «не по пути».

Обдирая возчиков, кроме конкуренции крестьян в зимнюю пору, заводское начальство использовало еще один прием — фальшивые версты.

От Сысерти до Екатеринбурга по Челябинскому тракту сорок семь верст. Версты обыкновенные, «казенные». Они и служили основой для расчета за возку. Но между отдельными заводами версты были или «не меряные», или фальшивые. Особенно нагло это было сделано между Сысертью и Верхним заводом.

Там имеется превосходное шоссе, утрамбованное подрудком. На этом шоссе красиво сделанные столбики отчетливо показывали восемь верст от плотины до плотины, а между тем заводское население не без оснований считало здесь десять верст. Помню, живя на Верхнем, я пытался проверить расстояние, и на первой версте, по которой тянулась линия Верхнезаводского поселка, насчитал свыше двухсот сажен лишку. Таким образом, треть стоимости провоза по Верхнезаводской дороге за-

водоуправление крало. Если считать, что с Верхнего ежегодно вывозилось до четырехсот тысяч пудов сортового железа и столько же привозилось туда болванки, то кража получалась довольно чувствительная — три миллиона двести тысяч пудо-верст.

Конкуренция крестьянства и приемы вроде фальшивых верст делали занятие перевозками очень невыгодным, и из заводского населения шли в возчики только те, кому податься было некуда: инвалиды фабрики, вдовы и «прогнанные» с фабричной работы. Заводили они каким-нибудь способом лошаденку и «брякали» на ней зимой и летом, зарабатывая свой голодный кусок и проклиная крестьян, которые «из-за естя» выезжали зимой на эту же работу. Число таких заводских «возчиков» было значительно, и я не помню случая, чтобы хоть раз заводоуправление было стеснено в перевозках.

Правда, самое большое количество грузов передвигалось зимой, но и в остальное время года — по весенней и осенней распутице — необходимое передвижение грузов не прекращалось.

За возчиками, не уступая им в числе, шла группа «поторжных» рабочих, но о них будет особо.

ПРИИСКОВЫЕ

В Сысертском округе годовая добыча золота достигала в описываемое мною время в среднем двадцати пудов. Кроме того, имелись россыпи хризолитов около Полдневой.

На приисках и россыпях было занято немало постоянных рабочих из заводского населения.

Работы велись преимущественно самим заводоуправлением, но часть золота и камней добывалась старателями, которые занимались главным образом разведкой. Особенно много таких старателей было в Полевском и Северском заводах. Там по Чусовой и ее мелким притокам отдельным счастливцам удавалось не раз нападать на «верховую жилу». Одно время золотая зараза захватила чуть не поголовно население Полевского завода. Даже «исконвешные углежоги», и те бросили курень и занялись «богатым делом». Рыли где попало. Проедали последнее, а все не хотели «попуститься счастью».

При удаче картина была однообразная: пьянство и дикая трата денег вроде засыпания пряниками и орехами ухабов на выбитой дороге во время масленичного катания.

Помню, один из таких приисковых людей — Стаканчик — любил подробно рассказывать, как ему удалось найти на казенных (заводских) приисках самородок невиданного размера. Сдать заводоуправлению было нельзя — боялся, что просто отберут, объявят находку казенной. Пошел к местному торговцу Барышеву, который, между прочим, промышлял скупкой и сбытом «мелкого товару». Взвесили. Оказалось восемнадцать фунтов. У торговца не хватило денег. Тогда разрубили самородок и «честно» — рука об руку — произвели сделку.

О дальнейшей судьбе своего счастья Стаканчик говорил коротко: «Два года из кабака не выходил». И только... Остальное золото перешло к тому же Барышеву, который предусмотрительно держал лучший в Полевском заводе кабак. Больше Стаканчику в жизни не «пофартило», и два года безвыходного кабацкого гулянья оказались единственным «светлым пятном» в его тяжелой приисковой жизни.

На старости Стаканчик «усчастливился» — попал сторожем к заводским магазинам, в людное место, где можно было всегда знать новости о «земляном богатстве», думать о котором старик никогда не переставал.

Приблизительно такова же была участь и других «счастливцев».

В лучшем случае начиналась постройка домов. Обязательно каменных, необыкновенно толстостенных, двухэтажных. Но редко эта постройка доводилась до конца. Обыкновенно «счастливец» успевал безнадежно прожиться и потерять «счастливую жилу». Такие недостроенные дома служили чем-то вроде памятников об «удаче на золото». Полевские старожилы, показывая на недостроенные, порой уже разваливающиеся здания, говорили:

— Это когда на Шароглазке песок нашли.

— На кразелите фартить стало.

— Зюзевский этта. Около Бревера нашел [1].

---

[1] Был такой жуликоватый барон — Бреверн, ухитрившийся заложить и продать свои прииски вблизи деревни Косой Брод чуть не в десять рук сразу. Землю между тем кособродчане считали своей и вели судебное дело с этим титулованным мошенником. *(Прим. автора.)*

Удачливая добыча была редкостью. На вопрос: «Как блестит?» — одни начинали уныло рассказывать, что уже не первый раз докапываются до той земли, где прежде люди жили, а всё не фартит, другие жаловались на заводское начальство, которое захватило площадь, как только началась удача. Последнее было делом самым обыкновенным. Заводское начальство, видимо, следило за старателями, и чуть только им удастся найти россыпное золото в значительном количестве, сейчас же окажется, что кругом назначена разработка от заводов. Это для старателя значило: «Иди ищи в другом месте, а здесь уж мы возьмем сами».

Такая политика заводоуправления заставляла старателей «сторожиться» и «не оказывать богатства». Иногда попавшие на богатую россыпь специально начинали вести разработку в разных местах, чтобы сбить с толку заводоуправление. Сделать это можно было только при сравнительно большой компании. Но уж, видно, таково свойство золота, что около него всегда люди дерутся. Так было и с этими старательскими компаниями. Начинались перекоры, взаимное недоверие, и в результате выплывало место «хорошей жилы».

Положение рабочих на казенных (заводских) приисках отличалось от положения фабричных мастеровых только тем, что было гораздо хуже: помимо скудного заработка, тяжелой работы и обжуливания со стороны начальства, им приходилось ночевать в плохо приспособленных для жилья бараках и жить в отрыве от семьи.

Иногда, впрочем, удавалось «замыть золотничок», о чем обыкновенно узнавалось в ближайший праздник в одном из заводских кабаков.

Работа старателя, несмотря на неопределенность заработка, была все же много интереснее и тянула рабочих с заводских приисков.

Многие работали на заводских только для того, чтобы «сколотить копейку на свою работу». Иной целый год «хлещется в забое», скверно питается и даже удерживается от водки, и все для того, чтобы летом «порыться на чусовских покосах».

— Вон на Шароглазке, сказывают, нашли богатимое золото под первым пластом.

— Ну, а под Косым-то Бродом, помнишь?

Вспоминались несколько счастливых мест, которые всегда держались в памяти старателей.

И как будто нарочно для того, чтобы не прекращалась золотая лихорадка, обыкновенно кто-нибудь находил золото в самом неожиданном месте. Не только старатели, но и многие рабочие с казенных приисков бросались тогда на поиски золота в местах, близких к «счастливой жиле».

Даже фабричные рабочие и заводские служащие втягивались в эту погоню за золотом.

В Полевском заводе, например, некоторые рабочие и мелкие служащие, если лично не участвовали в старательских работах, то вносили свою долю деньгами в компании старателей. Из-за этих компанейских взносов некоторым приходилось совсем туго. Жили впроголодь, а все-таки не хотели отказаться от мысли: «Только бы фартнуло — не слуга я больше Сысертским заводам».

СПИЧЕЧНИКИ И КУСТАРИ

Вблизи Сысерти был небольшой спичечный завод, принадлежавший Белоносовой, или, как звали ее, Белоносихе. Завод, что называется,— стрень-брень, а дела вел большие. Вырабатываемая здесь спичка-серянка шла главным образом в Сибирь.

Соседство спичечного завода сказывалось на каждом шагу. Чуть не во всех заводских сторожках строгали спичечную соломку, и во многих семьях, особенно в «Рыму» и в заречной части, с утра до вечера вертели из толстой грязно-розовой бумаги круглые пакетики для спичек, наляпывая на них в места соединений особый состав для зажигания. Накладывался он, впрочем, так экономно, что им нельзя было пользоваться. Спички зажигали о стену, об одежду, о сапог.

Эти работы на дому оплачивались так низко, что за них брались только при крайней нужде.

На самом заводе занимались резкой соломки, изготовлением головки, сушкой и укупоркой.

Головки готовились примитивным способом. В плоские четыреугольные сосуды наливался тонким слоем раствор фосфора, и «макальщики», сунув в этот раствор приготовленную соломку, несли пучки в сушило.

Главный состав рабочих в макальном и сушильном были женщины и дети. Работа считалась такой «легкой», что на нее принимали иногда детей школьного возраста. Однако эта «легкая» работа чрезвычайно разрушительно действовала на организм. Дети, проработав в макальщиках с год, начинали терять зубы. Для тех же рабочих, которым приходилось возиться с составлением и наливанием раствора, дело на этом не кончалось. Разрушались не только зубы, но и челюсти, которые приходилось удалять путем операции.

Изуродованные на спичечном заводе люди казались прямо страшными. В двадцать пять — тридцать лет они были уже стариками, с глубоко провалившимися ртами, неясным шамканьем вместо речи.

Вид инвалидов Белоносовского завода, однако, не удерживал от поступления туда все новых и новых обреченных. Хозяйка, румяная, зазвонная баба Настасья, могла быть спокойна за свои барыши. Неудачники фабрики, дети и женщины валом валили в это опасное место, хотя все знали, как дорого обходятся белоносихины заработки.

Отношение фабричных к «спичечным» было дружелюбное. Им сочувствовали, как находившимся в самом тяжелом положении.

«Работа у них хуже «огневой». Без нужды не пойдешь. Гнилая работа».

В заводских селениях было немало и кустарей. Больше было развито кузнечное производство. Готовили главным образом подкову. Не редкостью были и слесарно-токарные мастерские по железу и меди.

Кузнецы в большинстве работали мелкими группами — своей семьей.

Совсем иное представляли содержатели мастерских. Выделывалась в этих мастерских разная мелочь вроде подсвечников, металлических частей письменных приборов, сахароколок. Эти изделия кустарных мастерских могли конкурировать на рынке с такими же изделиями больших фабрик только при условии крайне дешевой оплаты труда. И содержатели мастерских действительно не стеснялись. Пользовались они главным образом трудом «заводских стариков» и тех подростков, которые не попали на фабрику. Те и другие находились в таком

положении, что вынуждены были работать за бесценок.

По отношению к подросткам, кроме того, широко практиковался институт ученичества. Подросток, принятый в кустарную мастерскую, целыми годами работал бесплатно. Да и потом, когда он работал чуть не лучше мастера, расценка его труда понижалась — за выучку. Хорошо еще, что такому выучившемуся в мастерской рабочему можно было уйти в другую мастерскую. Взаимное соперничество предпринимателей делало такой выход, пожалуй, самым распространенным.

«ЧЕРТОЗНАИ»

Прокормиться при огромных лесных и водных богатствах, имеющихся в Сысертской заводской даче, как будто можно было и независимо от заводского производства. Но редко это удавалось. Счастливцы, которым не приходилось «ломать шапки» перед заводским начальством, казались в глазах остального населения какими-то необыкновенными людьми. Их так и звали «чертознаями»; не допускали мысли, что можно без помощи сверхъестественной силы жить таким промыслом, который не зависит от заводского начальства.

Большинство из этих «чертознаев» жили охотой, рыбной ловлей и дикой пчелой.

Для охотника был простор на лесной площади заводского округа. Некоторые удачливые, как, например, полдневской старик Булатов, в зиму забивали голов по десять — пятнадцать лосей, что превышало годовой заработок наиболее квалифицированного рабочего. Кроме «зверя» (лося), били много козлов и волков. Птицей такие охотники-специалисты редко «займовались». В летнюю пору они бродили по лесу, изучая места стоянки и водопоя лосей и козлов, а также подыскивая наиболее богатые «ягодные бора».

В пору сбора малины около «чертознаев» составлялись особые артели, устанавливалась «верховая веревочка» от пункта к пункту до Екатеринбурга, и доставка этой скоропортящейся ягоды на екатеринбургский базар шла беспрерывно. Особенно много малины шло с участка Бардым — в верстах семидесяти — восьмидесяти от Екатеринбурга.

Брусника тоже давала заработок. Здесь «чертознаи» просто продавали за известный процент свое знание леса. Так и рядились: если в день по два ведра на «борщицу» — столько-то, если по три ведра — столько-то.

Эти же лесные люди занимались и дикой пчелой, имея иногда свыше сотни бортей в разных концах леса.

В общем заработок охотников был довольно значителен, и некоторые из них жили лучше заводских служащих. А так как при этом была еще полная независимость от заводского начальства, то положение «чертознаев» казалось завидным. Их даже немножко побаивались. Но желающих заняться этим ремеслом было все-таки немного. Видимо, сознавали, что охота может быть выгодна лишь при условии, если ею промышляют немногие. Мешало, конечно, отсутствие денег «на обзаведение».

Жизнь в лесу накладывала особый отпечаток. Обыкновенно «чертознаи» избегали шумных праздничных сборищ, почти никогда не гуляли в кабаках и редко, а то и вовсе не показывались в церкви.

Были, правда, среди охотников и люди другого склада: забулдыги и пьяницы, которые тоже «промышляли с ружьишком». Выследить медведя, устроить облаву на волков, показать места выводков птицы — было их главным заработком. Но такие охотники назывались уже не «чертознаями», а «барскими собачонками». К «чертознаям» же относили и рыбаков, которые специально занимались рыболовством.

Рыбы в заводских прудах было довольно много, и рыбаков было больше, чем охотников. На Верхнезаводском пруду, верстах в трех от плотины, был даже особый рыбацкий поселок — «Рыболовные избушки», где несколько семейств жили постоянно. Часть занималась рыболовством поневоле, пока не найдется работа на заводе, но некоторые только этим и жили. Из постоянных рыбаков мне помнятся двое: Клюква и Короб. Оба уже были стариками, когда я их узнал. Смолоду, еще в пору крепостничества, они работали на заводе: один «в горе» (на рудниках), другой — «коло домны», но уж давно «отстали» и поселились на «Рыболовных избушках». Хотя цена рыбы была невысока, но оба старика жили безбедно и порой жестоко пьянствовали.

Клюква был высокий сухощавый человек с кудрявой бородой и пышной шапкой седых волос. Жил он бобылем и вел свое хозяйство так, что многим хозяйкам можно было поучиться. Своих «дружков» он охотно принимал в избушке и балагурил с ними до рассвета, но ко всякого рода заводской знати, приезжавшей иногда на «Рыболовные избушки», относился недоброжелательно. Это недовольство старику приходилось скрывать, поэтому он применял особые приемы отказа в гостеприимстве: не держал самовара, развешивал без всякой надобности сушить сети в избушке, а раз даже, ожидая большого съезда «дорогих» гостей, высмолил в избушке стены и лавки — «для прочности и чтобы блоха не велась».

Короб был семейный, хозяйственный человек. Угрюмый, неразговорчивый, огромный и неуклюжий. В его просторной избе часто останавливались приезжавшие из Сысерти гости-рыбаки, но их принимала обыкновенно одна старуха Коробиха. Старик, еще издали увидев лодку с заводскими гостями, забирал какую-нибудь снасть и уходил, заказав жене: «Мотри, рыбу не продешеви! За молоко цену сразу сказывай, а то отвалят двугривенный, да и пой их за это молоком. Ежели спрашивать станут — куда уехал, скажи — на Карасье. А в случае Санька (сын) придет — пошли ко мне на «лабзы».

Рыболовецкая сноровка приносила Клюкве и Коробу всегда особую удачу. Их соседям по «Рыболовным избушкам» и заводским жителям такая постоянная удача казалась чем-то необыкновенным.

— Небось, пудовая щука всегда Коробу либо Клюкве на остро́гу попадет. А ты, сколь ни езди,— все десятерик.

— Вот вчера утром чуть не рядом с Клюквой сидел, а разница. У него без передыху берет, покурить некогда, а у меня жди-пожди. Да и ерш-то у него на отбор, а мне все мелочь суется, хоть бросай. Как это понимать?

— Словинку знают. Не без того.

— Это правильно говоришь. Известно, целый век на рыбе не проживешь без «чертознайства-то».

Так и слыли эти независимые от заводского начальства охотники и рыбаки необыкновенными людьми, ко-

торым помогает лесная и водяная сила. Может быть, вера в их «чертознайство» и не была особенно крепкой, но уверенность, что они «знают словинку», держалась твердо.

«СТАРИКИ»

В заводах было довольно много так называемых «стариков». Название условное. Оно применялось ко всем, кто уже не годился в тяжелую фабричную работу, хотя возраст их был еще далеко не стариковским.

Тяжелый труд с детства, двенадцатичасовой рабочий день быстро изнашивали человека. Поступив с двенадцати — пятнадцати лет в «огневую работу», он к тридцати пяти — сорока годам становился уже инвалидом. Начинались головокружения, обмороки, и рабочий вынужден был уходить с фабрики. Заводоуправление, однако, вовсе не склонно было рассматривать этих «изробленных» людей инвалидами и обычно, чтобы не платить пенсии, рассчитывало их за «проступки».

Иногда, впрочем, начальство «благодетельствовало», назначая такого изношенного человека в сторожа, в «огневщики» [1] и на другие должности, которые оплачивались от пяти до восьми рублей в месяц.

Человеку в сорок лет, когда еще семья в большинстве «не на своих ногах», существовать на такой заработок было невозможно, и «старики» вынуждены были искать кусок хлеба каким-нибудь другим путем.

Значительная часть «стариков», как уже упоминалось раньше, становились «возчиками»; часть устраивалась в мелких мастерских, где их эксплоатировали еще беспощаднее, чем на фабрике; часть промышляла по мелочам: поделкой из дерева и железа, старательством, рыбешкой, охотой.

«Пристроенные» по сторожевским должностям подрабатывали себе кусок плетеньем корзин и «решеток» (бельевая корзина из березовой стружки), починкой отопков [2], а также изготовлением спичечной соломки. Почти в каждой сторожке можно было видеть трехчет-

---

[1] Сторожа по охране от лесных пожаров в летнее время. *(Прим. автора.)*

[2] Изношенная рабочая обувь. *(Прим. автора.)*

вертовые осиновые чурбаны, которые вручную раскалывались и остpагивались в тонкую круглую палочку-соломку. Эта соломка связывалась пучками по сотне штук и шла на спичечный завод. Заработок от соломки был постоянный, но такой скудный, что за эту работу можно было браться лишь от длительной безработицы.

Пенсионеров, которые бы могли жить на свою пенсию, в заводах вовсе не было. По какому-то старинному положению, оставшемуся еще от поры крепостничества, заводоуправление в некоторых случаях обязано было выдавать пенсии, но они назначались в таком размере, что походили больше на издевательство, чем на пособие.

Помню, моя бабушка, муж которой проработал на заводе свыше тридцати лет, получала свою вдовью половину в размере восьмидесяти четырех копеек в год. Это, впрочем, считалось неплохо. Бывали получки еще забавнее. Мне, например, в конце восьмидесятых годов приходилось знать в Северском заводе старуху, которая получала в год четырнадцать копеек. К этой пенсии добавлялось право срубать ежегодно тридцать — пятьдесят жердей, десять бревен и получить три куба дров. По части лесных материалов, как видно, заводоуправление не скупилось. «Руби, дескать, старушка, бревна, жерди и дрова, вот и сыта будешь. Да еще на прокорм дополнительно получи четырнадцать копеек. Помни, что усердная работа за заводами не пропадет».

При этом, однако, заводское начальство следило, чтобы старухи пенсионерки не вздумали передавать свое право на беспопенную рубку леса кому-нибудь, кроме своих ближайших родственников. В случае нарушения этого правила пенсия снималась.

Кроме денежной и лесной выдачи, полагалась еще мука из заводских магазинов, но она выдавалась в таком количестве, что не стоило за ней ходить. Даже впавшие в нищету пенсионеры и пенсионерки не ходили в магазины: больше и скорее можно было набрать кусков, пройдя по любой улице. И надо сказать, что такое собирание кусков престарелыми рабочими было не редкостью. Ярко-красные пятна на высохшем лице напоминали о тяжелой «огневой» работе, в которой старик нищий пробыл не один десяток лет, и теперь во славу сысертских владельцев он шамкал: «Подайте, Христа ради!»

ИЗ ЗАВОДСКОГО БЫТА

ДРАКИ. АГАПЫЧ

Я не помню в детстве ни одного большого церковного праздника, который бы прошел в Сысерти без драки. Реже драки были в Полевском и Северском.

На обилие драк, бесспорно, влияла особая дешевизна водки. В то время как раз три главных уральских винокура — Суслин, Злоказов и Беленьков — вели самую бешеную конкуренцию между собой. На каждой заводской улице было не по одному кабаку.

Стоимость бутылки (полуштофа по старой мере) водки «со стеклом» доходила одно время до восемнадцати копеек. Вместо прежней «косушки» или «четушки» теперь шел штоф и полуштоф.

Хотя все праздничные драки проходили «под пьяную руку», они, однако, имели разный характер. Различалось три вида драк: пьяные, молодяжника и заводские.

Пьяными драками назывались такие, которые затевались, когда напившиеся до одури люди начинали ссору по какому-нибудь предлогу, мало памятному для самих участников. Драки этого вида в большинстве своем были не «душевередны», велись простейшим оружием — пятерней, кулаком, сопровождались рваньем рубах и нередко кончались тут же самыми нежнейшими объяснениями в дружбе, лобызаньем и песнями. Отношение к этим пьяным дракам было пренебрежительное не только у взрослых, но и у малышей.

— В Кабацкой пьяные шумаркают. Пойдешь смотреть?

— Не видал я пьяных, што ли? Вон у Изюминки сколь хошь смотри.

— Ну, это семеро-то у одной косушки да все ковшами? В Кабацкой занятнее. Там, говорят, Мякина.

— Вранье. Мякина драться не будет. Давно бы уж запел. В Пеньковке он сегодня. Оттуда встречать будем.

Драки молодяжника обыкновенно выливались в жестокие формы. В дело шли ножи, железные трости, кистени. Этими драками решались недоразумения любовного характера. Иногда соперники дрались в одиночку,

но больше ходили группами. Пойманного соперника при случае избивали насмерть. Иногда пьяная злоба направлялась в сторону «изменницы», и тогда в драку невольно вовлекалась семья девушки, в доме которой пьяная ватага начинала «высаживать» рамы. Соседи вмешивались в драку на стороне осажденных. Сначала действовали уговорами, а когда это не помогало, в руках появлялось самое серьезное оружие — топор. Появление топоров обыкновенно кончало драку: пьяная молодежь переходила к ругательствам, с которыми и отступала.

Так называемые заводские драки были явлением особым. Правда, здесь тоже действовали пьяные люди, но разница была огромная. Тут заранее ставилась определенная задача, и только выполнители ее предварительно напивались. От своих товарищей-шаровщиков мы иногда даже получали предупредительную весточку: «завтра учь будет верхнезаводцам», «приказных бить собираются на свадьбе», «уставщика доводить станут в Трофимовке».

Старались обыкновенно произвести такую драку на «нейтральной» почве — вблизи какого-нибудь кабака. Но если этого почему-нибудь не удавалось сделать, то пьяные «учители» небольшими группами разбредались по улицам и начинали «сзывать для боя».

Вызывали по-разному.

«Хряпали раму» и дожидались, не выбежит ли хозяин дома. Считалось самым удачным, если он выбежит с каким-нибудь оружием.

— На пьяных с безменом вылетел! Ну, как ему не накласть. Вперед умнее будет. Сам виноват!

Если этот простейший способ не удавался, начиналось приставанье с предложением «вместе выпить», причем драка затевалась и в случае согласия и в случае несогласия. Разница была только в месте.

Если вызываемый соглашался «поддержать компанию», то шли в ближайший кабак и там после первых стаканов затевалась драка. Если согласия не было, начинались разговоры: «гнушаешься», «зазнался» и так далее, что также кончалось дракой.

Нужно сказать, что все-таки это были не избиения, а драки. Как бы ни была пьяна толпа, она всегда старалась вызвать на первый удар и полностью не навали-

валась, а фигурировала в качестве свидетелей, которые вмешивались в случае надобности в драку, но не иначе, как подыскав благовидный предлог: «Ты дерись, а меня не задевай. Меня толкаешь? Получи!»

В отношении драк с приказными, сколько помню, вызовы к кабаку не применялись. Приказных старались поймать в месте их сборища: на какой-нибудь вечеринке, на свадьбе и также старались «довести».

Так как приказные тоже были пьяны, то это легко удавалось, и драка происходила «в полное удовольствие», кончаясь иной раз серьезным членовредительством. При этом победа неизбежно оставалась на стороне рабочих, которые имели неисчерпаемый резерв в случае, если начинали дело маленькой группой.

Особенной остротой отличались столкновения рабочих с приказными во время маевок. Маевки эти справлялись в Сысертском округе с давнего времени. От отца я слыхал, что его дед — рабочий Полевского медеплавильного завода — был убит во время маевки за Гумешевским рудником каким-то заводским сержантом, которого рабочие тоже убили, втоптав в тинистый берег речушки, за что потом жестоко поплатились. Это было не менее как девяносто лет тому назад.

В конце семидесятых и в первой половине восьмидесятых годов маевки в Сысерти все еще не имели характера революционного рабочего праздника, но постоянные столкновения рабочих с приказными были показательны.

Так как заводские драки имели определенное направление против не в меру усердных заводских служак, то этими драками усиленно интересовалось начальство. Всегда старалось узнать — кто зачинщик? Этих зачинщиков держали на учете, но крутые меры к ним не всегда применяли. Начальство само их побаивалось, так как большинство зачинщиков было из таких рабочих, которым оставалось терять очень немного.

Иногда эти «зачинщики» доходили до «смертоубийства». Их судили и ссылали. Некоторым удавалось бежать, и их старательно укрывали по заводам.

В пору моего детства наиболее ярким из таких каторжан был Агапыч (Громов).

Он в одной из заводских драк пырнул ножом какого-то маленького заводского начальника и пошел за это

в Сибирь. Оттуда не один раз уходил и иногда годами жил в Сысерти и других заводах округа. В удаленных от центра улицах ему можно было жить в открытую и даже иногда «погулять в кабаке», когда там не было большого стечения народа.

Рабочие относились к нему, как к своему лучшему товарищу, заводское начальство и полиция побаивались «отпетого» человека.

У нас, помню, Агапыч бывал не один раз. Мать по этому случаю «гоношила пельмешки», а я получал от отца наряд «слетать» к Парушке, к Изюминке или к Зимовскому, судя по тому, в котором из кабаков нашей улицы в то время кредитовался отец.

Больше одной бутылки, сколько помню, не пили, а это для двоих, «крепких на вино» людей было пустяком.

Разговоры велись самые неинтересные для меня, и я даже удивлялся, как это Агапыч — знаменитый заводский разбойник — мог разговаривать о сдаче кусков, о браковке железа, о ценах на зубленье напильников. Еще более расхолаживало меня, когда этот белобрысый человек с необыкновенно длинными руками начинал жаловаться на свою жизнь.

— Не могу я, Данилыч, без дела. Ну, кормят меня, поят — спасибо. А вот дела никто дать не может. А без дела как? Вот и живешь по-волчьи. Бродишь с места на место.

О Сибири, о своем побеге Агапыч не рассказывал. Сибирь и каторга им определялись одним словом: «тоскливо».

Тоска по родному месту гнала Агапыча в Сысерть, где он и бродил от приятеля к приятелю, служа пугалом заводскому начальству и «громоотводом» в случае «расчетов по мелочам», о чем речь идет дальше.

Когда окончательно исчез с заводского горизонта этот истомившийся по работе заводской разбойник, точно не помню, но в большой драке по случаю приезда жены владельца заводов он «работал» с исключительным остервенением, и у многих из заводской «шоши» остались неизгладимые воспоминания о прикосновении его костлявого огромного кулака.

«Агапыч урезал» — почти всегда значило: искалечил.

«РАСЧЕТЫ ПО МЕЛОЧИШКАМ»

Начало зимнего вечера. Мать только что окончила «управляться» с коровой и зажгла огонь. Окна по заводскому обычаю закрыты ставнями.

Слышится осторожный стук. Мать и бабушка тревожно переглядываются. Одна подходит к окошку и кричит через двойные рамы:

— Кто, крешшёной?

— Отвори, Петровна. Поговорить надо.

По голосу слышно, что это соседка, по уличной кличке Сануха Турыжиха.

Бабушка все же еще раз спрашивает:

— Сануха, ты?

Мать поспешно идет во двор, и вскоре обе входят в избу.

Сануха, видимо, чем-то взволнована и начинает шептаться с матерью и бабушкой.

Меня отгоняют, но я слышу повторяющиеся слова: кольцо, царь, письмо. Любопытство возбуждено до крайности, но мать и бабушка выпроваживают меня в горенку. Мать даже зажигает там огонь и дает мне «смотреть картинки» — любимую книгу «Луч».

Однако картинки на этот раз меня не привлекают, и я в дверную щель слежу за тем, что делается в кухне.

Сануха из-под шали вытаскивает какую-то смятую бумажонку, сует матери и шепчет: «Вот прочитай-ка, Семеновна».

Мать у меня по улице слывет грамотейкой.

Она развертывает бумажку и начинает шепотом разбирать слово за словом.

Сначала идут ругательства, которые, однако, мать, к моему удивлению, прочитывает без пропусков, и, строгая ко всяким «цамарским» словам, бабушка на этот раз слушает без возмущения.

Дальше начинаются угрозы: «переломать ноги, разбить башку, ссадить в домну».

Женщины в ужасе. Забывают обо мне и уже говорят полным голосом.

Из разговоров узнаю, что письмо вытащено Санухой из воротного кольца у дома заводского надзирателя — по прозвищу «Царь».

Ходила вечером за водой и увидала — в кольце что-то белеется. Думала — платок, а оказалось письмо.

Из любопытства вытащила письмо, и теперь получилось трудное положение. Нести обратно — можно попасться, а не снести — значит огневить тех, кто писал письмо.

Все трое оживленно обсуждают, как быть, и попутно делают догадки: кто это писал. Оказывается, сделать это мог чуть не каждый грамотный рабочий, так как Царь всякому насолил. Кончается тем, что бабушка решает: «В железянку бросить — и делу конец. Ежели получит, лучше не будет, а ежели накроют, так это — собака — и заслужил».

И письмо летит в железную печку, которая с начала вечера топится.

Сануха, получив напутствие: «Чтобы ни гугу! молчок об этом деле!», уходит. Мать с бабушкой продолжают разговаривать о письме.

Гудит вечерний свисток. Вскоре по ставню два резких отчетливых удара: отец пришел. Мать, не спрашивая, бежит отворять калитку.

Пока отец раздевается и отмывается, ему рассказывают о письме.

Отец матерно ругается по адресу Санухи: «Колоколо ведь!» — и садится за стол. Через некоторое время он, однако, вполне одобряет решение сжечь письмо.

— Ладно и так. Нечего упреждать-то. Сторожиться будет. А накрыть давно пора. Этакую собаку жалеть не будем. Нашелся бы только добрый человек.

И «добрые люди» находились, хотя и не часто. Разыскать их не удавалось, так как каждый рабочий и мелкий служащий, если даже подозревали его, старались не подвести других.

Расправа обыкновенно производилась зимой по вечерам, в то время когда заводской администрации приходилось являться на завод к ночной смене. Шли по гудку — в шесть часов вечера, когда зимой уже темно. Старались выходить с попутчиками — рабочими, чтобы иметь поддержку или по крайней мере свидетелей.

Порядок был уже установившийся. Свидетели разбегались, потом являлись на фабрику и, выждав время у входа, вбегали, запыхавшись, и докладывали по начальству, что вот-де такого-то бьют. Дело обыкновенно к тому времени было кончено. Каждый об этом знал, но тем не менее все, кому можно было из работающей

смены и поголовно все успевшие прийти в ночную смену, бросались «спасать».

В результате получалась каша, в которой даже зоркие глаза заводских прихвостней не имели возможности различить, кто пришел раньше, кто запоздал.

Шли оживленные разговоры. Оказывалось, что чуть не каждый чем-нибудь «услужил» пострадавшему, хотя кто-то успел-таки проломить ему голову или пересчитать ребра.

Попутно начинались разговоры об Агапыче. Его видели как-то сразу в разных концах: около Воробьевской заимки, на Зверинце, у Панова, на Полевской дороге. Каждый говорящий осторожно прибавлял, что хорошенько разглядеть не мог — он ли, или указывал на сомнительный источник: «Бабы видели».

Как бы то ни было, разговоры об Агапыче шли по всем цехам. Это имя переплеталось с именем избитого заводского холуя. Припоминались случаи, что вот тем-то Агапыч был недоволен, когда работал на фабрике; тогда-то грозился. А теперь вот и сделал.

— Беспременно его это работа!

— Ищи теперь каторжника!

— Уж, поди, где свищет!

Создавалось что-то похожее на правду и окончательно сбивало с толку заводских заправил.

Эти встряски заводских холуев все-таки были полезны рабочим, напоминали другим, слишком усердным, что терпению «мастеровщины» есть конец и выслуживаться перед начальством надо с оглядкой.

Нужно сказать, что вообще рабочие были очень терпеливы и расправлялись только с теми, кто окончательно «стал собакой». Да и тут еще почти всегда было предупреждение — посылалось сперва «подметное письмо», и если перемены в обращении с рабочими не замечалось, производилась «учь».

Насмерть, однако, не били. Ограничивались обыкновенно хорошей взбучкой.

Озлобление чаще всего направлялось против мелкой заводской сошки, которая служила палкой-погонялкой в руках вышестоящих.

Не помню, чтобы задевали «большое» заводское начальство, кроме одного случая, когда пытались произвести расчет с последним из управляющих.

И можно думать, что верхи пользовались такими особенностями по-своему. На расправу с заводским начальством — мелкотой — смотрели сквозь пальцы. На всех, дескать, слез не хватит, да и на место одного десяток других подыскать можно. Ну, и не беспокоились, даже и на пособия в случаях инвалидности не слишком тратились. Может быть, тут было кой-что и от боязни за собственную шкуру: если не давать выхода недовольству рабочих, так, пожалуй, себе опаснее. И выход давался «расчетами по мелочишкам».

Производилось потом, конечно, следствие, но обыкновенно виновных не находилось. За все отвечал неуловимый Агапыч. На его голову по заводским традициям разрешалось валить всякую вину: все равно ему уж хуже не будет.

В агапычев счет, кажется, был записан и случай с заводским надзирателем Царем, у которого в одну зимнюю ночь были «отбиты вздохи».

МАКАР ДРАГАН И МЯКИНА

— Ребята, Макар чудит!

Со всех ног несешься по направлению к избушке кричного мастера Макара Драгана. Уж больно там занятные штуки бывают.

На завалинке избушки, на заборе уж много мелкого заводского люду. Облепили окошки. Смотрят без опаски. Всем известно, что Макар, как бы пьян ни был, на ребят не бросается. Крикнет только: «Пошли к лешему! Не видали, что ли, меня?»

Драган пьян, но ходит по своей избушке вполне уверенно. Жену он только что «выставил». Она стоит тут же на дворе, голосит и ругается. Войти в избу ей, однако, нельзя — вылетит, как котенок.

У этой бездетной супружеской пары были какие-то свои особые правила. Даже во время самого жестокого запоя Макар не бил свою жену, а только «выставлял».

— Твое время будет. Не лезь!

Жена поплачет, поругается и уйдет к кому-нибудь из соседок, заказав нам, ребятишкам, сказать, когда Макар уснет или куда-нибудь пойдет.

Драган все ходит по своей избушке и о чем-то тяжело раздумывает. Он обыскал уж свои сундучки и шкафчики — ничего путного «для закладу».

— Ишь, стерва, все вытащила,— бормочет он.

Роется в посуде — ничего! Косушки не дадут. Ряд кринок на полке подсказывает выход — теленок! идет в конюшню. Добровольцы-вестовые бегут к его Варваре и докладывают: «В конюшню пошел». Жена Макара, сидевшая у соседки, вместе с соседкой бежит домой. Затея отбить теленка у этого сильного, хотя и пьяного, человека явно безнадежна. Макар отстраняет кричащих баб и торжественно уносит теленка в избу. С порога внушительно говорит: «Не лезь, бабы! Я в своем доме главноуправляющий! Хочу — продам, хочу — зарежу».

Случай, однако, настолько катастрофический, что жена идет в атаку —забирается в избу, но Макар с ловкостью, необычной для пьяного, хватает ее за ворот, высоко поднимает своей ручищей и выставляет с высокого крылечка. Делает это совсем беззлобно. Не бросает, не толкает, а именно выставляет как ненужную в данную минуту вещь, которую, однако, разбивать не годится.

Мы хохочем. Варвара, в сущности тоже добродушная женщина, тут не выдерживает и нападает на ребятишек с плачем, криком и руганью.

По счастью, вмешивается соседка Олончиха и убеждает Варвару, что лучше сбегать к Парушке и сказать «этой холере», чтобы не смела брать теленка в заклад, а то и глаза выцарапать можно. Варвара быстро уходит. Мы занимаем свои наблюдательные посты.

Теленок, попавший в непривычные условия, мечется по избе, дрожит и жалобно мычит.

Макар сидит на «голбчике» и улыбается.

— Ишь, дурачонко! К матери просишься? Ладно, не отдам Парушке. Молись богу!

Быстро схватывает теленка, ставит его на стол в передний угол и тянет ногу теленка к голове, желая перекрестить. Теленок ревет.

— Не желаешь? Может, лучше нашего без бога-то проживешь.

Снимает теленка со стола и уносит обратно в хлев. Потом лезет на сеновал и сбрасывает огромную охапку сена.

Эти хозяйственные заботы, однако, не могут заглушить мысли о невыпитом полштофе или косушке. Макар опять идет в избу и начинает перебирать свои ценности. Берет около «голбца» топор, ломок и молоток. Осматривает их внимательно и кладет обратно. Потом быстро подходит к печи и начинает пробовать крепость вмазанной в печь чугунной доски — шестка. Плита подается, и Макар начинает ее вышатывать. Делает это так осторожно, что боковые кирпичи не сыплются. Зрители ошеломлены: «Неуж выворотит?» Даже никто не хочет сообщить жене Макара об этой новой его выдумке.

Тяжелая шесточница вытащена, и Макар осторожно выносит ее из избы и быстро направляется к кабаку, где уже давно ждет его «растравленная» макаровой женой кабатчица Парушка. Она назло сейчас же покупает доску на деньги (чтобы не возвращать заклада), и Макар получает возможность «допить», чтобы на следующее утро убедиться, что больше найти для похмелья нечего и надо выходить на работу.

Месяцами тянул он свою тяжелую лямку. Баловал нас — соседских ребятишек — разными фигурными плитками, которые приносил нам с завода для игры в бабки.

Иной раз в праздник, когда взрослое население завода было пьяно, Макар уходил с нами в лес или на рыбалку. Эти прогулки с Драганом казались нам необыкновенно занятными. Он как-то всегда умел показать то, что мы еще не видели или не замечали. Разговоров с нами он, однако, вел мало. Больше молчал, покуривая свою трубочку.

Особенное удовольствие доставляло нам купанье с Макаром.

Выбирали место поглубже, удобнее для «броска», и начинали раздеваться. Мы с напряжением следили за каждым движением Макара, за каждой мелочью, ища в них отгадку его необыкновенного искусства нырять.

Снежно-белое, как у всякого рыжего человека, тело с широким треугольником выжженной на груди кожи, прямые ноги, мускулистые руки с широкими кистями, толстая шея, «наплывистые» плечи и широкая грудь — все это отмечалось детьми: не потому ли Макар так ловко ныряет? Белизна тела тоже входила в число причин: «Белому телу вода рада — не выпускает».

Нырять Макар был, действительно, мастер. Сколько минут он держался под водой — сказать не сумею, но только долго. Мы, видавшие его ныряньe не первый раз, не могли, однако, приучиться спокойно дожидаться его появления из-под воды. Сначала глаза беспокойно бегали по поверхности воды, стараясь угадать место, где появится голова Драгана. Но голова нигде не показывалась, и у всех рождалось тревожное: утонул. Проходило еще несколько томительных мгновений. Мы терялись, не зная, что делать, и в это время показывалась голова Драгана, обыкновенно в самом неожиданном месте: иногда тут же под берегом, иногда в камышах, иной раз чуть не на другом берегу пруда. Макар быстро и ловко плыл к берегу, очень довольный, что ему удалось напугать своих приятелей-малышей.

В зимние вечера избушка Драгана была излюбленным местом ребячьих сборищ. Шумели, разговаривали, играли «в карты-бабки» или «чурашки». Драган, только что вернувшийся с работы, сидел на своем обычном месте — «голбчике» — и покуривал трубку, Варвара возилась у печки.

Такие мирные полосы жизни Драгана тянулись иногда по нескольку месяцев. Но вот в какой-нибудь большой праздник он напивался и «кружил», насколько хватало денег, причем каждый раз «чудил». Жена старалась спозаранку рассовать имущество по соседям, чтобы ускорить конец пьяной полосы.

— Мать пресвятая, Паруша великомученица, одолжи косушечку рабу божию Миколаю до первой получки!

В самой середине грязной дороги, на коленях, без шапки стоит рабочий Мякина и, как в церкви, молитвенно смотрит на кабацкую дверь, которую заслонила своим жирным огромным телом целовальница Парушка.

После своего молитвенного призыва сам же припевает высоким тенором: «Подай, господи!»

Жирная баба возмущается:

— Ишь, пьянчужка, над богом смеешься! Проваливай! и трезвый ко мне не ходи!

Мякина быстро поднимается из грязи, взмахивает кудлатой головой и визгливо кричит:

— Да разве я к тебе, стерве, сам хожу? Горе мое ходит, паскуда! Так и знай, сволочь!

Парушка, привыкшая к именам и похуже, решительно направляется в сторону пьяного тщедушного «мастерка». Тот отступает и, пошатываясь, направляется вдоль улицы.

В утешение себе Мякина запевает песню-импровизацию, где фигурирует кабатчица Парушка.

Эта пьяная импровизация мне до сих пор кажется прямо поразительной. Отдельные фразы забылись, но помню, что это всегда была мерная, складная речь, без остановок и перебоев. Появлялся какой-нибудь ядовитый припев, который потом подхватывала «мастеровщина».

С Парушки песня вскоре переходила на заводское начальство и бар. Нарочито смешные положения, в которых они представлялись в мякининой песне, собирали на улицу не одних ребятишек, но и взрослых. Около поповского дома Мякина вспоминает о своем «благочестии» и переменяет мотив на церковный. Опять мелькают забавные образы, где «гривастые дьявола» и «святые ангела» так причудливо переплетаются, что матери гонят нас, ребятишек, домой и кричат на безбожного Мякину, угрожая ему не только адом, но и стражником, что, конечно, страшнее. Рабочие хохочут.

Вот Мякина доходит до своей избушки. Ворота заперты, ставни на болтах, закрепленных внутри, сенки тоже заперты изнутри засовом, и лестница, по которой можно залезть туда, убрана. В доме и во дворе ни души. Ребятишки Мякины вертятся тут же в толпе, на улице. Жена спряталась.

Готовятся так к встрече Мякины не потому, что боятся его, как буяна, а с другим умыслом. Надо утомить его так, чтобы, забравшись в избу, он сразу же заснул. Иначе неизбежно выкинет какой-нибудь фортель, обидный, а иногда и разорительный для домашних.

Начинался стук, матершина, жалобы «православным» и перелезание через забор. Перелезание, судя по степени «градусов», иногда тянулось долго. Дальше канитель с дверьми в сени. В большинстве случаев кончается тем, что Мякина, забравшись в избу, растягивается на постели и засыпает. Толпа расходится.

Но если ему удается проникнуть в избу быстрее, то открываются оба окна на улицу, и начинается «выставка». Показываются отопки сапог, рваные рубахи жены

и детей, покровитель дома Микола Милостивый. Все это сопровождается прибаутками завзятого раешника. Хохочет толпа, и всхлипывает жена Мякины. Соседки, которые жалеют тихую мякинину бабу, начинают стыдить Мякину. Но это только ухудшает дело. Мякина, истощившийся в остротах над своим скудным имуществом, получает новый материал. На каждое замечание у него готов такой колючий ответ, что бабы плюются, а некоторые — погорячее — готовы прямо лезть в драку. Мужей эти остроты тоже неизбежно задевают, но они стараются «не показать виду». Толпа взрослых, однако, начинает расходиться. Охотников вступить в словесную борьбу с пьяным Мякиной все меньше, и он объявляет «выставку» закрытой «до великого дня святого Полштофа».

Иной раз «фортели» бывают «фигуристее».

Помню, раз Мякина напился в отсутствие жены, которая куда-то уезжала: на покос или за ягодами. Предупредительных мер не было принято, и пьяный хозяин беспрепятственно вошел в свою избу. На этот раз он, выставив косяки, ухитрился вытащить на середину улицы ткацкий станок — кросна. И начал тканье с припевом:

Я поставила кросна,
Им девятая вёсна!..

Этот «фортель», обидный для его измотавшейся на работе жены, прекратили женщины соседки, которые буквально избили пьяного Мякину и растащили части станка по домам.

В «трезвое время» Мякина (Медведев Николай Николаевич, человек уже пожилой) был веселый заводский рабочий. Смолоду он работал на фабрике, но «огневая», видимо, была не по силам этому тщедушному человеку, и он перешел в столяры. В этой отрасли Мякина был своего рода художником, и ему поручалось изготовление наиболее тонких моделей. Иногда он делал своим ребятишкам занятные деревянные игрушки. Толчея, кричный молот, мельничное колесо были сделаны, как хорошая модель, и «действовали по-настоящему».

Напивался Мякина не часто, «с себя не пропивал и из дому не тащил», но жили они скудно. Большая семья и маленький заработок ставили его в положение

чуть не нищего, но он все-таки ухитрялся сохранять веселый нрав и слыл в заводе за балагура и песенника.

В трезвом виде он, однако, избегал задевать в своих остротах заводское начальство. Говорил либо о прошлом, либо «проезжался по части святых отцов», быт которых он почему-то знал великолепно.

Пел Мякина замечательно. Чистый высокий тенор во время вечернего отдыха на покосе часто сзывал на стан большую толпу слушателей с соседних участков.

Но мне все-таки больше памятны его пьяные песни-импровизации. Это было творчество, грубое по замыслу, яркое по обилию образов и тонкое по отделке деталей. Редкая легкость стиха была изумительна. Песня, каждый раз новая, лилась спокойно, уверенно, как будто она давалась в давно знакомых заученных словах.

Жаль, что этот редкий юморист-импровизатор ушел из жизни не более как заводским столяром Мякиной. пьяные выходки которого смешили соседей.

«ЖАЛОВАННЫЙ КАФТАН»

На каждом большом предприятии всегда бывает много мелких строительных работ и частичного ремонта. Постоянно требуются плотники, столяры, каменщики, землекопы и чернорабочие.

Из заводских сооружений больше и чаще всего нуждались в ремонте плотины заводских прудов: подновить насыпь, перебрать слив, переставить ледобои, исправить вершники... Служащий, ведавший ремонтом плотины, назывался плотинным. Ему же поручалось наблюдение за другими строительными работами, а также заведование подсобными мастерскими.

Таким образом, в руках плотинного сосредоточивалась огромная отрасль мелких строительных работ. Во время капитального ремонта плотины и производства больших построек в распоряжении плотинного были большие партии рабочих; когда же построек не было, число рабочих значительно сокращалось.

Эти колебания числа рабочих и право отказать одним и оставить других давало плотинному большую власть. Все заводские плотники, столяры, каменщики, кровельщики и маляры старались жить в ладу с плотин-

ным. Иные, как говорится, из кожи лезли, чтоб подслужиться и при сокращении работ не попасть «к расчету».

Если таково было положение рабочих, обладающих теми или другими техническими навыками, то еще хуже было положение «поторжных». Этим именем назывались чернорабочие, которые нанимались поденно — «по торгу». Тут выбор производился на глаз, никакой очереди не существовало, все зависело от усмотрения плотинного, который, однако, наперечет знал тех, кого заводское начальство «пустило в голодняки». Этим «голоднякам» работы не было даже по самым низким ценам и при самом большом спросе на рабочие руки.

Последняя особенность, а также почти бесконтрольное распоряжение работами требовали, чтобы плотинный был «верный человек». Верный, конечно, хозяину.

В Сысерти в наблюдаемый мною период таким «верным человеком» был некий «Пасинька» — Павел Алексеич (фамилии его не помню). Это был любопытный тип старого заводского служаки, живой осколок минувшего крепостничества. Помню его уже глубоким стариком. Каждый день можно было видеть, как этот высокий, сухой, с узенькой седой бородкой, угрюмый старичишка шагал по нашей улице в обеденную пору домой. Старинный чекмень, опоясанный ремешком, и квадратная полутороаршинная палка — «прави́ло», которую он употреблял для измерения, выделяли его из ряда остальных заводских служак.

Плотинный немилосердно сюсюкал, и нам, ребятишкам, был большой соблазн подразнить худоязычного старика. Но мы делали это с большой опаской, так как слыхали от старших, что если «Пасинька» узнает, чей мальчуган, то хорошего не жди: так подведет, что с фабрики уволят, а уж в поторжную никак не пустит. Пускались на хитрости: старались дразнить не в своей улице, а подальше; в нашей же улице старика дразнили соседние уличане. При этом чужакам не разрешалось давать даже обычную взбучку, хотя бы были с ними самые недавние незаконченные счеты. И нашим уличанам тоже беспрепятственно можно было ходить за «Пасинькой» скопом и в одиночку в другие улицы.

Особенно густо ребятишки ходили за «Пасинькой» в воскресенье или в праздничный день, когда он шел в «жалованном кафтане».

За «верную» службу в течение не одного десятка лет заводоуправление и владелец расщедрились — подарили плотинному особый почетный кафтан, обшитый по вороту и бортам узеньким золотым галуном, с какими-то кисточками на боках. На кафтан сукна не пожалели,— сшили его до пят, да и вширь пустить не поскупились, и получился какой-то необыкновенный смешной балахон. Маленькая круглая шапочка-катанка, степенная поступь и важный вид дополняли эту забавную картину. Казалось, старик был крайне озабочен, как бы в целости пронести на плечах такую драгоценность, как его необыкновенный балахон.

— Пасинька, кафтан не потеряй!

— Позолоту не замарай!

— Рукой-то не маши — кисточку оборвешь!

Но старик не замечал нас. Выставив вперед правую руку с завязанной в клетчатый шелковый платок просфоркой и размахивая левой рукой как-то в сторону от себя, он продолжал свое величественное шествие.

— Сутка ли? Осенили и позаловали. Это сюствовать и понимать надо!

И старик плотинный «чувствовал и понимал», что холопский труд его жизни не пропал. Недаром он всю жизнь трясся над господской копеечкой, чуть свет бежал на свою плотину: не случилось ли чего? Зорко следил за количеством ожидающих распределения на работы и пользовался всяким случаем, чтобы «ужать» пятачок. Целую жизнь своим сюсюкающим говором «материл поторжных» за их «бессюствие и бесстызость». И вот на старости лет получил награду — кафтан с позолотой. Этот широкий черный кафтан окончательно закрыл в глазах старика темные стороны его работы. Закружила старую голову барская ласка. Не мог понять он, насколько смешон был в жалованном кафтане.

Когда на Нижегородской выставке в 1896 году плотинного и еще двух стариков, наряженных такими же шутами, спрашивали, в каком хоре поют они — такие старики, то «Пасинька» искренно удивлялся: на всероссийской выставке, в большом городе могут оказаться такие чудаки, которые не видывали жалованного кафтана! С достоинством объяснял он, что вот служил «верой-правдой» столько-то лет в Сысертских заводах господи-

на Соломирского и наследников Турчаниновых и его оценили и пожаловали.

Вспоминая о «Пасиньке», невольно удивляешься, что такой обломок крепостничества жил еще совсем недавно, перешел даже в двадцатое столетие и умер, кажется, перед началом войны четырнадцатого года.

О ЗАВОДСКОЙ УЧЕБЕ

Я уже учился в обыкновенной земской школе с «небьющимися учительками», но школа все-таки по-прежнему звалась заводской. Школьный день у нас был длиннее принятого в других школах, так как заводское начальство посылало к нам «дополнительных» учителей — по черчению и рисованию. Но эти занятия велись по-особому: учителя налегали лишь на тех, кто обнаруживал определенные способности. А таких было немного, так как практиковавшиеся учителями приемы: линейкой по голове, карандашом в лоб и т. д., заставляли всячески отделываться от этой учебы.

Доморощенные преподаватели только руками разводили: «Мало стало способного народу. Откуда чертежников брать будем?»

Но от «настоящей учебы», которая когда-то применялась к самим учителям, все-таки воздерживались. Время брало свое.

Другой особенностью школы был ее заведующий. Здоровый, сильный человек, довольно добродушный и, кажется, ловкий в своих личных делах.

Наши отцы усиленно нам напоминали, что он — донской казак.

— Он только кажется смирный, а поди-ко разозли — покажет!

— Известно, казак.

— Еще донской.

— Ну, ведь как без этого с нашими ребятами — баловники.

Эти разговоры и внушительный вид заведующего заставляли побаиваться.

— А вдруг в самом деле разозлится и начнет расправляться... по-казачьи?

О казацкой же расправе все мы слыхали.

Строгому порядку в школе помогало и то, что у большинства взрослого населения слишком еще живы были воспоминания о прежней заводской школе и ее «работниках». Живы были и те «мастера», у которых доучивались наши отцы и старшие братья, не вынесшие жестокостей заводской школы.

Если к этим свирепым «мастерам» все-таки бежали из старой заводской школы, то каковы же были порядки в ней?

Нужно сказать, что потребность в «писчих и счетных людях» в заводах чувствовалась давно, и школы там существовали уже в восемнадцатом столетии. Жестокие формы старинной учебы здесь, видимо, развернулись вовсю. Вот, например, документ из того времени, когда заводская школа «словесной грамоты, цифири и пения» помещалась еще при церкви.

Сысертский поп Куликов «репортовал» своему начальству в 1776 году: «Сего генваря 6 числа, во время утреннего пения на чтении по шестой песни канона слова похвального находящийся при Сысертском заводе при поучении словесной грамоте и пению детей служитель А. Дулов, унимая собравшихся малолетов от резвости и между тем малолета Ипполита Алексеева, за правым клиросом резвящегося, простосердечно ударил кулаком по голове, у которого незапно прошиб голову, и в церкви пол потекшею из головы кровью окровенили, и по той причине литургисать я был опасен».

«Резвящемуся малолету» прошибают голову, льется столько крови, что поп не решается даже служить в этот день в церкви. Куда уж дальше?

Эти зверские порядки существовали в заводской школе и в последующее время, когда она уже была в другом помещении. Учить и бить были почти равнозначащими выражениями. И если нашему поколению достался, по счастью, добродушный «донской казак», то предыдущее еще полностью терпело школьную пытку, которую безнаказанно вели разные «заводские служители» под покровом всесильных в округе феодалов — Турчаниновых.

Параллельно с заводской школой работали и отдельные «мастера», малограмотные люди, знавшие только псалтырь, краснопись, цифирь и... трехвостную плетку,

как единственный способ насаждения премудрости в головы заводской детворы.

Простегнутое ухо, рассеченный висок, исполосованная спина — все же были не так страшны ребятишкам и их отцам, как «настоящая» заводская учеба с ее «простосердечным» прошибанием голов и поркой «впосолонь».

Ребята, попавшие из школьного застенка к «мастеру», который употреблял лишь одну плетку, считали себя счастливцами, и иногда переходили из школы к «мастеру» тайком от родителей.

От отца я знаю, что он с первых же шагов в школе попал в такой переплет, что решил сбежать к безногому «мастеру» Банникову. «Мастер» принял, и отец начал ходить к нему в часы школьных занятий. Родители некоторое время не знали о «самовольстве», но месяца через три отец вынужден был сообщить им об этом, так как нужно было платить «мастеру».

В какой-то большой праздник запрягся отец в тележку и повез своего безногого учителя домой. Дома, конечно, удивились неожиданному приезду Банникова, но когда он объявил, что «малец вытолмил склады», то пришлось — такова уж сила обычая! — устроить «ввод во псалтырь». За бутылкой «ввода» старики окончательно договорились, и отец остался в обучении у Банникова. Там в компании с двумя десятками других школьных беглецов и проходил науки: псалтырь, краснопись, на которую учитель особенно налегал, и арифметику, но когда дошли до именованных чисел, то «мастер» откровенно заявил: «Дальше не знаю. Учитесь сами».

Этого Банникова и еще двух таких же «мастеров» я хорошо знал. Работа с треххвосткой наложила на них особый отпечаток постоянной свирепости. В пору моего детства «мастера» уже не учили. Они нашли себе более подходящее занятие — читать по покойникам.

Но справедливость требует сказать, что эти чтецы по покойникам как учителя все-таки были лучше тех заводских служителей, которых заводское начальство «приставляло к школе». Выученики этих «мастеров» и составляли кадр заводских «приказных», бойко и красиво строчивших свои «реестры и сортаменты» и подводивших итоги владельческих барышей. Были из них и такие, которые, вооружившись псалтырней премудростью,

ухитрялись вести сложный бухгалтерский учет предприятия. Незнание общепринятых приемов заменялось усиленной работой костяшек, но учет все-таки был правилен, хотя и велся по какой-то необыкновенной системе под руководством главного бухгалтера, который сам был из числа таких же «выучеников мастера» и до конца своей жизни не узнал тайны простых и десятичных дробей.

Старая заводская школа не давала даже этого. Там сплошь забивали учеников, если не до смерти, то во всяком случае до полного отупения. И выходцы из этой школы всегда вспоминали о ней, как о пытке длительной и беспощадной.

Школ, сколько-нибудь похожих на школы фабричного ученичества, в Сысертском округе до последнего времени не существовало.

Просто мальчуганов — в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет — принимали на подсобную работу, и если они не «изматывались», то становились рабочими, подмастерьями, мастерами.

Главным учителем, пожалуй, можно назвать тяжелое «паленьговское» полено, на котором испытывалась физическая сила и выносливость подростка. Опасность «посадить доменного козла» приучала к внимательности и выдержке, а бесконечные огненные змеи разной ширины, бежавшие по всем направлениям фабрики, приучали к рассчитанным, точным движениям, так как оплошность грозила уродством, а иногда и смертью.

Попасть в механическую или столярную было труднее, да и не всякому удавалось здесь выучиться. Стать хорошим слесарем, токарем, модельщиком можно было только при условии, если кто-нибудь из старших рабочих внимательно следит за работой начинающего и дает ему необходимые указания. Если этого не было, то выходила лишь порча материалов, за которую обыкновенно подростка «выгоняли».

Эта особенность выучки давала возможность попадать в механическую или столярную лишь тем ребятам, у которых там имелся какой-нибудь близкий человек: отец, старший брат. В силу этого профессии слесарей, токарей, зубильщиков, краснодеревцев, модельщиков считались привилегией сравнительно немногих заводских семейств.

Требования по части количества и чистоты выработки предъявлялись к ученикам механической и столярной настолько высокие, что взрослым приходилось «натаскивать» ребят дома и, кроме того, помогать, исправлять и доделывать во время работ. Так, однако, чтобы начальство не видело. Заработок же заводских учеников был самый незначительный.

«Учат их — да еще им же и плати! Мало ли портят»,— говорили представители заводоуправления. А выходило обычное жульничество: заводы брали дополнительно труд наиболее квалифицированных рабочих, а оплачивали его, как труд подростков.

ПОКОС

Покосные участки в Сысертских заводах, как уже упоминалось вначале, были чуть ли не главной основой заводской кабалы.

Рабочий, имевший клочок покосной земли, старался использовать его для ведения хозяйства, в котором большинство рабочих видело единственную возможность стать независимыми от заводского начальства.

— Сам себе хозяин. Не кланяйся.

— Хоть и прогонят, так есть за что держаться.

— Да вон Гусак росчисть себе загоил, дак ему теперь черт не брат.

— То-то и есть! Вот бы еще пахоты маленько.

— Костыльком с возу пахать будешь?

— Да уж нашли бы чем. Земли бы только дали!

Такие речи о преимуществах крестьянского хозяйства и мечты о своей пашне приходилось слышать нередко. Положение «сельских работников», которых земельная теснота загоняла в заводские рудники или заставляла всю зиму «робить на лошадях», как-то не замечалось. Видели одно — над крестьянином не могло измываться без конца разное заводское начальство,— и этому завидовали.

Такое отношение заводского населения к крестьянскому хозяйству побуждало большую часть рабочих стремиться к развитию этого хозяйства у себя. Чуть не у каждого рабочего имелась корова; многие держали лошадей, на которых кто-нибудь из семейных возил

в течение большей части года разную заводскую «кладь».

Пахоты около заводских селений не было, но покосные участки имелись везде. Размер их был неодинаковый. В Сысерти это были небольшие клочки, на которых при хорошей траве ставилось копен двадцать — тридцать (сто — сто пятьдесят пудов) сена.

В Полевском и Северском покосные угодья были много обширнее. Там каждому домовладельцу отводилось по два покоса: ближний — верст за пять — десять и дальний — верст за пятнадцать — тридцать—тридцать пять. Ближние покосы были очень невелики. На них ставилось сена лишь на «первосенок», до санного пути. Дальние были довольно значительного размера. Сено там ставилось сотнями пудов.

Кроме того, у заводского населения была почти неограниченная возможность ставить сено по «чаще» и «росчистям». По «чаще» значило — по лесным лужайкам, которых можно было много найти в лесу. «Росчистями» назывались тоже лесные поляны, но такие, где уже издавна литовка и топор не давали разрастаться лесной поросли. Иногда на этих «росчистях» «подчерчивались» (подрубались со всех сторон) отдельные деревья, и «росчисть» постепенно доводилась до размеров очень большого покоса.

Заводское начальство, видимо, прекрасно понимало кабальное значение покосов и всегда «шло навстречу» населению, освобождая его от работы, когда оно «делало свой годовой запас». Тем более что такая отзывчивость ровно ничего не стоила, а иногда даже вызывалась необходимостью частичного ремонта предприятия.

Ежегодно среди лета — на месяц, иногда на полтора — работа на фабриках прекращалась. Замолкал гудок, затихал обычный шум и лязг фабрики, и только доменные печи продолжали дышать огнем и искрами. Непривычно тихо становилось в заводе. Казалось, что завод умер. И вечерами тянуло взглянуть на дыхание доменной печи, чтобы убедиться, что жизнь в фабричном городке все-таки есть.

Отец, помню, терял от этой тишины сон и старался скорее уехать на покос.

Привычка к фабричным работам сказывалась и во время покоса. Рабочие редко вели дело в одиночку, в

большинстве объединялись в группы, чтобы легче и скорее покончить с покосом. Группы составлялись с приблизительным учетом рабочей силы семьи; иногда в целях уравновешивания вводилась оценка работы рублем. Дело шло дружно, быстро и весело.

Случалось, конечно, что траву, скошенную с одного луга, удавалось убрать «без одной дожжинки», а другая попадала «под сеногной». В таком случае артель старалась поправить дело правильной дележкой сена с того и другого участка. И я не помню, чтобы на этой почве выходили недоразумения.

Радость коллективной работы как-то особенно выпукло выступала в это время. Вечером любой покосный стан представлял собою картину дружной рабочей семьи, веселой без кабацкого зелья.

Наработавшись за день, похлебав поземины или вяленухи [1], люди подолгу не расходились от костров. Часто старики зачинали проголосную, а молодежь занималась играми, пока не свалится с ног.

Утром, чуть свет, все уже на работе, бодрые и веселые.

Эта дружная работа кончалась обыкновенно быстро. Только разойдутся, а уж покосов-то и не осталось. Начиналась страда в одиночку — по лесным полянкам. Здесь уж объединяться было нельзя, да и работу эту вели лишь те, у кого были в хозяйстве лошади. Работа, надо сказать, была неблагодарная. Приходилось переезжать с места на место в поисках подходящих полянок. Сочная, густая лесная трава долго не сохла и попадала под дождь. В результате тяжелой работы получалось плохое сено.

Попутно нужно отметить, что если в Сысерти единоличная работа на покосах была редкостью, то в Полевском и Северском, где заводское население имело большие участки, она составляла обычное явление.

Углежоги и «возчики», имевшие по десятку лошадей, забирались на свои покосы с Петрова дня и трудились там «до белых комаров», выезжая или даже только высылая кого-нибудь домой «за провьянтом».

В заводе в это время было мертво. Дома оставались лишь старухи да малыши.

[1] Позем, поземина — вяленая пластинами (без костей) рыба; вяленуха — вяленое мясо. (*Прим. автора.*)

Тех рабочих, у которых не было большого хозяйства, эта страда углежогов тоже уводила «в даль», где они действовали как наемные рабочие, частью с условием натуральной оплаты: за работу — сено.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГЛУБОЧИНСКИЙ ПРУД

Верстах в двенадцати от Полевского завода есть Глубочинский пруд. Красивый тихий уголок, в раме хвойного леса.

Рыбы здесь раньше было полным-полно и птицы тоже немало. Это было заповедное место, где рыбачили и охотились только сам владелец да высшая заводская знать.

Полевчане иной раз рыбачили контрабандой, но почти всегда без успеха. Сторожа зорко следили за каждым появившимся на берегу человеком. Охранять к тому же было очень просто, так как пруд был невелик и весь на виду, никаких заливов,— по-заводски «отног»,— не было.

Редко кому удавалось перехитрить глубочинских сторожей. Они ловко накрывали контрабандиста-рыболова и отбирали весь улов и рыболовный снаряд. Охотники платились бо́льшим — у них отбиралось ружье.

Озлобленные полевские рыбаки пытались как-то спустить рыбу, разломав решетки в плотине, но из этого тоже ничего не получилось: не рассчитали хода рыбы, да и помешало особое устройство пруда, о чем будет ниже.

У плотины, кроме сторожевского домика, был построен для гостей довольно просторный «господский дом».

Нельзя сказать, чтобы сюда наезжали часто. Для увеселительных поездок в лес это было далеко, да и дорога туда была не из важных. Пьянствовать с таким же успехом можно было гораздо ближе, а наслаждаться тихим глухим уголком из всей заводской знати мог, видимо, только владелец, который иногда жил здесь не по одной неделе.

Был потом в этом доме и постоянный жилец — брат заводовладельца, отставной гусарский ротмистр. Раньше он жил в Питере и, как слышно, «гусарствовал» вовсю, пока не «прогусарил» причитавшиеся ему части владения. Когда не стало возможности «гусарить», он явился на заводы и здесь «шалыганил» до конца жизни. «Шалыганство», впрочем, было безобидное: ходил в рубахе-косоворотке и плисовых кучерских штанах, иногда надевал лапти и бродяжил с ружьем по лесам, пока не осел крепко в домике на Глубочинском пруду. Здесь он жил несколько лет безвыездно: рыбачил, охотился и жестоко глушил сивуху.

Отношение заводской знати к этому пропившемуся гусару было презрительное, рабочие смотрели на него с насмешкой, иногда пользовались его слабостью. Объявится кто-нибудь компаньоном по пьяному делу, глядишь — везет пуда два-три рыбы.

Рыбы было так много, что никак не поймешь, почему все-таки не давали ловить ее даже удочками. Получалось забавное положение. Рыбачить на Глубочинском пруду было интересно только контрабандой. Здесь надо было осторожно пробраться мимо сторожевского домика, выбрать где-нибудь местечко в кустарнике на берегу, устроиться так, чтобы не видно было, как закидываешь удочку и вытаскиваешь рыбу. Если прибавить к этому постоянный риск попасться сторожу, то спортивный интерес рыболовства понятен. Это для любителей.

Для промышлявших рыбной ловлей интерес тоже был — наловить в час-два столько, сколько в другом месте не поймаешь сетями в течение нескольких дней.

Но вот какой интерес был владельцу или его пропойному братцу — это непонятно. Выехать на лодке, закинуть удочку и сейчас же тащить добычу, которую часто некуда деть: для еды нужно немного, заниматься рыбной торговлей не приходилось. Вот и получилось: собака на сене — ни себе, ни людям.

Рыбный садок, красивый лесной угол — это не самое интересное для Глубочинского пруда. Пруд замечателен с другой стороны. Сооружался он во всяком случае не для того, чтобы разводить там рыбу. Это уже потом прибавилось. Расчеты были другие, более серьезные.

Дело в том, что Полевской заводский пруд питается пятью или шестью маленькими речками, из которых

только Полевая и Ельнишная побольше ручьев. В засушливые годы речушки дают воды совсем мало, и дешевой водной силой Полевской завод пользоваться не мог.

Недалеко от пруда есть еще речка Глубокая, но она впадает в реку Чусовую. И заводские экономисты сообразили — запрудить Глубокую, прорыть соединительную канаву, и Полевской пруд будет обеспечен запасом воды. Стоит напустить через соединительную канаву воды, сколько надо, и работай себе на дешевке.

За этот проект ухватились как полевское заводоуправление, так и главное начальство округа. Живо отыскали «подходящего человека», который раньше околачивался по плотничным работам, и дело закипело. Кипело оно довольно долго и не без выгоды для «главного строителя». По крайней мере, когда его прогнали, так он сразу же купил несколько домов и открыл две лавки «с красным товаром» тут же, в Полевском заводе. И надо сказать, что это никого не удивило. Известно ведь: у хлеба — не без крох. А тут ни много, ни мало прошло денег, а около миллиона рублей. Было от чего остаться.

После того как выгнали «строителя», наступило разочарование, сменили даже полевское начальство, но работы решили заканчивать.

И тут только догадались как следует прониверировать местность. Нивелировка и раньше производилась, но «по-плотничному», на-глаз больше, а когда походили с инструментами, то нашли «ошибочку». Речка Глубокая оказалась на одиннадцать аршин ниже речушек, питающих Полевской пруд. Нужно было скопить, значит, свыше десятка аршин «мертвой воды», чтобы пользоваться следующими. Расширить водоем не позволял рельеф местности, да и основные работы по устройству плотины были уж сделаны, миллион ведь убухали, не переделывать же заново! И то сказать, речка Глубокая все же была только речка,— при расширении размера пруда она не могла бы дать высокого подъема воды. Пришлось выкручиваться «как-нибудь», чтобы не все пропало. И толк получился очень небольшой: в редкие годы Глубочинский пруд мог служить кой-каким подспорьем для Полевского. Плотину между тем Глубокая просасывала основательно, и чуть не каждый год приходилось ее чинить.

ИЗ РАБОЧЕГО КАРМАНА

В полевской заводской конторе, обширной комнате с низко нависшим закопченным до последней возможности потолком, много народу. За деревянной загородкой из массивных точеных балясин у столов сидят приказные и щелкают на счетах или пишут, осторожно засыпая свежеисписанный лист «аверинским песком», который потом сдувают, перелистывают лист и снова пишут.

Перед заборкой — с прихода — набилось много людей в собачьих ягах, толкутся у железной печки, сидят на скамейках вдоль стены, на полу и тихо переговариваются друг с другом. Это углежоги ждут расчета.

Расходчик, высокий худой человек без волосинки на месте усов и бороды, сидит около заборки и быстро щелкает на счетах.

Вот он кончил проверку и начинает вызывать.

— Медведев Василий! Получай!

Молодой белобородый мужик в собачьей яге подходит и берет деньги. Медленно пересчитывает.

— Не задерживай. Проходи!

— Да у меня, Емельян Трофимыч, нехватка,— говорит Медведев.

— Небось, обсчитал тебя? — язвительно спрашивает расходчик.

— Да ведь ряда-то известная.

— Ну?

— А тут семи гривен не хватает.

— Вот и дура! Церковные-то забыл?

Это упоминание о «церковных» выводит углежога из терпения, и он озлобленно говорит:

— До которой это поры будет? Отец всю жизнь платил, а все тянут. Мы вовсе приходу-то другого.

— Тянут, говоришь? Та-ак! — многозначительно подчеркивает расходчик.— А знаешь ты, дурова голова, что сама государыня нашим храмом антиресуется? — вдруг завизжал он.

— А мне хоть кто,— угрюмо бормочет углежог и отходит от загородки.

Расходчик, однако, не склонен остановиться на этом и продолжает разглагольствовать перед остальными углежогами, ждущими расчета.

— Вот они, работнички-то! Им хлеб дают, а они вон што! Государыню-то за никого считают! Да ведь наш-то храм, можно сказать, гордость... Нельзя же его без хорошего иконостасу оставить? Отцы-то строили по усердию, а деткам семи гривен жаль!

Толпа углежогов угрюмо молчит и, когда кончается разглагольствование, начинает по списку подходить за получкой. О «церковных» не говорят, хотя расходчик все еще ворчит на молодых, которых в церковь-то «силом надо водить».

При расчете с фабричными разговор о «церковных» был много острее. Но расходчик теперь больше отмалчивался или ссылался на общественный приговор, которому было уже не один десяток лет.

Все дело шло из-за постройки церкви.

Владельцы и заводское начальство решили построить в Полевском заводе «храм на удивление окрестным селениям».

Постройка была затеяна заводоуправлением еще в 1845 году. Прихожан никто не спрашивал, надо ли им новую церковь и где ее строить. Здание по заводу начали довольно внушительное — двадцать две сажени длины и восемнадцать ширины. Тратиться на такую махину заводское начальство было, однако, не склонно, и дело вышло «общее»: с владельца — копеечка, с рабочего — пятачок.

Так как на Полевском заводе, в связи с прекращением работ на Гумешевском медном руднике, «дело пошатнулось», то затянулась и постройка храма. Закончилась она лишь в 1897 году.

Свыше пятидесяти лет с полевских углежогов, немногочисленных рабочих фабрики и даже со старателей тянули проценты на постройку «величественного храма», а сами владельцы ограничились лишь предъявлением разных «художественных» требований да жертвовали вещи, которым «цены нет».

Привезли, например, из Москвы особо чтимую икону, «пожалованную великой государыней» Марьей. Для окончательной умилительности были даже посланы особые одежды, «сшитые» из покровов «в бозе почившего» царя.

Попы, конечно, старались на этом заработать, но, кажется, неудачно. Уж очень пятидесятилетнее строи-

тельство надоело рабочим и всему заводскому населению, и церковь, построенная по выбору владельцев где-то за заводом — на плотинке, посещалась мало. Не помогли ни «особо чтимая», ни «замечательные одежды» с «августейшего» покойника.

Расходы «на благочестие» были довольно распространенным явлением и по другим заводам округа, хотя нигде они не принимали характера такого длительного вытягивания, как в Полевском.

Любили владельцы «обновлять» и строить церкви и часовни, считая это чуть не основой заводского строительства. Особенно в этом отношении усердствовал Турчанинов после «пугачевского бунта». Он тогда на жестоком усмирении пугачевцев,— из числа своих крепостных рабочих,— заработал какой-то чин или дворянское звание, поэтому и понатыкал часовен «в память чудесного избавления» чуть не на всех голых пригорках вблизи заводских селений.

При всяком церковном строительстве основа была одна: владельцы затевали, а рабочий платил. Сами же владельцы ограничивались лишь «ходатайствами» о разрешении построек да составлением планов.

Если они «жертвовали», то в большинстве ненужные вещи. Пошлют, например, попу нарукавники и скажут, что они имеют особую ценность: сшиты из петровского кафтана, жалованного первому владельцу заводов.

Бывало и забавнее.

В Сысерти в одном из алтарей главной церкви была икона, тоже жалованная одним из владельцев. На серебряной пластинке можно было прочитать, что икона принесена в дар церкви в 1820 году, что писана она в Италии в 1516 году неким Бенвенуто Гарафолло, «славного живописца Рафаэля учеником».

Среди других скучных казенных образов картина казалась занимательной.

Мадонна и две каких-то «великомученицы»,— все очень телесные, в костюмах, отчетливо обрисовывающих основательную конструкцию таза и бедер, с довольно глубокими для небожительниц вырезами платья на груди,— непринужденно расположились на облаках. Кругом снуют веселые ангелы, амуры трубят и что-то нашептывают улыбающимся женщинам. От картины, несмот-

ря на потускневшие краски, так и пышет радостью бытия.

Попы не любили эту «древнюю икону», держали ее в тени, на стенке алтаря, в котором редко служили, акафистов перед ней не чинили и вообще не рекламировали. Даже больше, когда мы, школяры, заберемся, бывало, посмотреть на веселую картину, то дьячок вытаскивал нас для большей убедительности «за волосья».

Снять или замазать этот владельческий подарок, однако, не решались. Так он и висел, как свидетель благочестия бар, которым было неведомо, что в русских церквах приняты были другие образцы иконописи.

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

ЗЕЛЕНАЯ КОБЫЛКА

ЗА БОЛЬШИМИ ОКУНЯМИ

В то лето, 1889 года, мы усердно занимались рыбной ловлей. Только это уж была не забава, как раньше. Ведь мы не маленькие! Каждому шел десятый год, все трое перешли в третье, и последнее, отделение заводской школы и стали звать друг друга на «ша»: Петьша, Кольша, Егорша, как работавшие на заводе подростки. Пора было помогать чем-то семье. И вот мы сидели утрами на окуневых местах, вечерами выискивали ершей, в полдень охотились за чебаками. Наши семейные нередко хвалили за это.

— По рыбу в люди не ходим, свой рыболов вырос,— скажет при тебе мать.

Иной раз отец одобрит:

— Хоть мелконька рыбка, а все — ушка!

Понятно, что такие разговоры подбадривали нас, но все-таки тут было что-то вроде шутки: говорят, а сами посмеиваются.

Вот бы так наудить, чтобы не смеялись! С полведра бы окуней, да все крупных! Либо ершей-четвертовиков!

— Давай, ребята, сходим на Вершинки,— предложил вечером Петька.— Вот бы половили! Там, сказывают, всегда клёв. Сходим завтра?

— Не отпустят, поди, одних-то.

— Это уж так точно, не отпустят,— согласился Петька.— А мы так...

— Отлупят тогда.

— Не отлупят. Мы скажем, будто на Пески пошли, либо к Перевозной на целый день, а сами туда...

— Наскочишь на кого на перевозе-то... Мало ли наших на Вершинки бегают. Яшу-то Лесину забыл? — сказал Колюшка.

— А мы трактом.

— Далеко так-то.

— Десять-то верст далеко? Ты маленький, что ли? Не дойдешь?

— Ну-ка, ладно нето,— согласился Колюшка.— Червей надо накопать, а завтра пораньше пойдем. Не проспим?

— У нас Гриньша в утренней смене. Разбудит меня,— успокоил Петька.

Вершинки — это завод на той же речке Горянке, на которой жили и мы. Поселок при заводе был маленький, а пруд гораздо больше нашего, горянского. О рыбалке на этом пруду мы давно думали. Мешало одно — не отпускали. По зимней дороге до Вершинок считалось меньше пяти верст. Летом пешие рабочие ходили через Перевозную гору, от нее переплывали пруд на лодках или пароме и выходили на зимник. Этот путь был немногим больше пяти верст. Но ездить так было нельзя: хлопотливо с перевозом и очень крутой спуск с Перевозной горы. Ездили трактом вдоль пруда. Эта дорога была много длиннее. По ней до Вершинок считалось больше десяти верст. Выбрали мы эту длинную дорогу потому, что тут не ждали встретить никого из знакомых взрослых. К тому же на перевозе у нас был враг — угрюмый старик перевозчик Яша Лесина. Раз как-то мы угнали у него лодку, так еле улепетнули. Вдогонку еще сколько орал:

— Я вас, мошенников! Поймаю, так оборву головы-то! Тому вон чернышу большеголовому первому!

Колюшка потом, правда, говорил:

— Ну-к, этак он всем ребятам грозит. Где ему всех упомнить, кто лодку угонит.

Мы с Петькой, однако, побаивались.

— А вдруг узнает! Не зря же он про петькину голову кричал. Заметил, видно.

Уйти из дому на целый день с удочками было просто. Сказались, что пошли до вечера на Пески, а то и к Перевозной горе. В ответ каждый получил строгий наказ:

— Гляди, чтобы к потемкам домой! Слышал?

Открыто взяли по хорошему ломтю хлеба да по такому же тайком. Каждый не забыл по щепотке соли и нащипал в огороде лукового пера. Червянки были полны, и удочки приготовлены с вечера. Сначала шли хорошо. Было еще рано, хотя уже становилось жарко.

На пятой версте от Горянки есть участок Красик. Тут был когда-то железный рудник, потом около этого места мыли золото, а теперь по красноватому каменистому грунту весело журчали мелкие ручейки. Живая струя в жаркий день кого не остановит! Стали мы собирать разноцветные галечки. Потом кто-то сказал:

— Ребята, а вдруг тут самородок?

— А что ты думаешь — бывает. Поверху находят.

— Вот бы нам! А? Это бы так точно,— сказал Петька.

— Хоть бы маленький!

— Я бы первым делом жерличных шнурков купил. На шестьдесят бы копеек! Три клубка.

— Найди сперва!

Самородка, конечно, не нашли, но по ручьям спустились к пруду, который в этом месте близко подходит к дороге. Как тут не выкупаться! И место как нельзя лучше.

После купанья стали осматривать свои запасы. У каждого было по два ломтя хлеба, по щепотке соли и по пучку лукового пера. До спасова дня нам запрещалось рвать лук с головками, но у Петьки все-таки оказалось три луковицы, у меня — две. По поводу моих ломтей Петька заметил:

— Тебе, Егорша, видно, баушка резала? Ишь, какие толстенные.

У Колюшки не было луковиц, да и ломти оказались тоненькими. Петька выбрал самую большую луковицу и протянул ему:

— Бери, Медведко, да вперед учись у больших!

— Ну-к, я, поди-ка, старше тебя.

— На месяц! О чем говорить! Ты вот лучше померяйся со мной! Увидишь, кто больше.

Я отделил Колюшке половину своего ломтя, но уж ничего не сказал. Наши отцы все жили не звонко, но Колюшке все-таки приходилось хуже всех.

Когда так подровняли запасы, все отломили по кусочку.

— Эк, с лучком-то! Это так точно! — воскликнул Петька.

— Здо́рово хорошо.

— Промялись. Пять верст прошли.

— Ребята, дорога-то как кружит! Сколько идем, а Перевозная гора — тут она. Совсем близко.

— Сперва ведь Мохнатенькую обходили. Она вон какая широкая!

— Про что я и говорю. От Перевозной к этому бы месту.

Под разговоры о прямой дороге мы незаметно и съели весь хлеб до крошки. У каждого осталась лишь соль — было с чем уху сварить. И посуда была: все трое вместо корзинок тащили на этот раз по ведерку.

Выкупались еще раз, «на дорожку», и пошли. После еды и купанья идти стало легче, приятнее. Стали заглядывать в лес, не попадутся ли ягоды.

Вдруг Петька закричал:

— Ребята, зеленая! У куста села!

И он бросился к кусту, из которого сейчас же выпрыгнула большая ярко-зеленая кобылка. Мы не хуже Петьки знали, что на такую кобылку хорошо берет крупный елец и чебак, и тоже стали ловить ее. Такая кобылка встречается не часто и очень далеко прыгает. Втроем все-таки одолели, и Петька понес полузадавленную добычу. Мы ему наказывали:

— Гляди, Петьша, не выпусти! Они страсть живучие!

Петька хвастливо уверял:

— У нас не вырвется! Не такому попала!

Петькино хвастовство показалось обидным.

— Подумаешь! Ловко не выпустить-то, коли я ее раз прихлопнул да другой раз ножку обломил. Куда поскачет хромая-то?

Мы предлагали Петьке: «Давай я понесу», но он важничал, напоминал, что это он увидел и поймал кобылку.

— Вот хвастун! Еще бы не поймать, коли мы ее оглушили! Задается теперь. Да мы такого бараxла сколь хочешь наловим.

Не сговариваясь, мы с Колюшкой бросились ловить кобылок. Их было много. Чаще всего попадались жирные желтяки, которые смолку дают. Зажмешь такую в

кулак, поскачешь кругом на одной ножке да попросишь: «Кобылка, кобылка, дай мне смолки!» — она и выпустит каплю. Черная, густая, как есть смола! Много было серовиков, каменушек, остроголовиков. Реже попадались черные летунцы, но зеленой не было. Петька посмеивался:

— То, да не то. Не то-о!

Зато наша добыча не требовала такой охраны, как петькина. Сдавишь пойманным головки и бросаешь в ведерко. Там они и ползают вокруг тряпочки с солью и смолку оставляют, хоть их никто не просит.

Мы так занялись ловлей кобылок, что Петька взвыл:

— Ребята, что всамделе! Кобылок мы пошли ловить али на Вершинки за рыбой? Пойдемте скорее! Мало ли таких кобылок! Неси мою, кому охота.

— Ага, покорился!

Я осторожно перехватил зеленую кобылку, и мы зашагали по дороге. Вскоре вышли на урочище речки. По-настоящему, это два рукава нашего горянского пруда, через которые переброшены мосты. Один побольше, другой вовсе маленький. Первый прошли спокойно, но на втором остановились. Соблазнило место. В тихой воде были видны заросли щучьей травы, расположенной грядами. По воде плавали на гибких стеблях круглые листья купавок, и везде расходились большие и маленькие круги от плавившейся рыбы.

Как пройти мимо такого места с зеленой кобылкой? Только Колюшка настойчиво твердил:

— Пошли, ребята, до места! Тут вовсе близко, версты, поди, не будет.

Уговорить нас все-таки ему не удалось.

— Мы только попробуем. Скорехонько. Ты иди потихоньку один.

Когда Петька разматывал удочку, Колюшка еще пригрозил:

— Глядите, ребята, заведет вас эта зеленая!

— Куда заведет?

— А вот увидишь. Как вечером драть станут, так поминай меня.

— Тебе какая печаль?

— Ну-к, мне столько же попадет. Знаешь, ведь у нас матери? «Заединщина — заодно и получай!» Только и

слов у них, а отцы похваливают: «Пущай без обиды растут!» Говори вот вам!

— Не бойся, Кольша! Мы только два разичка. Это уж так точно. Без этого не пойдем.

Петька насадил кобылку, поплевал ей на головку и забросил в середину самого дальнего прогала, какой можно было достать удочкой. Не прошло и полминуты, как поплавок глубоко нырнул, удилище дрогнуло, и Петька, закусив губу, как в драке, выметнул на мост большую рыбину. Это был елец, но Петька для важности назвал его подъязком. Мы не спорили — уж очень крупный елец. Такого можно и подъязком звать. Петьке повезло: зеленая кобылка оказалась нетронутой, и он снова забросил соблазнительную приманку. Но на этот раз с поплавком было спокойно. Петька терпеливо ждал и в утешенье себе говорил:

— Подъязков-то в нашем пруду так точно, а мелочь и подойти боится.

Чтобы не стоять зря, мы с Колюшкой тоже размотали удочки. Колюшка попробовал на червя, и вышло неплохо. Мелкие окунишки брали «по-собачьи», с трудом крючок достанешь. О насадке беспокоиться не приходилось — лишь бы прикрывала жальце крючка.

У меня тоже стали клевать мелкие ельцы и чебачишки. Петька все чаще начал коситься в нашу сторону, но все еще надеялся на свою зеленую кобылку.

— Пф! Мелочь у вас! Такая к моей кобылке, небось, не подойдет.

Но вот у него потянуло поплавок. Петька насторожился, опять закусил губу, ловко подсек и вымахнул малюсенького чебачишку. Мы с Колюшкой захохотали.

— О-о! Замах большой — добыча малая.

— Вот тебе и боятся!

Петька сорвал с крючка чебачишку, швырнул его в воду, раскрошил и разбросал по мосту свою зеленую кобылку.

— Пошли нето, ребята! Пошевеливайся!

Но у Кольки брали окунишки, и он непрочь был тут остаться до вечера.

— Клюет ведь. Чего еще? Тут бы поудили — да домой.

— Эх ты, маленький! Шли-шли, до порога не до-

шли, постояли да назад пошли. Разве это рыба? А там, может, таких надергаем, что ну!..

— Ну-к, опоздаем, а мне уж поесть охота.

Упоминание об еде было вовсе ни к чему — есть всем хотелось. В знакомых местах мы хорошо умели узнавать время по солнцу, а здесь как? С моста нам виден был рукав пруда. Извилистые берега так густо заросли ивняком и ольховником, что выхода ни в ту, ни в другую сторону не было видно. Рукав походил на озерко или на зарастающую старицу. С которой стороны тут восход, где полдень? Спросить бы у кого, сколько времени. На наше счастье, по длинному мосту загремела телега. Ехала какая-то женщина.

— Тетушка, который час?

— Не знаю, ребятушки. Из больницы я. Долго там просидела. Час, поди, пятый, а то и больше.

Ясно, она не знала. Откуда пятый, коли вовсе недавно утро было! Не может быть.

— Опоздаем, ребята! Слышали — пятый час! — попытался отговорить Колюшка.

— Не знает она. Насиделась в больнице — вот ей и показалось. Пошли!

В ЛЕСУ ПОД ВЫСТРЕЛАМИ

В маленьком Вершинском поселке все дома вытянулись одинаркой вдоль тракта. Ближе и удобнее было идти трактом, но мы побоялись вершинских ребятишек: поколотят, да еще удочки поломают. Не любят наших — горянских.

Решили обойти поселок по заогородам, но это оказалось не очень удобно. Одни огороды были покороче, а другие глубоко уходили в лес. Петька шутил:

— Самые окуневые места! Закидывай, ребята! Вон под сосной щука метнулась. Жерлицу бы тут, а? В самый раз!

Наконец попался какой-то особо длинный участок. Обходили-обходили его и вышли на зимник, по которому летом ходили на перевоз, а зимой ездили.

Широкая полоса зимней дороги между ровными стенами соснового бора оказалась чудесной. Вся она заросла белой ромашкой, сиреневой блошникой, желтой мыль-

нянкой, голубыми колокольчиками, малиновым иван-чаем. Над хрупкими осыпающимися цветами мыльнянки бились какие-то редкие пестро-синие бабочки. Около длинных цветов иван-чая жужжали медуницы, гудел шмель, летали мелкие пичужки. По пестрой полянке чернели плотно утоптанные тропинки — «рабочий ход».

— Ребята, обратно этой дорогой пойдем, по рабочему ходу, а?.. Я тут цветков нарву нашей Таютке,— сказал Петька.

— А Лесины не боишься? — спросил Колька.

— Не узнает в потемках-то. Вершинскими скажемся. Перевезет!

Решив так, мы вперегонку побежали по тропинкам. Уж очень они хорошо утоптаны, и так их много. Долгоногий Петька, как всегда, опередил всех нас. Колюшка отстал. Там, где красивая полянка зимника перешла в каменистый пустырь, Петька остановился и закричал:

— Гляди-ка, Егорша, ровно масляк бежит.

Низенький Колюшка и верно походил на молодой крепкий масляк. Бежал он ровно, подавшись всем телом вперед. Круглая голова и густые, плотно лежащие волосы медного цвета еще больше делали его похожим на грибок, когда он только что вылезает из земли.

— Отстал, маленький?

— Ну-к что! Зато я этак-то хоть версту пробегу, а ты язык высунешь.

— Ну...

— Вот те и «ну»... А ты задерешь башку, руками замашешь... Кто так бегает?

— У тебя поучиться?

— Хоть бы и у меня. Не думай, что ноги долгие, так в этом сила. Дых-от у меня лучше. Вишь, ровно и не бежал, а ты все еще продыхаться не можешь.

Это был старый спор. Петька в нашей тройке был выше всех. Худощавый, длиннорукий, с угловатой головой на длинной шее, он легко обгонял нас. Но бегал он неправильно — закидывал голову и сильно размахивал руками. Оба мы старались уговорить Петьку, чтобы он «бегал по правилу», а Петька щурил свои черные косые глаза, взмахивал головой и говорил:

— Эх вы, учители! А ну, побежим еще.

Под этот спор мы прошли половину пустыря. Тут справа от него выходила торная дорожка с прииска

«Скварец». Прииск совсем близко. Не только гудки слышно, но шум машины и поскрипывание камня под дробильными бегунами.

По этой дороге со Скварца «гнал на мах» какой-то крутолобый старичина в синей полинялой рубахе, в длинном холщовом фартуке, в подшитых валенках, но без шапки. Фартук сбился на сторону и трепыхался, как флаг. Старик был в таком возрасте, в каком обычно уже не гоняют верхом.

Глядя, как он, сгорбившись, высоко подкидывал локти, мы расхохотались, а Петька крикнул:

— Ездок — зелена муха! Пимы спадут!

Старику, видно, было не до нас. Он даже не посмотрел в нашу сторону, направляя лошаденку к заводской конторе.

— На телефон пригнал. Случилось, видно, что-нибудь на Скварце,— сделал я предположение.

— Случилось и есть! — подтвердил Петька.— Не без причины караульный пригнал. Это уж так точно.

— Почему думаешь, караульный?

— Нá вот! Не видишь — старик, в пимáх, в запоне... Кому быть?

— Пожар, поди...

— А гудок где? Завывало бы, а видишь — молчит. Нет, тут другое.

— Золото украли?

— Украдешь, как же! Тятя сказывал — большая строгость у них. Стража там, начальство... Подступу нету. Всякого обыскивают. Догола раздевают. Украдешь! Так точно.

— А много на Скварце рабочих?

— С тысячу, а то и больше.

— И все в земле? — спросил Колюшка.

— Ты думал — на облаке? — захохотал Петька.

— Ну-к, мало ли. У машин там, либо еще где. А где они живут?

— Казармы там. Помногу в одном доме живут. Больше пришлый народ. Отовсюду. И наши, заводские, есть. Только они домой бегают через перевоз.

По приисковой дороге опять показались две лошаденки, запряженные в песковозки. На той и другой таратайке стояли женщины, размахивавшие концами вожжей. Из лесу наперерез им вылетел на высокой гнедой

лошади стражник с зелеными витыми жгутами на плечах и заорал:

— Куда вы? Поворачивай сейчас же!

Женщины что-то кричали в ответ, но нам было не слышно. Потом они поворотили лошадей и трусцой поехали обратно, а стражник направился к конторе. Старик уже вышел из конторы, и около него толпилось человек десять — пятнадцать. Стражник что-то сказал старику. Тот закивал плешивой головой, взобрался с чурбана на лошадь и поехал обратно. На этот раз шагом. Стражник еще что-то говорил около конторы. Часть людей торопливо побежала к поселку, а часть пошла к зимнику. За ними поехал и стражник.

Старик остановился у леса, привязал лошадь к сосне, сел на пенек, достал кисет и стал крутить цигарку.

— Это так точно...— проговорил Петька.

— Что так точно?

— Видел — горная стража выскочила?

— Ну?

— Ну и ну... Только и всего.

На плотине с дребезжаньем прозвучало пять ударов колокола.

— Пошли, ребята! Вон уж сколько часов!

— Верно тетка-то говорила. Опоздаем мы.

— Часика два порыбачим — и домой.

Пруд был тих и пустынен. Только на мостике между ледорезами стоял человек с удочкой, да в дальнем заливе виднелся одинокий рыбак на лодке.

Место для рыбалки мы выбрали удачно. Колюшка первый вытащил довольно порядочного окуня. Потом пошло и у нас. Петька уже хвастался:

— Полторы четверти от хвоста до головы! Винтом шел. Еле выволок его!

Два часа промелькнули, как миг. Когда плотинный караульный отдал семь ударов, Колюшка стал сматывать удочку.

— Ну-к, ребята, хватит! Тоже не близко, хоть и по перевозу. То да се — дождемся потемок.

— Испугался?

— Испугался — не испугался, а пора. Есть мне охота.

— У тебя только и разговору, что об еде.

— Ну-к, к слову я...

— Опять закословил!

Спускаясь с плотины, мы увидели, что старик сидит на том же пне, а около сосны стоит привязанная лошадь.

— Видно, стражник ему велел дорогу караулить. Оттуда не выпускают, а туда? Пустят, нет?

— Дедко, что там случилось? — крикнул Петька.

— Свинушка отелилась,— откликнулся старик.

— Нет, ты скажи толком.

— Толком — с волком, со мной — шутком.

— Свадебщик, видно,— догадался Петька и звонко закричал: — Ездок — зелена муха! Пимы потерял!

— Я потерял, ты подобрал — кто вором стал? — откликнулся старик.

— Тьфу ты, стара шишига, не переговоришь такого! — плюнул Петька.

Немного успели пройти по пестрой полянке зимника, как где-то близко — нам показалось, в лесу, слева — раздался выстрел. Было время охоты на боровую птицу, и выстрелы в лесу были не редкостью. Только тут происходило что-то непонятное. Не прошли и десятка шагов — опять выстрелы. На этот раз часто, один за другим. Снова одинокий выстрел, и опять — раз, два, три...

— Ходу, ребята! — крикнул Петька и бросился с полянки в лес направо, туда, где мы пробирались, когда шли вперед. На полянке зимника было еще совсем светло, а в лесу уже стало по-вечернему неприветно, глухо, угрюмо.

Бежать лесом с удочками и ведерками не так удобно, и наш Кольша растянулся. Он сломал удилище, поцарапал себе руку и рассыпал своих окуней. Невольная остановка, пока собирали рыбу, нас немного образумила.

Куда бежим? Зачем?

Выстрелов больше не было, и мы отправились обратно к зимнику. На опушке оказался какой-то молодой мужик в розовой, измазанной глиной рубахе. Заметив нас, он негромко спросил:

— Вы куда?

— На перевоз. В Горянку нам.

— Не велено тут! Вон, гляди, стражники...

Вдали мы увидели человек пять стражников. Разъезжал и тот, который заворотил женщин на прииск. Притаившись за деревьями, мы стали спрашивать мужика:

— Дяденька, а как нам в Горянку-то?

— Трактом попытайте.

— Тут-то хоть что?

— Ловят одного...

— Кого?

— Ну, начальство знает. Отойдите-ко, а то еще налетит. Вишь, сюда глядит...

— Кто стрелял-то?

— А мне видно? Стражники, поди... Может, и тот стрелял.

— Кто?

— Да которого ловят... Уходите, ребята. Не велено сказывать. Политика он... Поняли? Уходите сейчас же.

Слово «политика» мы слыхали. Взрослые в наших семьях говорили это слово с опаской, потихоньку, но с уважением. Зато наш уличанский подрядчик Жиган орал на всю улицу, когда рассчитывался со своими рабочими:

— Вы что? Политика али что? Научились, главное дело, в чужом кармане считать! Покажу вот дорожку! Покажу! Становому сказать — живо отправит. Сибирь-то, она, брат... На всех, главное дело, хватит!

Опять послышались выстрелы. Редкие, гулкие, но тех, коротких и быстрых, на этот раз не было. Стражник на гнедом коне поскакал во весь опор к перевозу.

— Углядел что-то коршун! — промолвил мужик в розовой рубахе.

Выстрелы стали чаще, но все такие же гулкие.

— Нашли дурака! Так он вам и покажет, где сидит!

— Он где?

— Кто знает, может — в этом лесу, может — давно через тракт перебежал. Ищи тогда! Простоим ночь у пустого места.

— Ты караулишь?

— Поставили, вот и стою. Что станешь делать! А вы лесом-то не ходите, прямо на огороды правьтесь. Перелезете где-нибудь, да по тракту и ступайте, а то еще под нечаянную пулю попадете.

Мы послушались совета. Пошли прямо на огороды, перелезли через прясло, прошли лесной участок и вышли

на разделанное под огород место. Огород упирался в глухую стену надворных построек, проездные ворота были заперты. Постройки были хорошие, под железными крышами. Видно, что это был дом какого-нибудь заводского начальства.

Перешли еще два-три огорода, а все то же: глухая стена построек и запертые ворота. Наконец попался нам «голый дом», у которого стояла одна покосившаяся конюшенка без крыши. Через наружное прясло виден был тракт. Это как раз нам и надо было. И гряды здесь шли вдоль — удобно для выхода.

— Ну-к что, пошли, ребята! — И Кольша, помахивая ведерком и обломком удилища, пошел по борозде между картофельными грядами, мы — за ним.

В это время яростно залаяла собачонка, выбежавшая из-за конюшенки. За собачонкой вылетела женщина в синем платке, с какой-то узенькой крашеной дощечкой, должно быть от кросен.

Женщина угрожающе взмахивала дощечкой и кричала:

— Я вас, негодников! Нарву вот крапивы...

Кольша, однако, спокойно шел прямо на женщину. Он у нас всегда такой! Без сноровки и в драку ходил. Мы, конечно, поторопились поддержать товарища:

— Мы, тетенька, не воровать...

— Нам только на улицу перелезть.

— Что вам тут за дорога? — спросила женщина помягче.

— Не пускают зимником-то, велят по тракту. Мы и пошли огородом. Ничего не рвали, хоть обыщи!

Женщина цыкнула на собачонку и совсем спокойно стала спрашивать, чьи мы, как сюда попали и что видели на зимнике.

Когда мы рассказали, женщина раздумчиво проговорила:

— И здесь, поди, вас не пропустят. Возчиков вон всех заворотили. До Речек, слышно, облаву протянули. Недавно наш горянский на паре лошадей шестерых стражников привез. Как быть-то? Ночевать, видно, вам у меня. А дома-то, поди, ждать будут. Спрашивались хоть у матерей-то?

— Нет, тетенька. Не спрашивались.

— Ох, ребята, горе с вами! На-ко, куда не спросясь убежали! Как теперь, а?.. Темно ведь скоро будет, а то бы по Коровьему прошли, а там берегом. Забоитесь по потемкам-то?

— Не забоимся, тетенька! Не маленькие, поди.

— Видать! Так вы, нето, по заогородам ступайте. Тут их всего восемь осталось. У последнего-то огорода, от крайнего столба, прямехонько идти. Тропки там пойдут к болоту — оно ныне сухое. Ишь, в огороде-то все сгорело. Вдоль того болотца и ступайте. Оно вас к пруду выведет. Там мысок есть. На этой стороне мысок и на той мысок. Это и будет Коровье. Тут хоть широконько, а мелко: коровам по брюхо. Мы тут когда бегаем... в обход мостиков. Много короче выходит. А дальше — тропка, прямехонько к Перевозной горе. Знаете, поди, те места?

На плотине пробило девять. Колюшка не поверил:

— Просчитался дедко. Девять отбил!

— Девять и есть,— подтвердила женщина.

Когда мы пошли обратно к пряслу, она остановила нас:

— Постойте-ко, ребята, я вам хоть по кусочку дам. Есть захотели, поди, рыболовы?

Отказываться мы, конечно, не стали, и женщина вынесла нам три ломтика круто посоленного ржаного хлеба.

— Передайте матерям-то поклончик от Настасьи Огибениной. Пущай хорошенько вас надерут! — И сейчас же предупредила: — Вы, ребята, через прясла-то не ползайте. Тут через два огорода такие кикиморы живут. Придумали цепную собаку в огород спускать. Оборвет пятки-то. По заогородам идите! Да не забывайте — от последнего столба прямо. А как переходить станете, на мысок правьтесь. Направо-то глубоко. Не утоните хоть!

— Мы, тетенька, плавать умеем.

— Сажонками, по-собачьему, по-лягушачьи. Это уж так точно.

— Вижу, что мастера. По три раза на день таких драть, и то, поди, мало. Ох, ребята, ребята!..

И вот мы опять в лесу, за огородами. Хлеб тетушки Настасьи оказался летучим — в минуту ни у кого не оказалось.

— Лучше бы она и не давала! — печально вздохнул Колюшка, а Петька набросился:

— Ты опять о хлебе! Под ноги гляди. Рыбу не рассыпь. Смотри, тихо, ребята! В оба гляди!

В лесу становилось темно. Трава под ногами потемнела и казалась мертвой. Откуда-то появилось много мелких черных сучьев. Куда ни ступишь — хрустят. Пока пробирались по заогородам, лес был «свечкой», а от крайнего столба пошел «мохнач», какой растет около болот. В таком лесу, да еще с большой примесью мелкого, и днем на пяти шагах человека не найдешь, а вечером и подавно.

Тропку все-таки нашли без труда, и она вывела нас к болоту. Идти стало хуже. То и дело под ноги подвертывались узкие сухие кочки с глубокими провалами между ними. Провалишься — и под ногой обязательно хрустнет. Откуда только насыпалось столько всякой дряни! А Петька шипит:

— Ш-ш... ты! Тихо! Слышишь — говорят.

Болото подходило местами близко к тракту. Оттуда вдруг послышались голоса:

— Не иголка, главное дело... Кругом обложено... Укажут ему дорожку, укажут! Сибирь-то... она на всех, главное дело, хватит.

— Не горячись ты, сват! Может, он близко где... слышит тебя.

— А я боюсь? Да мне, главное дело, попадись только: сразу— прощай, белый свет...

Дальше не стало слышно, но все мы узнали, что это говорил наш уличанский подрядчик Жиган.

— Откуда тут Жиган? — прошептал Петька.

— Он, может, стражников-то и привез из Горянки. Тетенька про которых сказывала.

— И то... Тихо, ребята!

Болотце пошло влево, и голосов вовсе не стало слышно. Но от этого было еще страшнее. А вдруг заблудились! Уклон стал заметнее. Под ногами захлюпала вода.

— Она говорила, пересохло болото, а тут вода. Неладно, видно, идем,— сказал Кольша.

— К пруду пошло, то и вода. Не видишь — кусты там? Берег, значит... Тихо, ре...

Петька замер, не договорив слова. Остолбенели и мы.

Вправо от нас, прислонившись к сосне, сидел человек. В потемках нельзя было разобрать, молодой или старый, но без бороды и усов. Было видно, что одна нога у него разута, другая в сапоге. Правая рука была под широковерхой фуражкой, которая лежала на земле.

Человек сидел и молчал. Мы тоже молчали. Потом он попросил:

— Хлебца у вас, ребятки, нет? Кусочка...

Эти простые слова сразу успокоили. Даже веселее стало. Все-таки с большим, а то вовсе страшно в лесу.

Узнав, что у нас нет ни крошки, незнакомец стал нас расспрашивать, зачем мы сюда попали, кто наши отцы, где живут, куда мы идем.

Мы наперебой принялись рассказывать, а он то и дело напоминал:

— Потише, ребятки, потише. Не кричите!

Когда мы рассказали, что хотим перейти пруд бродом, незнакомец заговорил быстрее, короче:

— Брод? Где? За этими кустами? Мне бы с вами.

Помолчав немного, незнакомец сказал:

— Ну-ка, ребятки, кто из вас покрепче?

Этот вопрос в нашей тройке давным-давно был решен и сотни раз проверен. Мы с Петькой враз указали на Колюшку:

— Вот, дяденька, он.

— Этот? Всех меньше, а всех сильнее?

— Это уж так точно. Обоих оборает и на палке перетягивает. Медведком его зовем.

— Медведком? — усмехнулся незнакомец.— Ну-ка, подойди поближе. Встань вот сюда. Попытаем твою силу.— И он положил обе руки на плечи Колюшки, но сейчас же снял.

— Нет, ничего не выйдет. Идите вперед, ребятки, а я волоком за вами.

— Ты идти-то не можешь? — спросил Колюшка.

— То-то, Медведушко, не могу...

— Подстрелили тебя?

— Много узнаешь — дедком станешь. Иди.

— Ну-к, я сапог нето твой понесу.

— Это дело.

Незнакомец надел свою фуражку. Под ней оказался большой револьвер. Сунув револьвер в левый карман

куртки, раненый лег на правый бок, подогнул, насколько можно, здоровую ногу вместе с прижатой к ней раненой, оперся руками о землю и подтянулся вперед.

В густой заросли кустарника мы нашли извилистую, переплетенную корневищами, но широкую тропу. По ней, видно, спускались коровы, когда стадо пасли на этом лесном участке. Тропа выходила на песчаный мысок, о котором говорила тетушка Настасья. Брод и выход к дому были перед нами.

МИМО ДВОЙНОГО КАРАУЛА

Петька первым выбежал на мысок и сейчас же зашипел на нас:

— Тш... тш... Тише вы! Разговор где-то...

Мы прислушались. Справа как будто доносились голоса, но так смутно, что Колюшка заспорил:

— В ушах у тебя, Петьша, звенит.

— Как не так! Слушай хорошенько. Вот...

На этот раз довольно ясно донесся смех.

Петька побежал к раненому, который с трудом, тихо постанывая, пробирался по коровьей тропе.

— Там, дяденька, разговаривают. Много...

— На том берегу?

— Нет, на этом же, только подальше.

— Ну погоди — сам послушаю, а вы потише.

Раненый подполз к самому берегу и стал прислушиваться.

— Говорят где-то. Не близко только. Это по воде наносит. Потише все-таки нам надо. Как бы не услышали. Ну, кто первый брод пытать будет?

Мы не заставили себя ждать, но Петька все же опередил. Он уже был в воде и хвалился:

— Как щелок, вода-то! Теплехонька.

— Тише, ребятки! Не булькайтесь! Если глубоко, лучше вернитесь,— посоветовал раненый.

Брод оказался удобным, но в одном месте, ближе к тому берегу, было все-таки глубоко. Переползти тут и высокому человеку было невозможно.

Выбравшись на другой берег, все мы, стуча зубами от холода, первым делом решили:

Нет, не переползти ему.

— Глубоко. Где переползти!

— Кольше до самого горла доходит. Куда!

Подскакивая на песке, я уколол себе ногу. Ухватившись рукой за больное место, нащупал что-то легонькое. Оказалась сломанная сережка.

— Гляди-ка, ребята!

— Может, золотая?

— Золотая! Кому тут золото терять. Медяшка — это так точно. Пятак пара... Постой-ка, ребята... может, тут перевоз вовсе близко. Сбегать бы поглядеть. Вон она, тропка-то!

— Без рубах?

— Ночь ведь.

— Холодно...

— А мы бегом.

— Ну-к, а тот?

— Что тот?

— Подумает — убежали...

— Это так точно. Тогда, нето, вот как... Ты ступай к нему, а мы с Егоршей сбегаем. Нельзя ли там лодку подцепить. Так ему и скажи: лодку, мол, искать пошли, а без этого ему не переползти.

— А если вас поймают?

— Без рубах-то?

— Ну...

— Егорша тогда свистнет. Услышишь, небось.

— Тогда погодите. Сперва я перебреду. Боюсь я один по воде-то.

Мы подождали, пока Колюшка переходил пруд, потом побежали по плотно утоптанной тропинке. Взошла луна, и по лесу легли белые полосы. Страху все-таки не стало. Мы знали, что позади нас люди и впереди, где-то близко, тоже. Дорожка была удобная. Она вывела нас к тем ручьям, где мы утром искали золото.

— Гляди-ка, Егорша, сколь мы давеча зря колесили. Тут вовсе прямо. А это уж к Перевозной горе пошло. Верно? Узнал место-то? Дураки были — кругом-то шли.

Под ногами пошел плитняк. Надо было выбирать, как лучше ступить, чтобы он не расползался и не гремел под ногами. На этом ползучем плитняке потеряли

было тропинку, но вскоре нашли. Дальше опять она пошла хорошо убитая, удобная.

Место здесь было знакомое, и мы почувствовали себя еще лучше.

На перевозе было тихо. Недалеко от перевозной избушки горел костер. У костра спиной к нам сидели двое. В одном мы сразу узнали Яшу Лесину. Другой был незнакомый. Паром и все четыре перевозные лодки стояли у этого берега. Паром приходился как раз перед избушкой, а лодки были зачалены вдоль берега, ближе к нам. С краю стояла тяжелая лодка, человек на двадцать. Выбирать, однако, не приходилось: только ее и можно было увести незаметно.

Петька указал пальцем на лодку, и оба мы, прячась за деревьями, стали спускаться к берегу. Осторожно сняли чалку с пенька, еще осторожнее вошли в воду и, пригнувшись за правым бортом, легко сдвинули и повели лодку. Делалось это молчком. Тишину нарушали только всплески крупной рыбы в пруду да глухой гул голосов около костра.

Под ногами опять пошел плитняк. В воде по нему идти было еще хуже. Влезли в лодку, сели за весла и поплыли, стараясь не шуметь. Лодка была тяжела для нас, но все же подвигалась, только виляла: то пойдет вглубь, то лезет прямо на берег. Каждому из нас казалось, что виноват другой, и мы до того забылись, что стали громко перекоряться.

— Потише, ребятки! — образумил нас голос с берега. Это было так неожиданно, что мы оба чуть из лодки не выпрыгнули. Оказалось, что незнакомец с Колышей давно услышали нас и сами позаботились найти удобное для причала место. Они выбрались повыше мыска. Незнакомец сидел на береговом камне, а рядом стоял Колюшка со всеми удочками, ведерками и нашей одеждой.

— Кормой подводи, ребятки! — распорядился раненый и, когда лодка зашуршала бортом о камень, похвалил.— В самый раз. Молодцы, ребятки. Замерзли, поди, без одежонки-то?

— Нет, дяденька. Вспотели даже.

— Скажите, как вам лодку пособило увести? Видели кого на перевозе?

Мы рассказали. Раненый еще спросил:

— Все, говорите, лодки у парома?

— Ну, а как же! Четыре их. Все они тут.

— На том берегу нет?

— Откуда!

— А вы глядели?

— Да не видно там. К кустам-то тамошним вовсе черно.

— Так,— промолвил раненый и еще раз спросил: — Не видно от парома тот берег?

— Нисколечко. Это уже так точно.

— У тебя отец из солдат, что ли?

— Нет, моего не брали. Вон у Егорши с Кольшей отцы в солдатах были.

— У них и научился?

— Такточнать-то?

— Ну...

— Да у меня тятенька этак не говорит,— заступился я за своего отца.

— А у меня? Кто слыхал? — отозвался Колюшка.

— Привычка такая... Это уж так точно,— потупился Петюнька.

— Эх ты, голован! Привычка старая, а годы малые! — рассмеялся раненый.— Ну, вот что, ребятки!.. Оделись? Ставь свои ведерки да удочки в лодку. К перевозу мне незачем. В той стороне, видно, ждут меня. Попытаем по этому берегу. Только вы, чур, молчок. Поняли? Кто бы ни спрашивал — ни одного слова! Ладно?

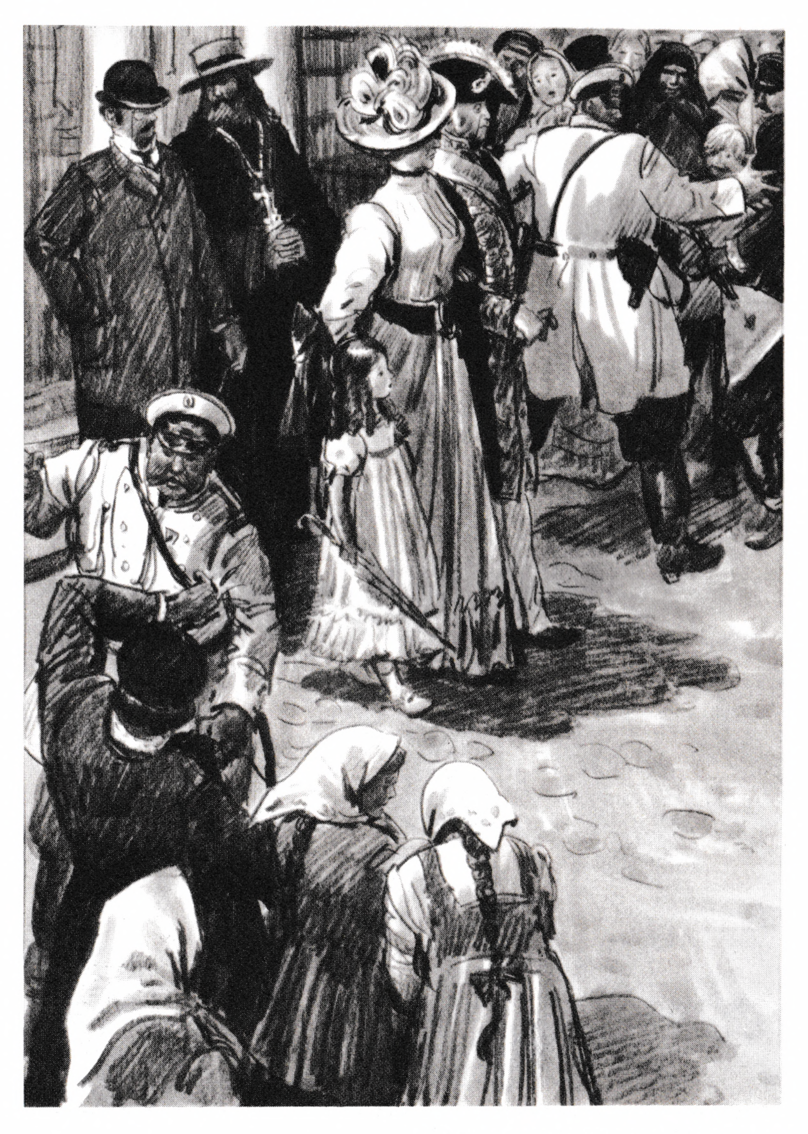
Нам стало не по себе.

— Теперь садитесь, ребятки, а я потом возмощусь.

Мы забрались в лодку. Раненый ловко перекинулся с камня на кормовую скамейку и стал готовиться к поездке. Он первым делом вытащил из кармана револьвер и положил его на скамейку, под правую руку. Снял куртку и надел откуда-то взявшийся широкий рабочий фартук, повязал лицо платком, будто у него болят зубы. Только узел сделал не сверху, а на самом подбородке. Вместо фуражки надел вытащенную из кармана шляпу-катанку, в каких ходят на огневую работу.

У нас начался было спор, кому сидеть на веслах, но раненый строго приказал:

— Без спору! Сам рассажу, как надо.— И велел Петьке сесть к правому веслу, мне — к левому, а Ко-



«УРАЛЬСКИЕ БЫЛИ» («Бары»)



«УРАЛЬСКИЕ БЫЛИ» («Рабочие и служащие»)

люшке сказал: — Ты, Медведушко, в самый нос ступай да повыше как-нибудь взмостись. Не упади только.

Когда все приготовления кончились, раненый сильно оттолкнулся веслом от камня. Лодка теперь пошла без виляний и гораздо быстрее, чем у нас с Петькой. Держались не близко к берегу. Там, где берег делает крутой поворот направо, нас окликнули:

— Эй! Кто плывет! Отзовись!

Нас удивило, что незнакомец направил лодку на голос.

Не подплывая, однако, к берегу, он спокойно отозвался:

— Тихонько говори! Вроде объезда мы. Стражники велели объехать.

— Так ведь мы караулим...

— Не верят, видно.

— Сами бы тогда и караулили! Гоняют народ. Мне утром-то, поди, на работу,— сердито сказал голос с берега.

— Нам, думаешь, на полати?

— То и говорю — мытарят народ.

— Кто у тебя с правой-то руки стоит? — спросил незнакомец.

— Поторочин Андрюха, из Доменной улицы... Слыхал?

— Как не слыхал — в родне приходится. А с левой руки кто?

— К перевозу-то? Никого нету. На краю стою.

— Как нету? Стражники говорили — везде поставлены.

— Слушай ты их больше! Говорю, нету. Кого там караулить? Между зимником и трактом тот сидит. Коли он брод знает, и то не уйти. По всему тракту до самой плотины люди нагнаны и стражники ездят. Не уйти мужику. Вы не слыхали чего?

— Нет, не слыхали. Ты потише говори — не велено нам.

— А ты испугался?

— Что поделаешь! У них палка, у нас затылок.

— То-то у тебя все как онемели. Ты сам-то хоть чей будешь?

— Не признал, видно?

— Не признал и есть.

— Подумай-ко... Делать-то все едино нечего.

— Скажись, кроме шуток.

— Не велено, говорю. Завтра все скажу.

— Шибко ты боязливый, гляжу.

— Да ты не сердись! Говорю, завтра узнаешь, а пока помалкивать станем.

И незнакомец махнул нам рукой — гребите. Мы налегли на весла, и лодка пошла под самым берегом. На паромной пристани никого не было. Против, на Перевозной горе, все еще горел костер. Когда подплыли ближе к заводу, незнакомец проговорил:

— Ну, спасибо, ребятки,— выручили наполовину. Как дальше будем? Еще помогать станете или уж будет? Натерпелись страху-то?

— Пусть другой кто боится. Мы не струсили! — сказал Петька.

— Ты за себя говори, а не за всех.

— Так мы, поди-ка, заединщина,— поспешил я поддержать Петьку.

— Ты что скажешь, Медведко?

— Ну-к, я — как Петьша с Егоршей.

— Тогда вот что, ребятки... Я вам покажу место, где меня искать. Только чтоб никому... Поняли?

Мы стали уверять, что никому не скажем.

— Ни отцу, ни матери. Не то худо будет. Знаю ведь, в которой улице живете.

— Да что ты, дяденька, разве мы такие!

— Ну, мало ли... Славные будто ребятки, да не знаю ваших отцов. То и говорю так, а вы за обиду не считайте. Ну, а если выдадите, беда вам будет.

Когда мы стали уверять, что никому ни за что не скажем, раненый заговорил опять ласково:

— Ладно, ладно — верю. Слушайте вот, что вам скажу. Сейчас мы подплывем к просеке на Карандашеву гору. Тут еще рудник был. Знаете?

— Костяники там много по ямам бывает.

— Ну вот. Против этой просеки я и вылезу. Только не на берегу буду, а постараюсь за ночь переползти к покосной дорожке. Лес там мелкий, да густой. Вот там и буду вас ждать. А вы мне хлеба притащите да черепок какой под воду. Ладно?

Мы, конечно, согласились.

— А как меня искать будете?

— Придем туда, кричать станем, ты и отзовись.

— Вдруг не узнаю ваших голосов, тогда как?

— Тогда... тогда Егорша пусть свистнет. Он у нас первый по улице. Большие против него не могут. Так свистнет — сразу услышишь.

— Нет, ребятки, это не годится. Вы лучше так сделайте. Идите из Горянки по покосной пороге. Как дойдете до Карандашевой горы, до просеки этой, поворотите на нее, да к пруду и ступайте — и все одну песенку пойте. Какую знаете?

— Ну, про железную дорогу:

Полотно, а не дорожка,
Конь, не конь — сороконожка...

— Вот... Ее и пойте потихоньку, а я отзовусь. А если не отзовусь — значит, меня тут нет.

— Ты где будешь? — спросил Петька.

— Как придется. Сам не знаю. А теперь приставать станем. Вон она, просека-то.

Высадившись на берег, раненый посоветовал:

— Вы, ребятки, так под берегом и плывите. У крайних улиц где-нибудь и высадитесь. Ваша-то которая?

— Пятая с этого конца.

— Тогда пораньше. А то, поди, ждут вас — заметят. Да лодку-то оттолкните! Ее за ночь к плотине и унесет. Вишь, в ту сторону ветерком потянуло. Не проболтайтесь смотрите!

Оставшись одни, мы долго сначала молчали. Лодка у нас завихлялась. Колюшка перебрался к рулевому веслу, и все это молчком.

Первым заговорил Петька:

— Гляди, ребята, чтоб ни-ни! Колотить дома будут — говори одно: ходили на Вершинки.

— Отлупят все равно.

— Ну-к, про это что говорить...

— Это уж так точно. Готовьсь, ребята! Только чтоб ни словечка про того-то! Да хлеба-то припасайте. Покормят, поди, нас... Отлупят сперва, потом кормить станут. Не зевай тогда! Ты, Егорша, у бабушки еще попроси. Скажи, не наелся. Она тебе еще отрежет, а ты — в карман.

Была глубокая ночь, но в домах кое-где видны были огни. Фабрика молчала — был летний перерыв. Только над домной взлетали столбы искр.

Чем ближе мы подплывали, тем страшней становилось. Вот и Вторая Глинка... Через одну улицу наша Каменушка.

— Правь, Кольша, к плотику. Высаживаться, видно, надо...

Мы высадились на плотик, уложили весла в лодку, повернули ее носом вглубь, оттолкнули от плотика, а сами по гибким доскам вышли на берег. Пройти еще шесть-семь домов до переулка, пересечь Первую Глинку — и мы дома... Никто, однако, не радовался. Каждый только пошарил в своем ведерке и рыбу покрупнее вытащил наверх.

— Ну-к, я говорил — заведет нас зеленая. Вот и завела!

— Чудак ты, Кольша! Человека из беды выручили, а ты материной трепки испугался.

— А что если, ребята, это конный вор?

Сначала мы просто опешили от этого вопроса, потом принялись доказывать Колюшке, что это он вовсе зря придумал, что конных воров народ ловит, а не стражники, револьверов у конных воров не бывает, а подпилок да веревка.

— Ну-к, я тоже думал — не вор,— успокоил нас Колюшка.— Это он сам, как мы вдвоем-то оставались, все про лошадей спрашивал. Я сказал, что у Жигана девять лошадей, а он говорит — это мне не надо, скажи про рабочих, у кого лошадь есть. Вот я и подумал, на что ему.

— Сказал про лошадей-то?

— Всех перебрал на нашей улице...

— А он что?

— Не знаю, говорит, этих людей.

— Ну, вот видишь! Он знакомого человека ищет и с лошадью. Перевезти его. Это уж так точно. А что, ребята, если Гриньше сказать? Он нашел бы лошадь.

— Выдумал! Тебе что говорили? Если скажешь — я с тобой не заединщик.

— И я тоже.

— Ладно, ребята! Завтра спросим... про Гриньшу-то.

Все это говорилось на берегу. Лодку отнесло так далеко, что едва можно было разглядеть. Домой все-таки надо идти.

Ох, что-то будет?..

ДОМА

У всех нас матери не спали.

Встретили «горяченько», но вовсе не так, как мы ждали. Отцов у нас с Петькой не оказалось дома. По первым же словам мы поняли, где они.

Матери даже не спросили, как бывало раньше, когда мы опаздывали: «Что долго? Где шатался? Куда носило?», а сразу перешли к приговорам.

— Я тебе покажу, как за большими гоняться! Будешь еще у меня? будешь? будешь?

— Больших угнали, а ты куда полез? Тебя кто спросил? кто спросил? кто спросил?

— Стражники наряжали? наряжали тебя? наряжали?

— Будешь помнить? будешь помнить? будешь помнить?

Вопросы, по обычаю тех далеких дней, подкреплялись у кого вицей, у кого голиком, у кого отцовским поясом. Мы с Петькой орали на совесть и отвечали на все вопросы, как надо, а терпеливый Колюшка только пыхтел и посапывал. За это ему еще попало.

— Наказанье мое! Будешь ты мне отвечать? Будешь? будешь? Слышь, вон Егорко кричит — будет помнить, а ты будешь? А, будешь? Смотри у меня!

После расправы я сейчас же забрался на сеновал, где у меня была летняя постель.

Петька со своим старшим братом Гриньшей тоже спали летом на сеновале. Постройки близко сходились. У нас был проделан лаз, и мы по двум горбинам легко перебирались с одного сеновала на другой. На этот раз Петька перелез ко мне и зашептал:

— Гриньша тут. Спит он. Потише говори, как бы не услышал. Про Вершинки-то сказал?

— Нет. А ты?

— Тоже нет. Тебя чем?

— Голиком каким-то. Нисколь не больно. А тебя?

— Тятиным поясом. В ладонь он шириной-то. Шумит, а по телу не слышно. Гляди-ко у меня что! — и Петька сунул что-то к самому моему носу.

По острому запаху я сразу узнал, что это ржаной хлеб, но все-таки ощупал руками.

— Этот — большой-то — мне Афимша дала, а маленький — Таютка. Она с мамонькой в сенцах спит. Как я заревел, она пробудилась, соскочила с кошомки, подала мне этот кусок: «На-ка, Петенька!», а сама сейчас же плюхнулась и уснула. Мамонька рассмеялась: «Ах ты, потаковщица!» Ну, а я вырвался да дёру. Под сараем Афимша мне и подала эту ломотину. Ишь, оцарапнула — это так точно!.. Еще, может, покормят. Не спят у нас. Ну, не покормят — мы этот, Таюткин-то, съедим, а большой тому оставим. Ладно?

Мне стало завидно. Ловко Петьке! У него четыре сестры. Таютка вовсе маленькая, а тоже кусочек припасла. А меня и не покормит никто!

Но вот и у нас во дворе зашаркали по земле башмаками. Петька толкнул меня в бок:

— Твоя бабушка вышла!

Смешной Петька! Будто я сам не знаю. Шарканье башмаков затихло у дверей в погребицу. Скрипнула дверка. Минуты две было тихо, потом послышался голос:

— Егорушко! Беги-ко, дитенок!

Да, бабушку тоже неплохо иметь!

Петька шепчет:

— Ты еще попроси! Не наелся, скажи. А сам не ешь! Почамкай только. Она не увидит.

Быстро спускаюсь с сеновала и подбегаю к погребице. Бабушка нащупывает одной рукой мою голову, а другой подает большой ломоть хлеба.

— Поешь-ко, дитятко! Проголодался, поди? Шуточно ли дело — с одним куском цельный день. Да не поворачивай кусок-от. Так ешь.

По совету Петьки, я начинаю усиленно чавкать, будто ем, и в то же время спрашиваю:

— Ты, бабушка, видела мою рыбу-то?

— Видела, видела... Хорошая рыбка. Завтра ушку сварим.

— Окуня-то видела... большого? Еле его выволок. С фунт, поди, будет. Будет, по-твоему?

— Кто знает... Хорошая рыбка. Как у доброго рыболова.

— Чебак там еще... Видела...

— Ну, как не видела... Все оглядела. Пособник ведь

ты у меня! — И бабушка поглаживает меня по голове. Я все время усердно чавкаю, потом говорю:

— Бабушка, я не наелся.

— Съел уж? Вот до чего проголодался! А мать-то и не подумает накормить! Сейчас я, сейчас... сметанкой намажу... Ешь на здоровье.

В это время хлопнула дверь избы, и мама звонко крикнула:

— Ты, рыболовна хворь! Иди-ко! Сейчас чтоб у меня!

Голос был строгий. Надо идти, а куда кусок, который я держал за спиной? Тут оставить — Лютра схамкает. В карман такой не влезет... Как быть? Сунул за пазуху — сметана потекла. Тоже бабушка! Всегда она так!

На столе оказались горячая картошка с бараниной, творожный каравай и кринка молока. Но приправа была горькая — мама плакала. Лучше бы она десять раз меня голиком, чем так-то. И я тоже разревелся.

— Не будешь больше?

— Не буду, мамонька! Вот хоть что... не буду. Засветло домой... всегда...

— Ну ладно, ладно... Хватит! Поешь вот. Один ведь ты у меня.

После этого я уж мог есть без помехи. На душе светло и весело, как после грозы. Но ведь надо еще тому запасти. Об этом я не забыл, да и забыть не мог: струйки сметаны с бабушкина ломтя стекали на живот и холодили. Было щекотно, но я все время поеживался и крепко сжимал ноги, чтоб не протекло. Как тут забудешь!

Припрятать что-нибудь, однако, было трудно. Мама стояла тут же, около стола, и смотрела на мою быструю работу. Бабушка тоже пришла в избу и сидела недалеко.

По счастью, в окно стукнули. Это колюшкина мать зачем-то вызывала мою.

Тут уж надо было успевать.

Я ухватил два ломтя хлеба и сунул их за пазуху, а чтобы не отдувалась рубашка, заправил их по бокам. Быстро выбросил из правого кармана все, что там было, и набил его картошкой с бараниной. С левым карманом было легче. Там лишь берестяная червянка. Вытащить ее, выгрести остатки червей, наполнить карман рыхловатым, тепловатым караваем — дело одной минуты.

Когда мама вернулась, я был сыт и чувствовал бы себя победителем, если бы не проклятая сметана. Она уже ползла по ногам, и я боялся, что закаплет из левой штанины.

— Зачем Яковлевна-то приходила?

— Молока кринку унесла, Колюшку покормить. Ушка, говорит, оставлена была, да кошка добылась. Ну, а больше и нет ничего. Картошка да хлеб, а накормить тоже охота рыболова-то своего.

— Как ведь! Всякому охота своего дитенка в сыте да в тепле держать... Трудное у Яковлевны дело. Пятеро, все мал мала меньше, а сам вовсе старик. Того и гляди, рассчитают либо в караул переведут... На что только другой раз женился!

— Подымет Яковлевна-то. Опоясками да вожжами все-таки зарабатывает.

— Работящая бабеночка... что говорить, работящая, а трудненько будет, как мужниной копейки не станет. Ой, трудненько! По себе знаю.

Мне давно пора было уходить. Под разговор мамы с бабушкой я думал убраться незаметно, но мама остановила вопросом:

— Егоранько, вы хоть где были-то?

Вопрос мне вовсе не понравился. Неужели Колюшка про Вершинки выболтал? Как отговориться?

— Рыбачили мы...

— В котором, спрашиваю, месте?

— На песках сперва... Тут Петьша подъязка поймал.

— Ну?

— А я окуня... большого-то...

Мама начала сердиться:

— Не про окуней тебя спрашиваю!

Но тут вмешалась бабушка:

— Да будет тебе, Семеновна. Смотри-ка, парнишка весь ужался, ноги его не держат... Выспится — тогда и расскажет. Ночь на дворе-то. Светать, гляди, скоро будет... Иди-ко, Егорушко, поспи.

Хорошая все-таки бабушка у меня! Когда подходил к порогу, она потрепала по спине и ласково шепнула:

— В сенцах-то, над дверкой, кусок тебе положила. Ты его возьми с собой, а утром съешь. Тихонько бери, не перевертывай.

— Со сметаной?

— Помазала, дитятко, помазала... Неуж одному-то внучонку пожалею... Что ты это! Что ты!

Я и без того знал, что бабушка не жалела. Очутившись в темных сенцах, первым делом полез рукой в левую штанину, чтобы остановить липкую сметанную струйку. Сметана будто ждала этого и сейчас же поползла еще сильнее во все стороны. Пришлось вытащить кусок и заняться настоящей чисткой — смазывать на пальцы и облизывать.

Тихо сидя на приступке, я слышал, как мама говорила:

— Из сыромятной кожи им надо карманы-то шить. Видела, как оттопырились? Чего только не набьют!

— Ребячье дело. Все им любопытно.

— А мнется что-то. Не говорит, где были. У Яковлевны-то эдак же. Знаешь ведь, он какой: не захочет, так слова не добьешься.

— Наш-то простой. Все скажет.

— Попытаю вот я завтра.

— Да будет тебе! Парнишко ведь — под стекло не посадишь.

Просто замечательная бабушка! Все как есть правильно у ней выходит.

Кусок с наддверья я снял и сложил с тем, что вытащил из-за пазухи. Теперь у меня четыре куска да оба кармана полны. Ловко! Куда только это? Изомнется, поди, в карманах-то... С ребятами надо сговориться, как завтра отвечать. С Петьшей нам просто, а вот как Кольшу добыть?

Через широкую щель забора поглядел к ним во двор. В избе все еще огонь. Колькина мать сидит за кроснами, ткет тесьму для вожжей. Спит, видно, Колька. В сенцах ведь он. Разве слазить? В это время у них скрипнула ступенька крыльца. Идет кто-то. Не он ли?

— Кольша, Кольша! — зашипел я в щель.

— Ну?

— Иди к нам спать! Петьша у нас же.

— Ну-к что, ладно. Мамонька до утра не увидит...— И Колька осторожно перелез через забор.

Петька был уж на нашем сеновале и встретил ворчаньем:

— Ты что долго? Разъелся без конца! Я уж дав-

ным-давно поел. Чуть не уснул, а его все нет! Достал хоть что-нибудь? Для того-то?

— Мы да не достанем! Четыре куска у меня. В одном кармане баранина с картошкой, в другом — каравай. Вот! — хлопнул я по карману.

— Молодец, Егорша! А я подцепил вяленухи два куска да полкружки горохового киселя. Тут, в сене, зарыл! Ну, хлеба не мог. Это так точно. Только и есть, что те два куска: Таюткин да Афимшин. Хватит, поди? Кольше вот не добыть. Плохо у них.

Колюшка, которого Петька не заметил до сих пор, отозвался:

— Картошка-то есть, поди, у нас. Семь штук в сенцах спрятал.

— Кольша! — обрадовался Петька.— Тебя-то и надо. Ты про Вершинки не сказывал?

— Нет, не говорил.

— Вот и ладно. Мы с Егоршей тоже не сказывали. Теперь как? Меня спрашивают, где были, а я и сказать не знаю. Про то, про другое говорю...

— У меня этак же. Мама спрашивает, сердиться стала, а я верчусь так да сяк,— отозвался я.

— Кольша, тебя мать-то спрашивала? Потом-то, как кормила?

— Спрашивала.

— Ты что?

— Ну-к, я сказал...

— Что сказал?

— Сказал... промолчал...

Это показалось смешно. Мы расхохотались. На соседнем сеновале завозился брат Петьки — Гриньша — и сонным голосом проговорил:

— Вы, галчата! Спать пора. Скажу вот...

Гриньша уснул, но мы уж дальше разговаривали шепотом. Сложили все запасы в одно место и уговорились завтра идти не рано, будто за ягодами.

Если будут спрашивать о сегодняшнем, всем говорить одно: удили у Перевозной горы, потом увидели — народ бежит, тоже побежали поглядеть, да на тракту и стояли. Ждали, что будет, а ничего не дождались. Так и не узнали. Говорят, кто-то убежал, его и ловили.

Неугомонный Петька хотел было еще уговориться:

— А где мы зеленую кобылку ловили?

Но тут стал всхрапывать Колюшка. И у меня перед глазами стала появляться тихая вода, а на ней поплавок. Вот пошел... пошел... а!..

Петька все еще что-то говорит. Опять тихая вода, а на ней поплавок... Потянуло... Окунь! Какой большой! Тащить пора, а рука не подымается...

ЗАГАДОЧНЫЙ ТУЛУНКИН

Утром, когда пили чай, пришел отец. Пришел усталый, но веселый и чем-то довольный. Сел рядом со мной, придвинул к себе:

— Ну как, рыболов, дела-то? Много наловил?

Я готов был сейчас же бежать на погребицу за рыбой, но отец остановил, а бабушка сказала:

— Сейчас ушку варить станем. Страсть хорошая рыбка! Окуньки больше.

— Ты лучше спроси, в котором он часу домой пришел,— вмешалась мама.

— Опоздал, видно? Насыпала, поди, мать-то, а? Она, брат, смотри!

— Вот и пристрожи у нас! Бабушка — потаковщица, отец — хуже того.

— Вишь, вишь, какая сердитая! — подмигнул мне отец.— Гляди у меня, слушайся! Я вон, небось, всегда слушаюсь. Как гудок с работы — я и домой, и уходить никуда неохота. Покрепче тебя, а сижу, а ты вот все бродишь. Туда-сюда тебе надо. Сегодня куда собрались?

— По ягоды, тятенька. За Карандашиху думаем.

— И то дело. Скоро ягоды-то от нас убегут, а рыба останется. Успевать надо. Только домой засветло приходи. Ладно? Не серди мать-то!

— Да будет тебе! Скажи хоть, куда вас гоняли?

— Дорогу да лес караулили.

— Что их караулить-то?

— Станового спроси, ему виднее. Так и сказал: «Этих поставить караулить лес и дорогу». Ну, мы и караулили.

— И что?

— Да все по-хорошему. Дорога на месте, и сосны не убежали...

— Без шуток расскажи, Василий,— попросила мама.

А бабушка заворчала:

— Что, в самом деле, балагуришь, а про дело не сказываешь!

— Нельзя, мать, про это дело без шуток рассказать. Коли дурак делает, так всегда смешно выйдет. Придумали тоже — народ выгнать политику ловить! Как же! Пусть сами ловят!

— Какую политику?

— Да, вишь, на Скварце — на золотом-то руднике под Вершинками — появился человек один. Из пришлых какой-то. Под землей работал, как обыкновенно. Вот этот пришлый и стал с тем, с другим разговаривать про тамошние дела. Стал около него народ грудиться. Стража-то горная побаивается под землю лазить, им и вольготно там. Соберутся, да и судят. Про штрафы там, про обыски... ну, про все рабочее положение и как лучше сделать. Кто-то все-таки унюхал про это. Из начальства. Вчера, сказывают, как из шахты народ подыматься стал, его и хотели взять, а у него револьвер оказался. Стражники-то — они на голоруких храбрые, а этой штучки боятся — выпустили. Он в лес. Стражники давай стрелять в него, он опять в них. Перепалка вышла. Говорят, будто ему ногу подшибло пулей.

— Поймали его?

— Зачем поймали? Ушел...

— С подстреленной ногой?

— Может, это еще вранье — про ногу-то... Говорю, ушел, да и как не уйти, коли стражники сами боятся в лес заходить! А нам зачем этакого человека ловить?

— Вы по лесу и ходили?

— Вроде облавы сделано было. Он, видишь, в том лесу был, между зимником да трактом, под самыми Вершинками. В пруд этот лесок выходит. Вот его и оцепили и по тракту до плотины народ поставили. В случае если пруд переплывет, так тут его и схватят. Мы с Илюхой против Перевозной горы пришлись. Только и видели, что стражники по дороге ездят да покрикивают: «Эй, не спишь?» А сами-то и проспали. Он, знаешь, что сделал?

— Ну?

— Переплыл, видно, пруд, да к перевозу и пробрался. Там взял лодку — потихоньку — да прудом прямо к господскому дому. Ищи теперь! На Яшу Лесину приходят, почему лодку не уберег, а он говорит: «Тут три

стражника сидело, я и не караулил. Они спать завалились, а я сиди! Как бы не так!» Лодку-то оглядывают теперь, не осталось ли следов каких... Подходили мы с Ильей. Сережку какую-то там нашли да панок-свинчатку. У нашего Егораньки такой же есть. Зеленым крашен.

— Ты, Егорушко, этот панок выбрось и не сказывай, что у тебя такой был,— посоветовала бабушка.

Отец расхохотался:

— Что ты, мать! Не будут же ребячьи бабки перебирать. Мало ли крашеных панков.

Отцовский смех меня успокоил. Надо все-таки ребятам сказать, чтобы про мой зеленчик не поминали. Будто я еще с весны его проиграл. Эх, какой паночек-то был! И как это он выскользнул?

Успокоенный, я стал собираться.

Бабушка, как всегда, отрезала мне хлеба, а мама напомнила:

— Смотри, не по-вчерашнему! Глубоко-то от дороги не ходите. Там и ягод нет. К пруду ближе держитесь.

Колюшка уже поджидал на завалинке, но Петьки еще долго не было. Мы понимали, почему он долго не выходит. Ему надо незаметно пронести корзинку с запасами для раненого. Петька же взялся разыскать посудину, которую мы могли спокойно оставить. Ждали терпеливо. Петька вылетел, наконец, и сразу набросился на нас:

— Вы что тут расселись, ровно воробьи на жердинке! Про Сеньку-то узнали? Может, он с голубятни караулит, а они сидят! Драться-то, поди, нам сегодня не с руки! Беги, Егорша, хоть к Потаповым ребятам. Посмотри из огорода, не видно ли Сеньки либо еще каких первоглинских.

— Ну-к, что бегать-то, так пройдем.

— Говорю — не с руки нам сегодня драться.

В это время из проулка показалась лошадь, запряженная в телегу. На телеге — старик и три женщины, за телегой — привязанная хромая лошадь. Это был удобный случай. Мы сейчас же забежали с левой стороны и пошли рядом с телегой, один за другим.

Немолодая женщина спросила:

— За какими, ребята, ягодами-то?

— Какие попадут.

— За брусникой-то рано ведь.

— Черника еще попадает. А вы куда?

Этот разговор был нам тоже на руку — будто мы знакомые. Нам надо было со взрослыми пересечь улицу Первую Глинку.

В Горянке тогда был дикий обычай: ребятишки одной улицы были в постоянной вражде с ребятами двух соседних улиц. Почем зря тузили один другого за то, что живут на улицах рядом.

В той стороне, куда мы шли, врагами нашими были ребята Первой Глинки. Во Второй Глинке уже были наши друзья, которые тоже воевали с Первой Глинкой.

В Первой Глинке, у самого переулка, справа, жил наш заклятый враг — Сенька Пакуль. Это был рослый, красивый, ловкий и очень сильный мальчик наших же лет. Но в школе он не учился. Совсем еще маленьким он упал и прикусил кончик языка. Речь у него стала невнятной, над ним смеялись. Из-за этого Сенька и не учился в школе, а ходил учиться к какой-то старинной мастерице. Наших ребят он особенно не любил. Готов был целыми днями сторожить, чтобы поймать и поколотить кого-нибудь из наших, если узнавал, что прошли в их сторону.

Не дальше трех дней тому назад нашей тройке удалось поймать Сеньку Пакуля с его другом Гришкой Чирухой, и мы их жестоко побили. Нелегко, конечно, это досталось. У Кольши появился пяташный синяк, у меня удвоилась губа, но больше всех пострадал Петька — у него были разорваны новые штаны. Как бы то ни было, мы все-таки победили, и Петька похвалялся:

— Будет помнить Сенька-то, как наших бить! Задавалко худоязыкое! Еще кричит — выходи по два на одну руку! Вот те и по два! Получил, небось. А этой поганой Чирухе я еще покажу, как новые штаны рвать!

Мы теперь и боялись, как бы Сенька с товарищами не отплатил. Обошлось, однако, по-хорошему. Только один парнишка увидел нас и заорал:

— Эй, лебята, Сестипятка идет! Сестипятка! С Каменуски, Сестипятка!

Парнишка был нам не ровня. С такими не дерутся. Мы только сделали ему знак пальцем — утри сопли, да Петька крикнул:

— Эх ты, сосунок! Говорить не научился!

Никого из ребят нашей ровни не было видно. Мы,

конечно, больше поглядывали в сторону голубятни Сеньки Пакуля и пятистенника, где жил Гришка Чируха. Но тоже никого. Только уж когда подошли ко Второй Глинке, из-за угла выглянула лисья морда Гришки. Петька погрозил ему кулаком:

— Я тебя научу штаны рвать!

Дальше шли вовсе спокойно.

— Ну-к, ребята, пошли поскорее. Сами-то, небось, наелись, а он голодом.

— Верно, пошевеливаться надо.

Мы зашагали быстрее. Покосную дорогу через речку Карандашиху мы знали хорошо, первую просеку — тоже. Но чем ближе подвигались, тем больше тревожились.

Хотели поскорее увидеть, что раненый тут, никто его не захватил, и мы все больше и больше поторапливались. Около просеки уже бежали бегом. Свернули налево и сейчас же запели про железную дорогу. Спели раз, другой — никого. Мы продолжали петь. Опять никого.

— Вон пруд, ребята, видно, а его нет. Говорил — за Карандашеву гору проползет. Как же так? Она, видишь, кончилась. Искать надо. Может, тебе, Егорша, свистнуть?

— Дойдем сперва до пруда,— предложил Колюшка.

— Что там делать-то? Говорил — в мелком лесу, а там видишь какой! Голова!

— Вот тебе и голова! Помните, сказал — до конца идите?

Опять запели про сороконожку и пошли к пруду. Вблизи берега, где лес совсем редкий, наш раненый отозвался. Где он? Близко вовсе, а не видно. За деревом, что ли? Но вот зашевелилась куча хвороста. Вон он где!

— Не мог, ребятки, выше-то уползти. Что-то плохо мне,— сказал незнакомец, когда мы подбежали к нему.— Воды принесите кто-нибудь.

Петька вытряхнул перед раненым смесь горохового киселя с бараниной и творожником, выложил ломти хлеба и побежал с бураком к пруду.

— И поесть принесли. Вот спасибо, ребятки! Да как много!

И он сейчас же схватил ломоть и жадно стал есть. Мы не менее жадно разглядывали своего вчерашнего знакомца. Он был еще не старый, с короткими черными волосами и широкими бровями. Кожа лица и рук покры-

та мелкими черными точками, как у слесарей. Подбородок сильно выдался, а глаза, казалось, спрятались под широким квадратным лбом. Ласковые слова мало подходили к строгому лицу.

— Что глядите-то! — усмехнулся раненый.— Не видали, как голодные едят? Что говорят в заводе про вчерашнее?

Тут я принялся выкладывать, что слышал от отца. Раненый заметно заинтересовался.

— Где, говоришь, отец-то у тебя работает?

Я сказал, что у нас с Петьшей отцы работают в пудлинговом цехе, а у Колюшки — тот всю жизнь на домне.

— Лошадей ни у кого нет?

— Лошадей нет.

— Вот что, ребята... Вы бы мне слесаря Тулункина нашли. В вашем краю живет. На Первой Глинке.

— Приезжий какой?

— Нет, ваш, горянский. Мы с ним вместе в городе работали.

На Первой Глинке, как и на своей Каменушке, мы знали подряд все дома, но Тулункиных там не было. Перебрали по памяти всех — нет Тулункиных!

Раненый, однако, стоял на своем: есть.

— Писал ему раз. Дошло письмо, и ответ получил.

— На Первой Глинке?

— На Первой Глинке. Тулункин Иван Матвеевич.

— Нет, такого не бывало.

Раненый все-таки не верил нам.

— Вы вот что, ребятки! Ступайте домой и там узнайте про Тулункина. Сходите потом — только не все, а один кто-нибудь — к этому Тулункину и скажите ему: Софроныч, мол, тебя ждет с лошадью, а где ждет — я укажу.

— Дяденька, да нам на Первую Глинку и ходить нельзя.

— Деремся мы с тамошними ребятами.

— Ну, помиритесь на этот случай.

Легко сказать — помиритесь! Это с Сенькой-то Пакулем да с Гришкой Чирухой! Попробуй!

Мы быстро собрались домой, ягоды не стали брать. Решили сказать дома, что их вовсе нет в этом месте: брусника еще белая, а других не осталось. На обратном пути не один раз перебрали всех жителей Первой Глин-

ки, может, пишется кто так? У нас ведь в Горянке чуть не у всех двойные фамилии. Петька вон — зовется Маков, а пишется Насонов. Колюшка по-уличному Туесков, а пишется Турыгин. У меня тоже две фамилии.

— Надо, ребята, все-таки узнать про Тулункина.

— Ты сперва про другое думай! — сурово сказал Петька.— Как пройти мимо Глинки? Сенька-то, поди, караулит. Думаешь, Чируха ему не сказал?

— Может, Сеньки и дома нет.

— Все-таки, ребята, пойдем берегом.

— Там скорее нарвешься.

— Мы со Второй Глинки поглядим. Если не купаются — ходу прямо по воде. Ладно? А Сенька пусть сидит, как сыч, в переулке караулит.

Сенька оказался хитрее.

Только мы поравнялись с Первой Глинкой, как на нас налетело четверо, а сзади, с огородов, еще перелезло трое. Нас окружили. Враги заранее радовались:

— Попалась, Шестипятка!

Но Петька не забыл про разодранные штаны и зверем кинулся на Гришку Чируху. Гришка был слабый мальчик, и Петька с одного удара сбил его с ног.

Колюшка пошел на Сеньку Пакуля, но тот увернулся, ловко подставил ножку, и наш Медведко сунулся носом в землю на самый берег. Меня тузили двое школьных товарищей и уже кричали:

— Корись, Егорко!

Я, конечно, не мог допустить такого позора и отбивался, как мог, хотя уже из носу бежала кровь и рука была чем-то расцарапана.

По счастью, Петька изо всей силы залепил камнем в ведро подходившей к пруду женщины. Ведро зазвенело, загромыхало и свалилось на землю. Женщина освирепела и бросилась с коромыслом в самую гущу свалки. Мы воспользовались этим и бросились наутек к переулку.

Как раз в это время возвращался лесник верхом на лошади. Ехал он шагом. Это для нас было выгодно. Мы из-за него могли отбиваться камнями, а нашим врагам этого сделать было нельзя. Так и ушли.

Петька мог все-таки утешиться.

— Видели, ребята, как я Чирухе засветил? Два раза перевернулся! Будет помнить, как штаны драть!

Хоть Гришка и не перевертывался двух раз, но нам

самим похвалиться было нечем, спорить не стали. Колюшка только вздохнул:

— Кабы нога не подвернулась, я бы ему показал...

— Ежли да кабы стали на дыбы, хвостиком вильнули, Кольше подмигнули...

— У самого-то щеку надуло!

— Это мне Сенька вкатил. Хорошо бьется, собака! Это так точно. В нашей бы улице жил, мы бы показали первоглинским! А Чируха — язва. Только и толку, чтобы одежду драть. Ему ловко, богатому-то!

— Вот и мирись с ними!

— А надо,— проговорил Колька, растирая медной пуговкой большую шишку на лбу.

— Наставят тебе с другого-то боку!

— Ну-к что, наставят, а мириться надо.

— Да как ты станешь с ними мириться? Покориться, что ли, Первой Глинке?

— Чтобы наши каменушенцы первоглинским покорились! Никогда тому не бывать! Это уж так точно. Гляди, вон Сенька-то задается!

Над угловым домом Первой Глинки, где жил Сенька, взлетела пятерка голубей. Нам с завалинки был виден и конец сенькиного махала.

— Видишь, голубей выпустил. Хвастается — задавалко худоязыкое! Постой-ко...— Петька поглядел на нас, как на незнакомых, потом махнул головой: — Пошли, Егорша!

Он швырнул корзинку тут же на улице и бросился в калитку своего дома. Я не понимал, что он задумал, но тоже побежал за Петькой. Ухватив в сенцах коротенький ломок, Петька полез на сеновал.

Неужели он гриньшиных голубей спустит? Это было страшно, но я все же полез за Петькой. У нас ни у кого из тройки своих голубей не было, но у петюнькиного брата Гриньши была пара ручных, подманных. Эту пару хорошо знали по всему околодку. Нам доступа к ней не было. Клетка всегда была на замке, а ключ Гриньша носил с собой.

Петька подсунул ломок, нажал и выворотил пробой.

— Свисти на выгон! — приказал он мне, открывая дверцу клетки.

Я засвистал, и пара, хорошо знавшая свое дело, сразу пошла на подманку, врезавшись сбоку в стайку сень-

киных голубей. На свист выбежала из избы петькина мать и закричала:

— Что вы, мошенники, делаете? Гриньша-то узнает — задаст вам!

— Он, мамонька, сам велел сенькиных подманить.

— А как его-то упустите?

— Не упустим! Подсвистывай, Егорша.

С крыши нам видно было, как метались на своей голубятне Сенька и трое его друзей. Залез на голубятню какой-то вовсе большой парень. Все они свистали, подманивали голубей, но напрасно старались: вся стайка слушалась теперь только моего свиста.

Я еще раза три сгонял ее вверх, потом стал свистать на спуск. Петька уже кричал вниз Кольке:

— Тащи решето да сбивай ребят, какие есть! Сенька сейчас драться полезет.

Через несколько минут все было кончено. Гринькина пара сидела в своей клетке, а сенькина пятерка трепыхалась в закрытом решете. Только Сенька не лез драться. Он, как потом узнали, ревел, как маленький.

— Теперь, ребята, с Сенькой помириться не стыдно,— объявил Петька.

Подождав немного, мы вышли в переулок. Со стороны Первой Глинки там уже были все те ребята, которые недавно нас тузили. Вышел и заплаканный Сенька. Петька звонко крикнул:

— Сеньша, хошь отдам?

— За сколь?

— Так отдам. Без выкупу.

— Обманываешь!

— Нет, по уговору отдам.

— О чем уговор?

— Мириться.

— На сколь дней?

— Навсегда.

— С тобой?

— Нет, со всей нашей заединщиной. Со мной, с Кольшей, с Егоршей.

— А мне как?

— Ты сговорись вон с Митьшей Потаповым, с Лейшей Шубой.

Петька указывал на самых крепких мальчуганов, наших одногодков. Они меня и колотили.

— Не будут если?

— Других подбирай. Только Гришку не надо. Он штаны новые дерет.

Сенька недолго говорил со своими и крикнул:

— Давай!

— Навсегда?

— Навсегда! — крикнули на этот раз Митька и Лейко.

Мы сбегали за решетом и передали его Сеньке. Тот сейчас же убежал на голубятню, высадил голубей, притащил решето. Начался уговор. Обрадованный Сенька готов был сойтись на пустяках, но все остальные хотели мириться «как следует».

Мирились тогда у нас на «вскружки» — драли один другого за волосы. Вскружки были простые, сдвоенные, с рывком, с тычком, с поворотом, зависочники, затыльные до поясу, до земли.

Сенька сперва сказал — пять простых. Смешно даже! Пять-то простых — это когда из-за пустяковой рассорки дело выходило, а тут другое: улицы мирились, да еще навсегда!

Выбрали для такого случая три самых крепких зависочника да пять затыльниц до земли, чтобы лбом в землю стукнуть.

Встали парами один против другого и начали выполнять уговор. Сначала они раз, потом мы, опять они, опять мы. Сенька из-за голубей и тут хотел поблажку Петьке сделать, да Петька закричал:

— Невзачет! Сенька мажет!

Дальше уже пошло по совести. Драли друг друга за волосы так, что у всех стояли слезы на глазах. Нельзя же! Мирились не на день, а навсегда, да еще с разных улиц. Дешевкой тут не отделаешься! Составились еще две пары, но Гришку Чируху никто не вызвал.

Когда мир был заключен, решили искупаться на каменушенском берегу. У нас было удобнее, да и Петьке давно хотелось померяться с Сенькой на воде. Только куда Петьке! Сенька и заплывал и нырял много дальше. Потом Сенька боролся с Кольшей и тоже легко его бросил. Зато на палке Кольша все-таки перетянул. Попыхтел, конечно, а перетянул. Все три раза. Хотели еще проверять — заставляли снова бороться, да Кольша сказал:

— Ну-к, он ловчее, а я сильнее.

На этом и согласились. Медведушко наш, и верно, ловкости большой не имел.

Мы — остальные — тоже боролись и на палке тянулись, но это уж так, для порядку. Зато наши новые друзья заказывали мне:

— Егорша, свистни по-атамански.

Я бы с радостью потешил друзей, но после первого же посвиста из окон ближайших домов высунулись взрослые и на всякие голоса закричали:

— Егорко, уши оборву!

— Свистни еще — я тебе покажу!

— Егорко! Ты опять? Сколько раз тебе говорить, а?

Петька, всегда гордившийся моим свистом больше меня, похвастался:

— По всему заводу против нашего Егорши свистаря не найти! Мешают вот только парню! — кивнул он головой в сторону ругавшихся взрослых и сейчас же громко спросил первоглинских: — Ребята, у вас Тулункины есть?

Сенька с удивлением поглядел на него:

— Ты что, шутишь? Мы — Тулункины пишемся.

— Да ведь вы Кожины!

— Кожины, а пишемся Тулункины.

— Отца у тебя как зовут?

— Иван Матвеич.

— Сеньша, друг! Его-то нам и надо!

— На что?

Этот вопрос смутил Петьку. Он метнул глазами в мою сторону и сказал:

— Егорше вон надо-то... Поклон, что ли, передать.

— Ну, что... Приходи, Егорша, в шесть часов. С работы он придет.

Загадка была отгадана. Тулункина нашли — и вовсе близко.

ВЫСЛЕДИЛИ ДО КОНЦА

До шести еще было далеко, и мы занялись игрой в городки, только перешли на Первую Глинку. У них было гораздо лучше играть, чем на нашем каменушенском косогоре.

В шесть часов я сходил к Ивану Матвеичу. Он только что пришел с работы и умывался у крыльца. Я тут ему и сказал:

— Дяденька, тебя Софроныч с лошадью ждет, а где — я укажу.

Иван Матвеич выпрямился во весь свой высокий рост и так, с мокрым лицом, спросил:

— Какой Софроныч?

— С которым ты в городе работал. Еще письмо он тебе писал...

— Постой... Ты откуда его знаешь?

— Не велено сказывать.

— Да ты чей?

Я сказался. Иван Матвеич торопливо утер лицо и руки, потом сказал:

— Пойдем к отцу. Знаю я его.

Пришли. Иван Матвеич сразу же сказал:

— Мне бы, Василий Данилыч, с тобой надо поговорить.

— Говори тут — некому у нас вынести.

— Нет, все-таки надо бы по тайности.

— Тогда пойдем в огород.

— Парнишку твоего надо.

— Неуж что худое наделал?

— Нет ровно.

В огороде у нас росли два черемуховых куста, под ними стояла скамейка. Место это называлось садом. Тут и уселись.

Иван Матвеич, понизив голос, проговорил:

— Сынишка твой сейчас мне поклончик передал от человека, которого ему ровно знать неоткуда. Стал спрашивать, где видел, а он говорит — не велено. Вот и повел к тебе. Пусть расскажет.

Тут уж пришлось сказать все. Отец пожалел:

— Ох, ребята, ребята, давно бы сказать надо! Хоть мне, хоть Гриньше, хоть Илье. Беги-ка за своими заединщиками да Илью тоже позови. Скажи, дело есть.

Через несколько минут на скамейке прибавился Илья Гордеич, петькин отец, а мы все трое уселись на земле. Мой отец сам рассказал, как было дело, потом сказал нам:

— Вы, ребята, теперь про это забудьте. Будто и не было. Слышали?

— Без вас того человека уберем,— добавил Илья Гордеич.

— Без нас не найти,— ответил Петька.— Он на нашу песенку отзывается, а вы не умеете.

— Найдем и так. А вы забудьте! Никому чтобы! Панок-то, Егорша, не твой?

— Мой...

— Смотри! Всем говори — давно потерял.

— Я так и думал...

— Ну, а теперь бегите играть.

Когда нас так отстранили, Петька первым делом налетел на меня:

— Распустил язык! Все им сказал. Кто тебя просил?

— Сам бы и шел!

— «Сам бы, сам бы»! А ты что?

— А то... Не поверил Иван Матвеич. Пойдем, говорит, к отцу.

— Ну?

— Ну я и рассказал.

— Все, как было? И про место, где он лежит?

— И про место...

— Вот и вышел «малый мой, малый мой, понесу тебя домой»! Теперь, думаешь, они что скажут?

— Так ведь спрячут его.

— Спрячут-то спрячут, да тебе не скажут. Слыхал у них разговоры: «Отвяжись! Не твое дело!»

— Узнаем, поди, потом,— отозвался Колюшка.

— Когда узнаем? Как большие вырастем?

В это время отворилась калитка. Вышел Иван Матвеич и не спеша зашагал к своей улице. Вскоре вышли и наши отцы.

Отец Петьки зашел к себе во двор, а мой прошел мимо и повернул в переулок налево.

— Видал? Сговорились уж, а про нас и помину нет! Это так точно.

— Ну-к что...

— Вот те и «ну-к»! Узнать-то охота или нет? Беги, Егорша, за отцом. Если он брать не станет — скажи, в Доменную, мол, надо, а мимо Кабацкой боюсь один. Я к Сеньше сбегаю. Пусть он за своим отцом глядит.

А ты, Кольша, тут сиди. Никуда, смотри, не уходи. Если мой тятя куда пойдет, беги за ним.

Своего отца я догнал, когда он поравнялся с соседней Кабацкой улицей. Отец усмехнулся:

— Тебе куда?

— Я, тятенька, в Доменную... К Силку Быденку...

— Зачем это?

На этот вопрос я не знал, что сказать. Никак не придумывалось.

— Так... Говорят, у него крючки есть...

— Самоловы, поди?

Я обрадовался и принялся врать о крючках, но отец не дослушал:

— Ступай домой.

В голосе не было строгости, и я уже по-простому запросился:

— Я с тобой пойду!

— Нет, Егоранько, нельзя. Потом тебе скажу...

— Когда скажешь?

— Ну, когда надо, тогда и скажу. Ступай! Некогда мне.— И отец нахмурился.

Приходилось идти домой без удачи.

Петьки еще не было. Кольша спокойно сидел на завалинке у Маковых. Я сказал, что отец меня воротил, и в утешенье себе добавил:

— Обещался потом сказать.

— Ну-к, я говорил — скажут. Зря Петьша трепещется.

С этим я не мог согласиться. Когда еще скажут! Надо теперь узнать.

От Маковых вышел Илья Гордеич. Одет он по-праздничному, но как-то чудно: ворот синей рубашки расстегнут и торчит заячьим ухом, суконная тужурка надета в один рукав, левый карман плисовых шаровар вывернут, фуражка сидит криво и надвинута на глаза. Что это с ним? На ногах нетвердо держится! Когда напился? Сейчас трезвехонек был.

— Что, угланята [1], уставились? Пьяных не видали? — спросил Илья Гордеич и, пошатываясь, пошел вверх по улице.

---

[1] Угланята (углан) — баловники, шалуны. *(Прим. автора.)*

Мы переглянулись и стали смотреть, что будет дальше. Пройдя домов пять, Илья Гордеич совсем по-пьяному затянул:

Ой-да, ой-да за горой,
За круто-о-о-ой...

Запыхавшись, прибежал Петька и стал рассказывать:

— Сеньшин отец с удочками пошел! В ту сторону... Понятно? Не поймаю ли, говорит, вечером ершиков, а у самого и червей нет и удочки у Сеньши взял. Рыболов, так точно... У вас что?

Мы рассказали. Петьку больше всего удивило, что отец у него напился.

— Вина-то в доме ни капельки. Знаю, поди. Выдумываете?

— Ну-к, гляди сам. Вон он у Жиганова дома куражится.

— Верно... Пошли, ребята!

Около камней у дома подрядчика Жигана стоял Илья Гордеич и громко спрашивал двух работников Жигана:

— Мне почему не гулять? Сенцо-то у меня видали? Что ему сделается, коли оно у меня под крышей... а? Слыхали про Грудки-то? Нет? Все зароды [1] в дыму. Не слыхали?

Со двора торопливо выбежал Жиган и, отирая руки холщовым фартуком, спросил:

— О чем ты, Гордеич?

— Тебя не касаюсь... С ними разговор.

Илья Гордеич, сильно шатаясь из стороны в сторону, пошел дальше и опять запел:

Ой-да, ой-да за горо-о-ой...

Жиган поджал губы:

— Напьются, главное дело, а тоже! Что он сказывал?

— Ну, выпивши человек... мало ли сболтнет... На Грудках будто сено горит.

— На Грудках?

— Все, говорит, зароды в дыму.

---

[1] З а р о д — стог, скирд сена. *(Прим. автора.)*

— На Грудках?

— Так сказывал... Пьяный ведь... Что его слушать...

— Тебе, главное дело, горюшка мало, что у хозяина на Грудках три зарода... Работнички!

Увидев нас, Жиган спросил Петьку:

— Был у вас кто нонче?

— Не видал.

— Говорил отец с кем-нибудь?

— Стоял давеча в заулке. Разговаривал с какими-то.

— С кем?

— Нездешние. По-деревенскому одеты. С вилами, с граблями... На паре. Пятеро их.

— Откуда ехали?

— С той стороны,— указал Петька.

— О чем говорили-то?

— Не слушал я.

— Ну и соседи у меня! Им бы, главное дело, худое человеку сделать! Про беду сказать — язык заболит! По пьяному делу разболтался, и то за счастье почитай. Чем, главное дело, я поперек горла людям стал? — И Жиган, потряхивая козлиной бородкой, побежал во двор.

Илья Гордеич между тем перешел на другую сторону улицы и остановился перед окнами чеботаря Гребешкова. Петька удивился:

— На что ему Гребешков сдался? Сам Гриньше говорил: «Берегись Дятла, наушник он, для виду только чеботарит».

Илья Гордеич сел на завалинку и стал скручивать цигарку. Возился он с этим долго. Бумага не слушалась, табак сыпался на землю. Вышел Гребешков — маленький вертлявый человечек с большим носом, взял у Ильи Гордеича кисет и бумагу и свернул две цигарки. Было не слышно, о чем они говорили, но вот Илья Гордеич стал стаскивать с левой ноги сапог. Делал он это очень долго. То наклонялся чуть не до самой земли, то откидывался назад. Когда сапог был снят, Гребешков ушел с ним в дом, а Илья Гордеич остался на завалинке. Со двора Жигана вылетела запряженная в телегу пара «праздничных», соловых, с белыми гривами и хвостами. На телеге сидели Жиган, двое работников и работница. Телега загремела вниз по улице

и свернула в переулок налево. Вышел Дятел с сапогом. Илья Гордеич опять долго возился, надевая сапог, потом притопнул ногой, поднялся и указал рукой на кабак. Дятел что-то говорил, как будто отказывался, но кончил тем, что снял с головы ремешок, которым были стянуты волосы, забросил в раскрытое окошечко, и оба они зашагали к кабаку.

— С Дятлом пошел! Нашел дружка! — осудил Петька своего отца.

Нам тоже было удивительно, что Илья Гордеич вдруг связался с пьянчугой Дятлом. Чтобы ждать было не скучно, мы стали играть шариком с верховскими ребятами.

Становилось темно, когда Илья Гордеич вышел из кабака. Дятла с ним не было. Илья Гордеич, пошатываясь, пошел домой. Песни на этот раз он не пел. Нам пришлось доигрывать, и мы потеряли из виду Илью Гордеича. Как только кончили игру, побежали домой. Остановились у колюшкиного дома.

— Егорша, давай не будем спать эту ночь. Ладно? Ты за своим отцом гляди, я — за своим. Это будет так точно. Ты, Колыша, тоже не спи!

— А мне за кем глядеть?

— А ты... ты за нами, чтоб не уснул кто. К Егорше на сеновал приходи.

— Ну-к что... Ладно.

Отца своего я застал дома. Он сидел у огня и подшивал сапог. Мама готовила ужин, а бабушка вязала. Мама с бабушкой разговаривали, отец молчал.

После ужина я не пошел сразу на сеновал, а притаился во дворе — не услышу ли тут какой-нибудь разговор взрослых. Так и вышло.

Вскоре из дому вышел отец и, попыхивая трубкой, сел на крылечко. Как только на колокольне пробило двенадцать, отец подошел к соседскому забору и тихонько кашлянул. Ему ответили тем же.

— Ну что?

— Разыграл. Жиган угнал на Грудки, Дятел без задних ног. Чуть не две бутылки в него вылил да еще сорок копеек дал. У тебя что?

— Дедушко сам взялся проводить. Говорит, от Карандашихи через Жиганову заимку, потом болотами на Горнушинский прииск, а он чуть не к самой Чесноков-

ской больнице подходит. Двадцати будто верст не выйдет.

— В Чесноковском, сказывают, доктор молодой, а дельный.

— В котором часу Филат Иваныч заедет?

— Велел, как час бить станут, наготове быть.

— Слушай-ка, Василий, не побоится доктор на леченье принять? Дано, поди, знать в Чесноковский.

— Да ведь он по чужому виду на руднике был прописан. Настояще-то его зовут Михайло Софроныч Костарев. Из Чесноковского он родом-то, только смолоду в городе работает.

Теперь я знал все. С трудом удерживался, чтобы не броситься на сеновал. Еле дождался, пока отец выбивал табачную золу и бродил по двору. На сеновале я хотел было выпалить все Петьке, но он, оказывается, тоже слышал весь разговор.

На другой день мы узнали, что сеньшин отец с утра был на работе, а наших не было до вечера.

Отцу я не напоминал обещания, но осенью, когда мы уже ходили в школу, он сам сказал:

— Вылечили, Егоранько, того...

— Михайла Софроныча? — не удержался я.

— Ты откуда знаешь, как его зовут?

— Сам тогда сказывал...

— Вам?

— Нам.

— Ой, парень, смотри! Не верю я что-то.

Вечером в бане у Маковых, где Илья Гордеич поправлял зимние рамы, собрались наши отцы и стали «доспрашиваться», что мы знаем. Сначала мы отмалчивались, потом это надоело. Петька махнул рукой и выпалил:

— Все знаем. Слышали ваш разговор.

— Чистая беда с вами, ребята! Не сболтните хоть!

— Мы-то? Это уж будьте в надежде! Умерло!

— Умерло! А Гриньше сказывали?

— Гриньше, конечно... Не маленький, поди, он.

— А Сеньше?

— Ну-к, Сеньша заединщик... Навсегда!

ДАЛЬНЕЕ – БЛИЗКОЕ

Вся выработка нашего завода отправлялась в город. Его обычно не называли.

Любому из подростков было известно, что до города сорок семь верст, что самое трудное место в дороге — кривой Шеманаев угор, а в городе — «железный круг» и «привокзальная топесь». На «железный круг» и «топесь» была заметная прибавка провозной платы, но каждый из возчиков железа старался «выхватить езду в лавку».

«Лавка», или, как ее официально называли «склад металлов Сысертских заводов», была «с ходу», вблизи Хлебного рынка.

— Удобство — в лавку-то,— хвалились возчики.— Сдача маховая, успевай по весам пропустить. Приказчик за одним глядит: не убавлено ли дорогой. А как его убавишь, коли кровельное да прутовое в пачках, а шинное — в сгибнях. Попробуй отгрызи! Да и всякому лестно другой раз езду в лавку получить. Сторожатся, чтобы оплошки не вышло. Глядишь, сдача-то вприскочку идет. Сдал — и сразу на Хлебный. Распрег лошадь, поставил к хрептюгу, а сам можешь горяченького хлебнуть, коли пятак имеешь: Обжорный рядом.

Совсем по-другому рассказывали о привокзальных складах:

— Хуже места выбрать не нашли. Дальше лавки-то версты на три, и сдача там самая канительная: один принимает, другой проверяет, а третий хабару ждет. В ненастье там чистый конобой. Место, видишь, ровное, стоку воде не налажено, а подвоз большой. В ненастье до того растопчут, что напросто еле ноги вытянешь

из грязи. А с возом как? Старику либо женщине, о маленьком не говоря, при таком никак не сподручно. Да еще машина свистит. Какая молоденькая лошаденка шарахнется — других всполошит. Знай посматривай, а то и себя и животину загубить недолго, особливо, когда близко «крестовые воза», с долгим железом, придутся. С народом тоже рассорки много. Всяк, понятно, старается захватить для себя и своей артели место поближе. Ну и лаются, а иной раз и до кулаков дойдет. Сдашь железо, так еще сколько времени выбираешься, потому дорога заставлена вновь приехавшими. А ездят с дальних заводов большими артелями, человек по полсотни. Сговорись с ними добром, когда у каждого одно на уме: как бы поскорее к весовщикам пробиться! Сколь ни худая дорога порой случится, а этот железный круг того тошней. Выберешься из него, как из шахты вылезешь.

Вероятно, этот «железный круг» был одной из причин, почему ребята школьного возраста даже в тех семьях, где исключительно занимались возкой железа, почти не бывали в городе. По крайней мере на своей улице я не знал ни одного из ровесников, который бы мог похвалиться, что бывал в городе.

Все мы, конечно, интересовались городом, но слышали больше об одном: лавке и железном круге. Женское население, бывавшее в городе главным образом во время послепасхальных «дешевок», когда спускался залежавшийся товар, обычно жаловалось на давку и недобросовестность продавцов:

— На глазах обмерил! Не то поддернул! Хороший ситчик выбирала, а он с другого, видно, конца отрезал: гнилой оказался.

Редкая хвалилась:

— Вижу, не добиться, наудалую пошла: выхватила у одной тетери, говорю приказчику: «Режь пятнадцать аршин!» А ему что? На аршин — да и ножницами, а та бабенка на меня налетела. Ну, а ей говорю: «Кто зевает, тот воду хлебает».

Мой отец за годы службы в солдатах побывал во многих городах. Он охотно отвечал на вопросы, говорил «при случае», но связно рассказывать не любил и, может быть, не умел.

На вопрос о городе он отвечал:

— На другие города наш не походит. Он вроде самого главного завода. На железе родился, железом опоясался и железом кормится.

Заметив мое недоумение, пояснил:

— Видал, сколько зимой баранины по городской дороге мимо нас провозят, а летом сколько табунов проходит? Обратно каждый, небось, продавец что-нибудь из железка везет. Топоры, пилы, подковы, котлы. И это им — самое нужное. Вот и выходит, что за железом ездили,— попутно свой товар везли. Тоже вон теперь мельниц по Исети много настроили. Думаешь, почему? Не больно у нас хлебная сторона, больше прииски и рудники. Хлеб с других мест привозят, потому как тут железная дорога подошла, а ее ведь за железком провели.

На нашей улице жил дедушка Платон. Он называл себя отставным мастеровым казенных заводов и получал какой-то «пензион». Доживал дедушка Платон свои дни «при внучке», которая вышла замуж за сысертского доменщика Пролубщикова.

Старик смог выдержать тридцать лет военно-каторжной работы на заводе и теперь хвалился:

— Солдатское житьё супротив нашего — вроде разгулки. Потому солдат не каждый день кровь проливает, а на заводе чуть что, ложись! Так исполосуют, еле жив останешься.

О городе дедушка Платон говорил:

— Другого такого по всей нашей земле не найдешь. В прочих городах, известно, всегда городничий полагается и другое начальство тоже, а у нас — один горный начальник. И никто ему не указ, кроме самого царя да сенату. Губернатор ли там, исправник — ему ни при чем. Что захочет, то и сделает. Такое ему доверие дано. Горный начальник тут всеми поворачивал. Строгость была, не приведи бог. Теперь приснится, так испугаться можно.

Потом я узнал, что действительно в «горном уставе» была специальная статья, гласившая, что горное управление, «кроме высочайшей власти и правительствующего сената, ни от кого никаких указов не получает». Горному управлению даже предоставлялось право производства в чины до девятого класса включительно.

В летнюю пору, во второй половине июня старого стиля, городская жизнь отражалась на нашем заводе в виде «трудников» и конских табунов. В это время женский монастырь справлял свой годовой праздник, тогда же проходила конская ярмарка.

«Трудники», чаще всего старики и старухи, проходившие на богомолье, не привлекали ребячьего внимания. Зато прохождение табунов представляло много соблазнительного. Жившие в стороне от Челябинского тракта тогда по целым дням толпились около Зареченского моста, чтоб не пропустить какой-нибудь из проходивших табунов. Взрослое мужское население тоже было неравнодушно к этим табунам, и, кому только можно было отлучиться, все «присматривали из проходящих». Порой кричали:

— Эй, знаком! Продай вон ту гнедую. Во втором ряду, справа четвертая.

Все заранее знали, какой будет ответ:

— Нильзя, друг! Ярманкам гуляй. Город цина давал.

Наиболее заинтересованные пытались урезонить:

— Да что город! Деньги сейчас даю. Сколько просишь-то?

Ответ, однако, оставался неизменным:

— Ярманкам ходи! Город цина давал.

Наседание на табунщиков усиливалось, когда проходил «отборок» — табун иноходцев, и достигало предела при прохождении одномастки. Об этом как-то узнавали заранее, и прилегающие к тракту улицы густо заполнялись зрителями. Стояли часами, боясь пропустить это редкое по красоте зрелище, когда проходило несколько сот лошадей, почти не различимых одна от другой по масти.

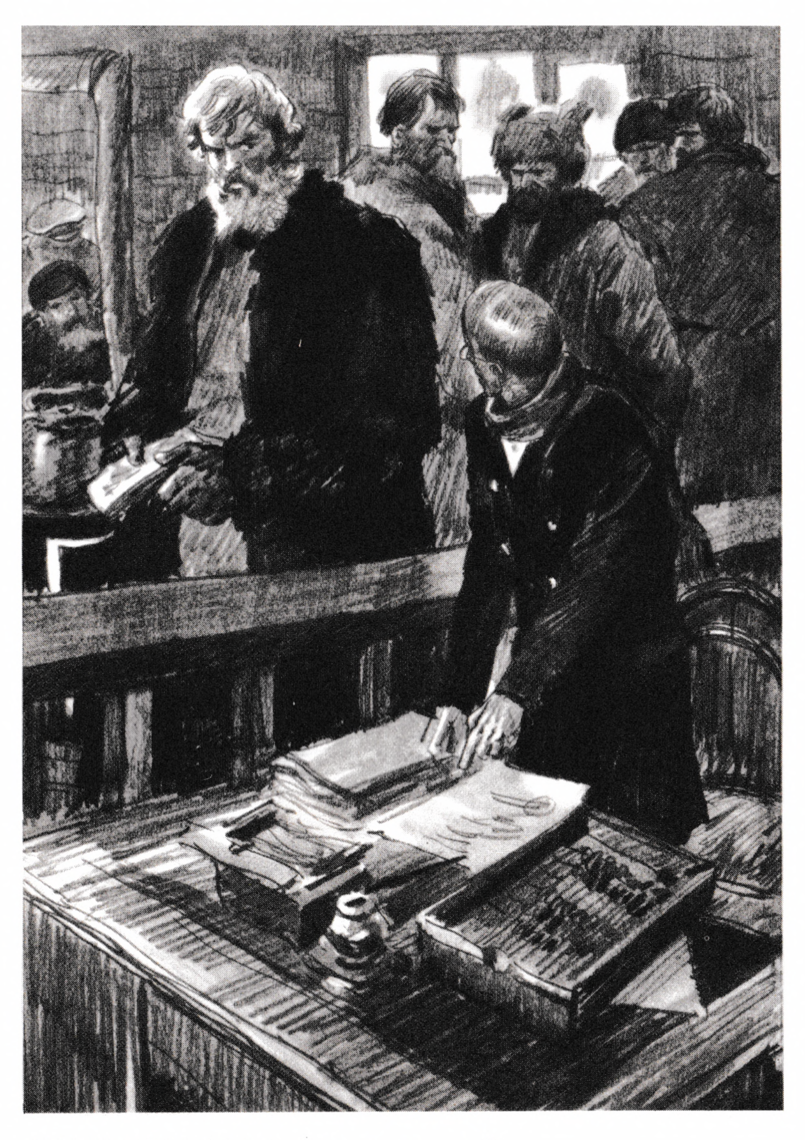
Заводские подрядчики, имевшие деньги и большой азарт, начальство, купцы наперебой соблазняли табунщиков разными обещаниями «продать любую». Было забавно и чем-то приятно слышать, что все эти посулы богатых лошадников разбивались тем же:

— Ярманкам гуляй. Город цина давал.

Нас, ребят, больше всего занимало, кто может в городе купить столько лошадей. После ярмарки опять дежурили у моста, чтобы посмотреть, много ли лошадей пройдет обратно. Но картина была обычно такая: гнали



«УРАЛЬСКИЕ БЫЛИ» («Из заводского быта»)



«УРАЛЬСКИЕ БЫЛИ» («Строительство»)

«махан» — старых, «изробленных» или покалеченных лошадей — с расчетом подкормить в степи и забить на мясо.

Взрослые на вопрос, куда так много лошадей покупают в городе, объясняли:

— Многолюдство же там. Со всех заводов железо туда возят. На одном железном кругу сколь лошадей изводится. На ярмарке эти люди, которые железо возят, вот и покупают лошадку. Где больше свеженькую-то доступишь!

Все эти объяснения казались неудовлетворительными. Каждому из ребят хотелось самому побывать в городе, посмотреть своими глазами. Особенно манила невиданная «чугунка», как тогда даже в учебниках звали железную дорогу.

Мой отъезд в город на учебу был для ребят нашей улицы большим событием. Все давно знали, что Чернобородый, как ребята звали уездного ветеринарного врача Алчаевского, «берется выучить Егоршу в городе», но все же полной веры этому не было.

— Может, еще раздумает. Мало ли большие обещают?

Теперь это определилось окончательно. Ребятам всей улицы было известно со всеми подробностями:

— Завтра Егорша поедет. В десятом часу. С отцом, с матерью. На дедушковом Чалке, в гоглевском коробке. Дрожки-то у них рябиновые. Сам старик Гоглев делал. Качкие! Егорша до городу сам править будет.

По такому случаю накануне были «прощальные игры». Вечером долго засиделся со своими «заединщиками». Петька откровенно завидовал:

— Не к рукам куделя! Мне бы поехать! Это бы так точно. Знал бы, на какое место поглядеть!

Такое хвастовство в обычных условиях встретило бы ожесточенный отпор, вплоть до рукопашного, но теперь воспринималось вяло. Кольша помалкивал, только при прощании сказал:

— Первым делом чугунку погляди и железный круг тоже. Потом расскажешь.

Дома тоже было невесело. Отец, вернувшийся позднее меня, сразу заметил унылое настроение и пошутил:

— Что-то наш городской притуманился. Того и гляди: либо нос зачешется, либо в глаза порошинка попадет.

Бабушка, считавшая эту затею с учебой в городе «немысленным делом», воспользовалась случаем напоследок отговорить:

— Легкое ли дело из своего места в чужие люди поехать. Да еще в этакое страховитое! Я вон восьмой десяток считаю, а в городе только два раза была. Натерпелась страху-то. А тут на-ко что придумали. Десятилетка одного в городе оставить! Наговорил тебе Чернобородый четвергов с неделю. Слушай его! Он хоть и ладный, а все-таки вроде барина. Досуг ему за Егорушкой приглядывать. Да и жена, поди-ко, у него есть. Как еще взглянет?

Видя, что речи остаются без ответа, бабушка переменила прицел:

— Чего молчишь? Не смеешь против грамотейки своей слова вымолвить? Нашептала она тебе?

Перекоры по поводу моей учебы случалось слышать не раз. Обычно бабушка «стращала»: «заблудится», «стопчут лошадями», «оголодает», «худому научат». Мама старалась доказать свою правоту, ссылаясь на пословицы: «Ученье — свет, неученье — тьма», «Без грамоты, как без свечки в потемках» и так далее.

Несмотря на резкий и откровенный вызов, мама на этот раз смолчала, и от этого ей стало еще тяжелее. Отец, привыкший строго держаться принятого решения, даже укорил:

— Радоваться надо, а она реветь собралась!

Обратившись к бабушке, попросил:

— Не встревай, мать, в это дело. Сами не железные. Понимаем, сколь сладко одного парнишку из дому отпустить, а надо. Время такое подошло. Без грамоты ходу нет.

Бабушка махнула рукой и, выходя из избы, проворчала:

— Больно умные стали! Своей крови им не жалко!

По уходе бабушки отец примирительно сказал:

— Старый человек — не понимает.

Мама кивнула головой и подтвердила:

— Жалко ей с Егоранькой расстаться.

Мне приятно, что мама не сердится на бабушку. Чтоб закрепить это, добавляю:

— Это она так. Потом перестанет. Как на рождество домой приеду, по-другому заговорит.

Неожиданно вмешивается отец:

— Ты что это, милый сын? Не успел уехать, а о рождестве думаешь! Этак не годится. Коли за дело берешься, так о нем и думай! Тебя, может, не примут вовсе.

Это напоминание встревожило. Представилась картина экзаменов. И вдруг в самом деле не выдержу? Может, не ездить? Бабушка вон как страшно рассказывает. А чугунку поглядеть? Железный круг? Петька что скажет, коли узнает, что струсил? Эта мысль о петькиной насмешке, помню, была последней в решении вопроса. Больше не колебался. Хотелось только уговорить бабушку, чтобы не плакала и маму не укоряла. Направился к выходу. Отец проговорил вслед:

— Сходи-ко, пошепчись с бабушкой. Надолго ведь разлучиться приводится.

Бабушка оказалась на любимом своем месте, на высоком крылечке амбарушки. Как видно, ждала меня. Крепко прижала к себе и тихонько всхлипнула:

— Ты, Егорушко, не вини меня, старую. Отец с матерью, поди, не худого тебе желают, а только жалко мне, не могу себя сдержать. Вовсе, видно, остарела.

Слова говорились сквозь слезы, но действовали на меня успокоительно. Больше всего меня как раз смущало, что мой постоянный ласковый друг — бабушка была против ученья. Теперь я слышал другое, и это меня радовало. Я стал повторять то, что говорила мама при столкновениях с бабушкой: «Ученье — свет...», «Без грамоты, как без свечки...» И было непривычно, что бабушка соглашалась с тем, что постоянно вызывало ее возражения. Кончилась наша беседа обычно:

— Постой-ко, дитенок, оголодал, поди? Утром затоворопился к ребятам, плохо ел, а обед пробегал. Пойдем, покормлю. Оставлено у меня в печке. Похлебаешь горяченького, да и спать. Завтра хоть не рано выезжать, а все лучше вовремя-то выспаться.

Волнения дня закончились крепким ребячьим сном. Проснулся позднее обычного и был огорчен, что отец уже ушел за лошадью.

Хотел бежать вдогонку, но мама удержала:

— Давненько ушел. Того гляди, подъедет.

Так и вышло. Только выбежал на улицу, как мои «заединщики», стоявшие на углу, закричали:

— Едут, едут! Дедушко тоже. Проводить тебя захотел!

Дедушка, как всегда, пришучивает:

— Вовсе сам надумал учиться. С Егоршей поеду. Поглядим еще, кого примут. Забыл вот только, сколь пятаков в девяти гривнах.

— Восемнадцать,— дружно ответили мы всей тройкой.

— Вишь ты! — сделал удивленное лицо дедушка.— А я считал, без гривенника рубль.

Приезд был сразу замечен по всей улице, и вскоре около нашего дома собралась толпа ребят — моей ровни и малышей. Всем интересно было взглянуть как «Егорша поедет». Для меня тоже это был первостепенный вопрос, заслонивший все остальное. Как-никак надо было выехать не хуже людей, а дедушкин Чалко не отличался честолюбием по части бега, не стремился показывать резвость, да и не по годам ему это было. Даже дедушка, крепко любивший своего старинного друга, не решался приписывать ему беговые качества, называл Чалка «шаговой лошадью». Причем, конечно, давалась сравнительная оценка:

— Которые вон и рысью бегут, да мелко шагают. На то же и выходит. А мой податно идет. Хоть в гору, хоть под гору — ему все едино — на воз не оглянется.

Это была явная неправда. Я хорошо знал, что под гору Чалко любил поскакать козлом, а на гору поднимался охотно лишь с разбегу, а дальше начинались длительные остановки. И хуже всего, что дед отвергал употребление хлыста «для этакой-то лошадки». При таких условиях подумаешь, как быть, а Петька еще наговаривает:

— Припусти, Егорша, мимо Кабацкой-то! Пусть пылью чихнут! Припустишь?

Одна надежда была, что начало пути совпадало с дорогой к дому, куда Чалко шел всегда оживленно. Может быть, хоть этим удастся прикрыться, а то обвинят в полной неспособности к кучерскому делу.

Вторым, не менее трудным вопросом оказалась подушка на кучерском сиденье. Дедушка набил мешок се-

ном и говорит: «Как раз», а ребята смеяться станут: «Маленький, без мяконького ехать не может». Ожесточенный спор с дедушкой кончился вмешательством отца, который дал спору неожиданный поворот:

— Не бойся, не свернешься с подушки. Тихая лошадь, не разнесет.

Мы оба запротестовали. Дедушка напомнил, что Чалко, конечно, шаговая лошадь, но за себя постоит. Я стал доказывать, что нисколечко не боюсь. Отец подтвердил дедушкины слова: «Я и говорю — не разнесет»—и сделал вывод для меня: «Коли не боишься, так и спорить не о чем». Улыбнувшись, добавил: «Дорожные всегда так делают».

Хитрый он. Верно, скажу ребятам: дорожным так полагается. Не поверят, поди? Скажут, что земские ямщики без подушки ездят. Так то ямщики! И тоже на сиденье подкладывают. Во всяком случае подушка меня больше не волновала. Зато выезд не шел из ума. Когда садились «перекусить на дорожку», я успел незаметно сбегать во двор и убрать брошенное Чалку сено: наестся, так и домой не побежит, а ребята скажут: не умею править.

Еда проходила скучно. Даже всегда шутливый дедушка на этот раз наставлял:

— Гляди, Егорша, учись порядком! Слушай, что учителя говорят. Не шали! Наше дело — не барское. С пóтовой копейки учить тебя отец с матерью собираются. Ты это помни! Городским тоже не поддавайся.

Бабушка твердила свое:

— Не бегай далеко от места, в каком жить придется.

Но вот эта тоскливая еда кончилась. Выйдя из-за стола, снова сели — перед дорогой, перекрестились и стали «выноситься». Гоглевский коробок не отличался отделкой, но был сделан хозяйственно, то есть прочно и просторно. Мешочек с моим имуществом, корзина с «подорожниками», мешок с овсом для Чалка, несколько охапок сена «на первый случай» — все это не особенно «стеснотило» моих родителей. Пока дедушка с отцом заворачивали Чалка, я выбежал на улицу, простился «за ручку» с товарищами и услышал последний наказ:

— Замечай в городе-то, как там. Против Кабацкого припусти!

Потом торопливо чмокнул бабушку, подбежал к деду, который ласково похлопал по спине и посоветовал:

— На спусках покрепче сиди! Упирайся в подножку-то, а то холку набьет.

Наступил ответственный момент выезда. Сиденье казалось высоким, ноги едва доставали подножку. Уселся все-таки по полному правилу, подобрал вожжи. Дедушка распахнул ворота, но Чалко оставался совершенно равнодушен к подхлестыванию вожжами. Как видно, он поджидал, когда усядется его хозяин. Меня уже бросило в краску, но дедушка не спеша подошел к Чалку, ухватил его за ухо и громко сказал:

— Не поеду, дурачок, не поеду. Егоршу слушайся!

И было удивительно, что Чалко, встряхивая ухом, сразу пошел со двора. Может быть, он рассчитывал, что при таком кучере скорее доберется до дому. Поворот налево ему пришелся по нраву, второй поворот налево побудил к необычайной для него резвости. Мимо своих исконных врагов — ребят Кабацкой улицы — удалось действительно «пропылить». Жаль — видел это один Трошка Складень, который мог лишь бессильно погрозить кулаком.

Ничего, пусть грозит! Своим-то все-таки расскажет, как каменушенские ездят!

Приятная для меня дорога продолжалась недолго. Вскоре желания Чалка и мои резко разошлись: ему хотелось повернуть направо, к дому, а я изо всех сил тянул левую вожжу. Чалко тогда решил вовсе остановиться и только после того, как к моему понуканью присоединился окрик отца, зашагал дальше, но уже без всякого одушевления.

С этого места мы выехали на Челябинский тракт.

Править лошадью стало гораздо хлопотливее. Хотя день был праздничный, движенье по тракту было довольно сильное. Железной дороги тогда на Челябинск не было, и гужевые перевозки имели полную силу. С заводов, начиная с Каслей, весь металл шел к ближайшей тогда железнодорожной станции — в Екатеринбург. Сюда же шло немало хлебных обозов. Навстречу везли городские товары. То и дело звенели колокольцы. Ехали на парах, на тройках. Земские, запряженные в довольно растрепанные коробки, трусили без всякого блеска. Зато заводские старались «доказать». Особенно запомнилась

тройка соловых при самом выезде из завода. Отец неодобрительно пояснил:

— Каслинский барин. Вишь, задается, а у самого все железо и литье заложено. Мастер лошадей загонять. Не лучше наших дураков. В тот раз у него лошади пали на полдороге к Щелкуну. Пешком пришлось шлепать, а неймется.

Зато Чалко вовсе не желал себя изнурять. У него даже теплилась надежда отделаться от дальней поездки. На повороте к Ильинскому заводу он усиленно потянул опять направо. Когда убедился, что приходится идти дальше, помотал головой, как-то весь вытянулся и, не сглядываясь больше, пошел «возовым», действительно «податным» шагом. Отец, глядя на попытки Чалка, смеялся:

— До чего изнабузулен, стервец! Погоди вот, дотянешь до березнику, пропишу тебе бодрых капель. Вспомнишь, как жеребенком бегал!

По тракту в пределах своего завода мне случалось бывать. Я знал, что от возов и колокольцев всегда надо сворачивать в сторону, а от порожняка — как придется. Если у тебя меньше людей, ты сворачиваешь, если у встречных — они. На деле это оказалось утомительно, но я все же справлялся и был очень доволен. Только когда проезжали по деревне Кашиной, какой-то парнишка моего возраста, увидев, что я держу вожжи в вытянутых руках, насмешливо крикнул:

— Держи, держи, не отпускайся!

Это был, конечно, удар по кучерскому самолюбию. И хуже всего: не нашлось ответного слова. В растерянности оглянулся на маму, но она смотрела куда-то в сторону, хотя я чувствовал, что она переглядывается с отцом и даже как будто слышал отцовские слова: «Чуть маму не закричал».

Раздумывать, однако, было недосуг: дорога продолжала ставить новые трудности. Слева уже крикнули:

— Эй, малец! В которую сторону глядишь?

Медлительность Чалка теперь меня не волновала. Пожалуй, и лучше, что не торопится. Легче было пробираться в дорожной сумятице. Не протестовал даже, когда Чалко норовил встать в хвост попутного обоза. Отец — по давнему с ним условию, чтобы мне самому

до города править,— не вмешивался в мои кучерские права, но все же напомнил:

— Объезжай, милый сын, а то до ночи протянемся. Не с возом мы. Пошевеливай маленько!

Объезд попутных обозов оказался не легким. Тракт не широк, и приходилось хорошо рассчитывать свободную полосу дороги. Кой-где успех зависел от быстроты, а Чалко никак не хотел спешить. Удачнее объезд проходил на спусках, но один раз я тут попал впросак. Обоз как раз остановился перед спуском, слева была свободная полоса дороги. Чалко, побуждаемый понуканьем, подхлестываньем вожжами, разбежался под угор, но тут от обоза закричали:

— Стой! Не видишь?

Довольно далеко виднелась встречная пара, колокольцев не было слышно, но на черной дуге коренника был прикреплен яркий красный лоскут. Справа и слева верховые с ружьями. Запряжены лошади в какую-то вовсе необыкновенную телегу-ящик. За телегой еще трое верховых, тоже с ружьями. У среднего на длинной палке опять красный лоскут.

Сдержать Чалка под гору мне было не по силе. Вмешался отец. Он так осадил, что старый мерин оглянулся: что это?

Пара поднималась в гору не спеша. Кучер, сидевший на каком-то стуле, пристроенном к ящику, не бултыхался на рытвинах, а мягко покачивался.

— Кыштымские, видно,— пояснил отец,— вишь, динамит везут. Много у них идет. По медному-то руднику. Не как у нас, привезут раз на два года.

— Откуда везут?

— Из города, конечно.

— Там делают?

— Это не знаю. Только без нашего города в таком деле не обойдешься. Никому без разрешения горного начальства не дадут, а оно, начальство-то, в городе.

— А может этот динамит бабахнуть по дороге?

— Где, поди! Он в фунтовых жестяных коробушках. Каждая войлоком замотана, да еще между рядами войлок, и телега на рессорах. Какой может быть удар?

Продолжая мысль, отец добавил:

— Наши вон до чего додумались! В склад в сапогах не допускают. Велят пимы либо плетухи надевать.

А так это, для одной видимости, чтоб горной страже дело придумать. Другого боятся.

Тут вмешалась мама:

— Будет тебе набивать парнишке голову чем не надо!

Отец принял совет и с усмешкой спросил меня:

— Слышал, что мать говорит? Сперва, дескать, подрасти надо, а дальше сам разберешь.

Это, разумеется, показалось обидным, но передышка кончилась. Приходилось опять поворачивать направо, налево, выглядывать прогалы для объезда, дергать, подхлестывать вожжами и покрикивать: «Но-но! Пошевеливайся!»

Сказать по правде, все это порядком прискучило, но нельзя было сдавать, если сам выпросил. Проехали еще только одиннадцать верст. Об этом говорил не только верстовой столб, но и «граневая просека». Здесь, в этой части дачи, кончались владения Сысертского округа, начиналась казенная дача. Отец по этому поводу заметил:

— По другой земле поехали. Тут люди свой хлебушко жуют, не как у нас все с купли.

В посессионной даче Сысертских заводов, где я рос, вовсе не было пахотных наделов. Хлеб на корню мне до этого случалось видать лишь в деревне Кашиной, которая когда-то была со своими наделами заверстана в заводскую дачу. Были хлебные поля и по другим деревням, приписанным к заводам, но в тех деревнях мне не приходилось бывать.

Разговор о своем хлебе растревожил моих родителей, и после недолгого совещания они решили ехать стороной — через Шабры и Пантюши. Мотивировалось это желанием поглядеть нынешние хлеба. Желание было понятно мне, так как давно слышал немало разговоров о «своем хлебе» и об «уставной грамоте». По этой «уставной» будто бы и нашим заводская земля выйдет. Правда, многие после долгих лет тяжбы с заводоуправлением перестали этому верить, но все-таки мечта о своем хлебе была распространенной. Нашли, как водится, и другие доводы, чтобы изменить путь:

— Дорога помягче. Крюк небольшой, а ехать спокойнее. Егорше передышку дадим, а то он замотался на тракту-то.

Разумеется, я говорил, что мне вовсе не трудно, что могу ехать по тракту сколько угодно, но втайне желал перемены.

По проселочной дороге ехать оказалось приятнее и много спокойней. После недавних дождей она была «в самый раз»: уже просохла, но еще не сильно пылила. День, с утра казавшийся хмурым, теперь повернул на ведро. Было даже жарко, но все же чувствовалось, что это осень.

Чалко по каким-то своим лошадиным соображениям относился к перемене дороги тоже благожелательно. Без всякой погонялки он затрусил рысцой и удивил отца:

— Смотри-ка ты, разошелся! Эх, Чалко, в руки бы тебя! С хозяином вместе!

Мама, недолюбливавшая своего отчима, моего милого дедушку, на этот раз заступилась:

— Старики ведь оба.

Отец не соглашался:

— Хоть и старики, да дюжие. Есть с кого спрашивать. У одного руки золотые, у другого ноги не порченые.

Эта часть пути осталась в памяти как самая приятная. Поля, правда, здесь были не особенно обширны, часто перемежались перелесками, но все же это были хлебные поля, которые мне пришлось видеть по-настоящему в первый раз. Рожь уже везде стояла в суслонах, пшеница и овес убраны наполовину. По случаю большого праздника людей не видно, и это мне кажется лучше. Люди не отвлекают внимания от широкой картины однообразных и в то же время очень разных по освещению полей. Это же, видимо, захватило и взрослых. Долго ехали в полном молчании. Первым заговорил отец:

— Овсишки небогатые, а все-таки хорошо. Хоть бы вот такое полечко! Веселей бы жить-то!

Мама согласилась, и беседа у них сразу перешла к уставной грамоте: когда она будет? Пошли слова, которые я не раз слыхал:

— Нашли ходатая — дворянина! Он по-дворянски и поступает: с общественников деньги берет, а барину служит.

— Доверились тоже Арсенку! Мужик, дескать, самостоятельный, а есть ли у него на пятак совести?

И не скажи! В тот раз мы с Ильюхой еле отбились на сходке, как про арсенкину совесть речь завели.

Вспоминая это первое впечатление от хлебных полей, разговор родителей о своем «полечке», постоянные толки об уставной грамоте, задумываешься, в чем же все-таки была тут сила.

Ни отец, ни мать, ни их деды и прадеды сельским хозяйством не занимались, навыков в этом деле не имели. Откуда же у них, как и у большинства заводских рабочих того времени, эта мечта о своем клочке пахотной земли? Принято думать, что здесь действовало желание с помощью этого клочка получить хоть тень независимости от заводоуправления. Может быть, так и было. Но едва ли это было единственным.

Привыкшие по-деловому оценивать все факты жизни, рабочие видели, разумеется, что в ближайших горнозаводских деревнях при ничтожности наделов никакой независимости не получалось. И если рабочие все-таки продолжали упорно, в течение уже трех десятков лет, добиваться пахотных наделов, то здесь, думается, действовала и другая сила. Та самая, что тянет каждого из нас, независимо от его специальности и привычек, «покопаться» весной в земле и что-нибудь посадить. Как видно, двести лет работы в горе, у печей и прокатных станов не погасили более древние навыки народа-хлебороба, который на всем необъятном просторе нашей страны первым делом заводил свою пашню и умел эту пашню отстоять от любого врага.

Приятная и самая легкая для меня часть дороги кончилась выездом на тракт, уже за Арамилью. Началась опять дорожная сутолока, но встречный поток к вечеру заметно убавился. Ехать было не так хлопотливо. Объездной дорогой миновали Новый завод, как тогда звали Нижне-Исетский, в отличие от старого — Верх-Исетска. Отец пренебрежительно махнул рукой в сторону завода:

— Казна — ведро без дна! Сколько ни сыплют, а толку нет. У нас хоть видишь, кого сверх головы кормишь, а у них и этого не разберешь. Чиновник мелконький, а расход большой. Поговаривают, вовсе закрыть завод собираются, а рабочие хлопочут, чтоб им отдали. Своей артелью хотят дело поднять, как на Абакане, да где, поди! Капиталов нет, подняться нечем.

Тем, сказывают, и живут, что город близко. От него и питаются, кто чем умеет.

Когда подъезжали к Уктусу, встречных почти не стало, зато ближе к городу встречный поток принял вид беспрерывной вереницы. Но это уже были не «дорожные», а выехавшие на прогулку. Щегольская запряжка, показные лошади, нарядные пассажиры, кучера в невиданной мною форме — все это казалось необычным, требующим разъяснения. Отец ответил предположительно:

— Гулянье, видно, какое-то в Мещанском бору. Видишь, туда правятся.

У нас в заводе большинство знает друг друга. С детства нас приучали кланяться старшим при встречах. Этот обычай соблюдался и при встречах в лесу, в поле, на дороге. Были разные формы приветствия. Когда, например, встречаешь или обгоняешь за пределами селения, должен сказать: «Мир в дороге». Если люди расположились на отдых или сидят за едой, тоже за пределами завода, надо говорить: «Мир на стану», а если просто разговаривают: «Мир в беседе», и так далее. Весь этот ритуал я знал хорошо и дорогой не забывал снимать свою шапку-катанку и говорить нужные слова. Мне отвечали по-честному, без усмешки. При встрече с непрерывной вереницей горожан снимание шапки стало затруднительным, но я все-таки старался с этим справиться. Однако мне не отвечали, улыбались, а один какой-то, ехавший в блестящей развалюшке, как у нашего заводского барина, с кучером в удивительной форме, закричал:

— Здравствуй, молодец! Поклонись от меня березовому пню да сосновому помелу, а дальше, как придумаешь! — и захохотал.

Обескураженный насмешкой, я обернулся к отцу, а он посмеивался:

— Научил тебя городской, кому кланяться? То-то и есть. Тут, брат, всякому кланяться — шапку скоро сносишь. Да и не стоит, потому — половина жулья. Этот вот, может, на гулянье едет, чтоб кого облапошить. А тоже вырядился! Извозчика легкового нанял. Знай наших!

— Какого извозчика?

— А вон видишь, которые в долгих-то кафтанах да с лаковых шляпах. Их сколько угодно по городу. Кому

понадобится, тот и нанимает. За гривенник либо за пятиалтынный и больше, по дальности глядя.

— Хоть кто может нанять? И повезет? В этакой развалюшке?

— Да хоть ты поезжай. Им все равно. Тем кормятся.

— Богатые?

— Вроде нашего брата. На хлеб, на соль добывают, а на приварок как случится.

— А кони вон какие, и развалюшки блестят! Дорого ведь стоят?

— Без этого номера не дадут. В извозчики, значит, не пустят. Есть, конечно, и такие, которые не по одной запряжке содержат. Эти, понятно, наживают, от себя работников нанимают. Извозчичьи, выходит, подрядчики. А у работников своего только и видно, что борода да руки.

Выходило вовсе неожиданное. Оказывается, все эти замечательные запряжки — просто извозчики, которых может нанять всякий. И среди них есть совсем бедные люди, на которых все хозяйское. Разберись тут! Во всяком случае интерес к извозчикам потускнел, да и остальной городской люд как-то перестал казаться внушительным.

Приближался город.

С южной стороны он тогда начинался по линии нынешней улицы Фрунзе. Тогда это была еще одинарка, обращенная в сторону просторного выгона с пожелтевшей, пропыленной полянкой.

Вправо от дороги, ближе к реке, виднелись здания, похожие на заводские.

— Посудное заведение тут,— пояснил отец.

Слева к городу вплотную примыкал сосновый бор, такой же, как у нас.

Город удивил своей величиной и обилием церквей. Потом я узнал, что по размерам города число церквей было не особенно велико, но тогда это казалось мне огромным. Заметней всех других зданий с этой стороны был монастырь. Его собор с широким куполом издали походил на большой башкирский малахай, поставленный среди сада.

Над этим куполом поднимался другой, еще более огромный, не с такими ясно очерченными линиями, но все

же вполне заметный,— купол мелкой пыли, высоко поднявшейся над всем городом.

Подъезд к городу был удобен. В ряд с трактом, на широкой поляне вилось множество мягких дорожек — выбирай любую! Все эти дорожки сходились к одной улице, и я без труда мог решить вопрос, как лучше ехать. Вечер был ясный, тихий, но чувствовался какой-то «смрадный дух». Иногда он становился заметнее, иногда ослабевал. Мама по этому поводу проговорила:

— И как там люди живут!

— Это еще что! — отозвался отец.— Вот когда по Полевской дороге поедешь, так нанюхаешься. С непривычки человека стошнить может. Мимо боен-то да салотопок. А живут! Привыкли. Им нипочем, что кишки на дороге валяются. Воронья, видишь, сколько в той стороне кружится, а все из-за неряшества. В других-то местах, говорят, все это подбирают да в дело пускают.

Так вот какой город! Пыли шапка, на подъезде стошнить может, и в людях не разберешься. Думаешь, барин, а вовсе он за гривенник нанял человека, у которого из своего видно только борода да руки.

Столбов заставы в этой части города не было. Около углового дома на левой стороне улицы длинные коновязи. На крыльце шумливые люди. Сразу видно, кабак. О нем я слыхал еще в своем заводе. Там частенько поминались два пункта: «Селетихин трактир» и «Семеновская ловушка». Обыкновенно это связывалось с семейной бедой: «Раздели у Селетихи», «Обдурили у Семенова», «Выманили остатнее», «Угнали лошадь» и т. д. На параллельной Уктусской улице, по которой был выезд на Полевскую дорогу, орудовали два таких же предприятия. В Полевском мне случалось слыхать точь-в-точь такие же жалобы, только прославлялись иные имена: харчевня Корякова да «Столярихина ловушка».

Чалко сделал было попытку присоединиться к лошадям, стоявшим у коновязей Селетихина трактира. Мама с отцом перемолвились: «Привычно, знать, место». Вот! Всегда они так! Подсмеиваются над дедушкой, а он вон какой славный. Все ребята мне завидуют. И Чалко тоже хороший. А что бабушка теперь делает? Плачет, поди. Петька говорит: «Я сразу оглядел бы!» Огляди, попробуй! Вон какой большой город! И мысли окончательно повернулись к городу.

Первый квартал ничем не отличался от нашего заводского. Такие же домишки. Один побольше, другой поменьше. Даже почва такая же, как по нашим улицам: тоже синий ребровик выглядывает. Второй квартал оказался каким-то однобоким. На одной стороне такие же маленькие дома, а на другой — огромный пустырь, огороженный редким реечным забором. Через пустырь, как поднесенный, виден монастырь — с каменной оградой, по-осеннему пестрыми деревьями и сосновой рощей. Над купой церквей и зданий господствует собор. Тот самый, что издали показался мне похожим на башкирский малахай. Сходство и теперь оставалось, но другого малахая — из городской пыли — уже было не видно: мы в него въехали.

При спуске с горы заметил один старый, вросший в землю дом с сизыми стеклами, на том месте, где теперь живу свыше тридцати лет. Пренебрежительно оценил:

— Тоже дом! В город поставили! У нас на Пеньковках лучше есть!

Впоследствии узнал, что это была «работная изба» в то еще время, когда эта часть города называлась Заимкой и представляла пригород с салотопными, бойней и мыловаренными заводами. Словом, со всем тем, что теперь отодвинуто на Полевскую дорогу и от чего «человека стошнить может».

После спуска с горы собственно и начался город. Здесь уже была замощена средняя часть дороги. Это одинаково не понравилось ни мне, ни Чалку. Гремит, трясет, ногам твердо. Поэтому мы без всякого сговора выбрали мягкую обочину. Пыли тут было уже много.

Особенно удивил меня целый квартал каменных домов при выходе улицы на Александровский проспект.

Эти каменные дома с невиданными раньше колоннами, с тротуарами из широких плит привели в полный восторг.

Вот это город! Это дома! Кто только живет в них?

Как будто в ответ на этот вопрос из ворот дома с круглыми колоннами вылетел рослый вороной жеребец, запряженный в какую-то необыкновенно легонькую «штучку». Кучер тоже в чудной шапке с пером, в плисовом кафтане без рукавов показался мне просто великаном. Сидел он высоко над лошадью. Сиденье экипажа

занимал на удивленье толстый человек с обвислыми щеками. Одет он был, по-моему, гораздо хуже кучера.

— Кто это?

— Откуда мне знать. Может, хозяин этого дома. Может, в гости какой приезжал. Много их, таких-то, жируют тут.

— А почему у кучера рукавов нет?

— Для моды, видно.

При выезде на пересекавшую улицу впечатление нового не ослабело. Справа красивый каменный мост с чугунными перилами между каменных столбов, налево прямая широкая улица — Александровский проспект. Он замощен уже во всю ширину. Это и понятно, так как здесь проходил Сибирский тракт. Движение тут и по вечернему времени было сильное. Стало хлопотливо. Не без моего попустительства Чалко встал в хвост обоза и зашагал не торопясь. Это позволило мне глазеть по сторонам и удивляться.

Отец, не перестававший знакомить меня с городом, указав на мост, проговорил:

— Там вон, за мостом-то, квартал только подняться, и будет Конная площадь, куда лошадей-то приводят.

Мне, разумеется, захотелось сейчас же «хоть одним глазком взглянуть» на эту площадь, но мои родители дружно заговорили, что ехать еще далеко, время к вечеру, заворачиваться на тракту трудно.

Из этого убедительней всего мне показался последний довод. Мама еще тревожилась, застанем ли мы Алчаевского, к которому ехали.

— Сам-то он, конечно, принял бы и все бы разъяснил, а вдруг уехал по участку? Его-то хозяйке какое до нас дело!

Отец не разделял этих опасений.

— Не такой человек. Твердо сказал: «Приезжай в Успенье к вечеру. Обязательно дома буду». Так и сделает.

После этого разговора я все же стал усиленно причмокивать на Чалка. Ему город меньше всех нравился. Шагать по камню, да еще в гору было совсем неприятно. Еле тащил. Отец мне напомнил:

— Егорша, ты где?

Меня тогда занял опять какой-то пустырь. Он тоже тянулся по улице с угла до угла и вглубь не меньше

половины квартала. На одном из углов было видно полуразрушенное здание, похожее на склад. Через обветшалый забор, местами совсем свалившийся, видны были два небольших озерка. По одной стороне забора ряд старых берез, ближе к озеру плотная группа деревьев более молодого возраста, но садом все-таки это место назвать не приходилось, так как деревья занимали очень небольшую площадь. На вопрос, что это, отец ответил:

— Видишь, пустоплесье какое-то. Они тут любят такие штуки делать. Захватят место, да и ждут, пока земля подорожает. Тогда продают. Ловкачи ведь! А ты все-таки пошевеливай, пошевеливай! Потом про этот пустырь узнаешь.

Так и вышло. Года через полтора мне пришлось хорошо ознакомиться с этим Верходановским садом, получить не один выговор за плавание на самодельных плотиках по озеркам в весеннюю пору, на них же покататься зимой на коньках, перелазить по старым березам и особенно по молодым липкам. Но это было потом, а пока приходилось подхлестывать Чалка, который все равнодушней и равнодушней становился к поездке. Находил, что давно пора отдохнуть.

С Александровского проспекта повернули на Уктусскую улицу. Она в этой части тоже была замощена, но обочины здесь оставались широкие и вовсе пыльные. Продолжали удивлять пустыри. В квартале справа и слева были заняты домами лишь углы, а вся середина, огороженная тесовым забором в каменных столбах, была под огородами, где росла только капуста. Таких огромных огородов мне еще не случалось видеть. Мама позавидовала:

— Хорошая у матерей капуста, а семена продают худые.

— Ну, так ведь не зря говорят: у монастырок совесть по их одежке — черная,— отозвался отец.

На следующем углу стояло заметное каменное здание в три этажа.

— Вроде скворечника,— определил отец.

Действительно, дом был какой-то необычайный. Как видно, здесь сказывалось несоответствие между высотой и площадью пола. Чтобы представить себе это здание, надо иметь в виду, что в среднем этаже было

только четыре классных комнаты, каждая не более как на сорок человек. Узкие окна усиливали эту общую неслаженность здания. На одном из углов надпись: «Екатеринбургское духовное училище». То самое место, куда я ехал учиться.

На противоположной стороне улицы тоже каменное белое здание, более прочно стоявшее на земле, в два этажа, с мезонином, имело надпись: «Екатеринбургское городское училище».

Все это было мне интересно, но стал занимать другой вопрос. Видел монастырь, проезжал мимо архиерейского сада, видел квартал богатых домов, пустыри, монастырские капустники, два училища, а где железо, железный круг, чугунка, гостиный двор, магазины?

Оказалось, к этому лишь подъезжали: мостовая кончилась. Дорога вышла на Хлебный рынок. Там стояли ряды деревянных лавок, где торговали зерном и мучными товарами, тут же раскинуты палатки с продажей яблок. Против Хлебной площади Уктусская улица шла одинаркой, по которой виднелось много вывесок. Одной из первых оказалась та самая лавка, о которой много говорили в нашем заводе. Это был небольшой каменный склад, над которым значилось: «Продажа металлов Сысертских заводов гг. Соломирского и наследников Турчанинова». На дверях более крупно, с расчетом, видимо, на другого читателя: «Железо кровельное, шабальное, шинное, подковное и поделочные обрезки». Через несколько домов такой же склад Кыштымско-Каслинских заводов, с тем же порядком надписей. Сверху подробно название округа с перечнем владельцев, а на дверях: «Сковородки, вьюшки, заслонки, печные дверки». Еще дальше вывеска Сергинско-Уфалейских. Сверху титул, снизу: «Проволока, гвозди».

В этом же квартале еще несколько лавок, где торговали изделиями из железа. Неожиданным показался угловой многооконный дом. На крыше с одной улицы на железных листах было написано выпуклыми, позолоченными буквами: «Продажа соли», а с другой улицы такими же буквами: «Графа Строганова». Такую замечательную вывеску я видел впервые, и она запомнилась навсегда. И теперь, проходя мимо этого домишка, невольно вспоминаешь о ней и удивляешься жалким масштабам прошлого.

Дальше шли мучные ряды. Еще дальше гостиный двор, который назывался «новым», а на углу Уктусской и Главного проспекта старый гостиный двор. Тяжелое сооружение, с навесом на неуклюжих каменных столбах. Торговли уже не было, и оба здания гостиных дворов казались угрюмыми.

Здесь с Уктусской улицы повернули на Главный проспект — лучшую часть города. Окрашенная в голубой цвет церковь, обнесенная довольно тесной оградой с чахлыми деревьями, не привлекла внимания. Церковь как церковь. Не лучше наших заводских. Но вот дом с лепными украшениями — это да! Ничего похожего не видывал. И вывески тут какие-то необыкновенные: «Жорж Блок», «Барон де Суконтен», «Швартэ», а сверху какой-то неведомый «Нотариус».

Сама по себе эта главная улица была непохожа на остальные. Посередине обсаженная деревьями дорожка для пешеходов.

В начале каждого квартала, у прохода на эту дорожку, с той и с другой стороны небольшие лавочки, около которых толпится народ. Пьют «кислые щи», «баварский квас», ребята отходят с разноцветными трубочками, в которых, как я вскоре узнал, продавался мак с сахаром. Маковушка стоила от одной до трех копеек. Около лавочек прохаживался или стоял городовой. Эти постовые набирались из внешне видных людей, и все четверо, которых я видел в тот день, показались огромными и страшными. На этой же части пути увидел вывеску: «Продажа металлов... графини Стенбокк-Фермор». Мудреную фамилию запомнил со всей цепкостью ребячьей памяти. О графах и графинях мне случалось читать немало интересных книг. Там графы совершали самые удивительные подвиги, а графини с необыкновенными волосами, лицами, глазами страдали, пока графы окончательно не освобождали их. Здесь, оказывается, граф торгует солью, графиня — железом. Соляной граф, да еще с такой фамилией, как Строганов, укладывался в голове, а графиня — никак. Казалось, что она не сумеет торговать ни подковным железом, ни даже обрезками. Отец был этого же мнения.

— Смотри-ка ты, наши все-таки умнее! На бойком месте торгуют, а эта графиня придумала под самым своим заводом лавку поставить. Кто у ней тут купит?

На выезде из города подивился столбам заставы с орлами наверху. Посмотрел на уходившие вдаль аллеи берез по обеим сторонам Московского тракта и направил Чалка по дороге в Верх-Исетск. Здесь было совсем родное, заводское. Дорога была такой же, как у нас на Вершинки: сделана подрудком и горным песком, дававшими красноватую пыль. Необычным казались лишь пешеходные дорожки справа и слева, тоже обсаженные березами. На середине этой дороги Верх-Исетский госпиталь, белое каменное здание, показавшееся мне тогда очень красивым. Ипподром, который впоследствии доставил мне немало неприятностей, тогда не заметил. Подумал, что это опять какой-то большой пустырь, только обнесенный хорошим забором.

В Верх-Исетске без затруднения отыскали квартиру Алчаевского. Он оказался дома и принял приветливо. Указал, где поставить лошадь, где брать воду, сходил к хозяевам, попросил, чтобы на эту ночь не спускали цепную собаку. Иначе незнакомому человеку нельзя будет выйти ночью к лошадям. Когда все это было устроено, повел нас в квартиру.

Жена Алчаевского, молодая красивая женщина, тоже отнеслась приветливо, но детское чутье подсказало, что делается это в угоду мужу, а своего интереса к нам у ней нет.

Квартира у них, по моей мерке, была огромная: весь верхний этаж да еще кухня в нижнем. А жили только двое вверху и кухарка внизу.

Пока «собирали на стол», Алчаевский увел нас с отцом в свою комнату. Я никогда даже думать не мог, чтоб в одном доме было столько книг. Полный шкаф «за стеклом», полки стоячие, полки висячие и огромный ворох в углу. Книги же лежали на всех столах и даже на некоторых стульях. Кроме книг, было много других занимательных вещей. Волчья шкура, у которой целиком оставалась голова с оскаленными зубами,— даже страшно немножко. Лосиные рога на стене. Тут же ружье и большой кинжал. Наверно, у Аммалат-бека такой был! На столе какая-то машинка со стеклышками. Как потом узнал, микроскоп. Рядом куски руды, какие-то кости на огромной книжище с застежками. Через открытую дверь в соседней комнате видны две кровати, закрытые чем-то необыкновенно красивым.

Алчаевский, усадив отца около своего стола, открыл большую резную коробку с папиросами:

— Покурим, Василий Данилович.

Отец, всегда куривший махорку из трубки, на этот раз взял «дамскую», и мне это показалось забавным. По-городскому курить стал!

Разговор у них завязался оживленный, но мне он был мало интересен. Опять пошла уставная грамота, уполномоченный Дроздов, ходатай Эйсмонт.

Предоставленный себе, я прохаживался из комнаты в коридор, и мне было видно, что мама передавала хозяйке узорные чулки своей работы и ленту широких кружев, которые я недавно видел на ее коклюшечной подушке. Работа, как видно, понравилась, и мама уже показывала какую-то обвязку. В привычных руках работа шла ловко и быстро, и хозяйка с удивлением отмечала: «Уж больше четверти». Наконец появилась кухарка, которую хозяева звали Парасковьюшкой. Она принесла самовар и разную еду. Появился объемистый графин. Меня все-таки этот стол не интересовал. Чувствовал, что слипаются глаза. Алчаевский пытался тормошить меня, задавал смешные задачи: сколько останется, если из бороды вырвать три волоска, можно ли купить на полтинник три пуда сахару? Но глаза продолжали слипаться.

— Ложись тогда на волка,— решил Алчаевский и принес подушку и покрывашку. Ложиться на волка с оскаленными зубами в других условиях, может быть, показалось бы страшноватым, но теперь это прошло без раздумья. Поспешно разделся и, укладываясь, видел смыкающимися глазами бесформенный туман, в котором потом явственно вырисовались дорога, встречные обозы, шумная тройка. На обочине дороги, на раскинутых цветных одеялах сидела графиня с распущенными волосами и на маленьких золотовесных весах развешивала железо, а кругом люди смеялись: «Не умеет, не умеет!»

На другой день с утра пешком отправились в город. Мои экзамены заняли не очень много времени. За экзаменаторским столом сидели люди в рясах и необычных сюртуках без переду, но со светлыми пуговицами. Было страшно, но спрашивали все-таки не строго, и было удивительно, что некоторые мальчики путались или вовсе не отвечали.

Мне пришлось написать две фразы «на миры» — «который с точкой, который без точки». В этих грамматических «мирах» я разбирался свободно, доска была свежей покраски, мел хороший, и я не забыл в конце каждой фразы «выкрутить» очень осязательную точку. Со стуком решил задачу. После этого заставили читать, но, по-моему, бестолково: начнешь в одном месте, сейчас же перелистнут: «А ну, тут». Молитвы и заповеди рассыпал горошком, а когда стал разделывать историю какого-то судьи, один из экзаменаторов пошутил:

— Так его! Круши с навесу, чтоб не встал!

Шутка, видимо, хорошо отражала мой ребячий азарт, и все засмеялись. Сидевший посередине инспектор, очевидно, чтоб не смутить новичка, сказал:

— Хорошо. Принят. Завтра приходи на уроки к девяти часам,— и пояснил остальным: — Из светских он. Отец у него простой рабочий.

Инспектор, а не понимает! Какой же простой, коли тятя с Ильей Гордеичем — самолучшие мастера! По всему заводу! А по сварке никто против него не выстоит.

Уходя от стола, слышал, как экзаменатор, пошутивший над моим ребячьим азартом, проговорил:

— То-то и есть. Светские чекалят, а у своих каша во рту застыла. Чуть получше мальчишка, так его либо в гимназию, либо в реальное сдают.

Выбежав в коридор, где толпились родители экзаменуемых, рассказал своим, что говорил инспектор, и склонен был «позадаваться» своим успехом. Отец погладил меня по голове, но повернул разговор в другую сторону.

— Александр Осипыч, конечно, хороший учитель. Ученики у него, небось, не хуже других. Как вот здесь учиться будешь?

Выходило, что я вроде и совсем ни при чем. Это, разумеется, было немного обидно, как и то, что на экзамене не дали договорить до конца. Но что поделаешь? Большие всегда так.

После экзамена хотелось побродить по городу, посмотреть вблизи то, что вчера успел заметить лишь проездом, главное, пробраться к чугунке и железному кругу. Но отцу надо было в тот же день уезжать домой, и он наотрез отказался, даже укорил:

— Что ты, милый сын! Неужели не знаешь, что нам с матерью поторапливаться надо? На один-то день едва подменщика нашел. Время, сам знаешь, осеннее. У всякого по хозяйству дела много. А мне надо еще Евплычевых ребят повидать, да камешок вот велели Мише Поздневу завезти. Знаешь, который на Безносого-то тешет? Хоть на пути он живет, а все время понадобится. Чалка тоже нельзя задерживать. Дедушке надо до ненастья сено с Габеевки выдернуть.

Мне было приятно, что отец по-серьезному говорит мне о своей занятости. Евплычевых «ребят», из которых один — Иван Михайлыч — был уже с седыми висками, я хорошо знал. Терминология камнерезов мне была тоже известна. Я знал, что «тесать на Безносого» значило работать на подрядчика Трапезникова, который занимался памятниками, плитами и другими могильно-каменными изделиями из мрамора; «ворочать на Корявого» значило работать по мрамору же, но на другого подрядчика, который наряду с памятниками занимался продажей бытовых вещей, главным образом умывальников. «Корпеть на Нурова, Лагутяева, Липина» — означало огранку самоцветов и мелкие изделия из цветного камня.

При таком положении мне оставалось только спросить:

— Какой камень?

Отец достал из кармана небольшой кусок сургучной яшмы.

— Вот этот. Чем-то, говорят, он замечателен. А Миша ведь в яшмоделах-то считается на славе. Ему и велели передать.

Осмотрев с видом знатока камень, я признал его стоящим и в то же время вынужден был примириться с мыслью о близкой разлуке со своими родителями.

От училища мы пошли на Щепную площадь, чтоб купить там сундучок. Здесь тогда были лабазы с просторными навесами, под которыми выставлялся такой товар, как телеги, кошевки, санки и горки сундуков. Помню, меня удивило, когда увидел в щепном товаре также зеркала и обои. В одном месте ожесточенно рядились около ямской телеги. У других лабазов народу было не видно. Только ходила группа женщин, «присматривавших горку для невесты».

Мы не задержались на Щепной: цена на маленькие сундучки была определенной, рядиться не приходилось. Купили окованный в полоску зеленый сундучок и двинулись дальше. Шли на этот раз по прямой — к толкучке на Коковинской улице. Там тоже были ряды лавчонок с небольшими навесами, где болталось разноцветное тряпье: пояски, ленточки, платочки. Здесь выбрали мне картузик: моя шляпа-катанка не подходила для города. А жаль! Хорошая шапочка была. Если ее развернуть до конца, так до плеч закрыться можно. И воду черпать ею можно. Но против покупки картузика не возражал. Еще бы! Было приятно, что продавец говорил мне, примеряя фуражки: «Молодой человек».

Народу на этой площади было гораздо больше, особенно там, где продавали вещи с рук. Площадь эта была маленькая по сравнению со Щепной, которая показалась мне огромной. Дороги, выходившие на эту площадь с трех улиц, сходились в одну «лаженую» около лабазов. Конное движение здесь было сильное, так как тут «спрямлялся» Сибирский тракт. Этим, вероятно, и объяснялось, что именно здесь «на ходу» открыли торговлю колесами, оглоблями, телегами, а потом она захватила и домашние вещи. Этим же, вероятно, объяснялось, что на улицах между нынешними улицами Малышева и Куйбышева, сплошь помещались постоялые дворы. На этих же участках города содержалась ямская гоньба. Самыми заметными из этой ямской группы были двое Субботиных. Были ли они родственниками, или просто однофамильцами — не знаю, но отлично помню, что «сведущие», из таких, которые ныне любят показать свои познания в марках проходящих машин, тогда определяли: «Егора Субботина запряжка», «Степана Субботина кони», «На вольном каком-то пробирается».

Участки улиц с постоялыми дворами и ямской гоньбой к концу зимы покрывались таким толстым слоем навоза, с которым мог соперничать разве Хлебный рынок. В весеннее и осеннее ненастье здесь трудно было пройти пешеходу. Хотя Щепная площадь имела явно выраженный скат с запада на восток, она была не проканавлена и местами тоже трудно проходима. На том месте, где теперь приходится северо-западный угол стадиона, бил ключик, а рядом с ним «зыбун», на котором ребята не без удовольствия качались. Иногда зыбун да-

же оказывался яблоком раздора между отдельными ватагами, хотя оснований для битв и не было: зыбуна на всех хватало.

Проходя первый раз по Щепной площади, я, разумеется, ничего этого не знал и удивлялся жалкому виду Волчьего порядка, который со своими покосившимися домами приходился на заболоченной низине площади.

— Тоже город называется. Дома-то вон как исковеркало!

Отец по этому поводу заметил:

— По-всякому и в городе живут; не думай, что все на рысаках ездят.

Из зданий, выходивших на Щепную площадь, заметил тогда лишь Нуровский приют, двухэтажное каменное здание на том месте, где ныне выстроено здание геологического музея. При доме, как водилось для учреждений такого порядка, была домовая церковушка. Было бы где призреваемым помолиться за «благодетеля».

Мне потом случалось много раз проходить мимо приюта приблизительно в одни и те же часы, и я неизменно слышал одну и ту же песенку:

Клубок катится,
нитка тянется...
Клубок дале, дале,
нитка доле, доле...

Через окно было видно: в большой комнате сидит человек сорок девочек в платьишках серо-грязного цвета, ковыряются над большими полосами белой материи и без конца тянут свою тоскливую песенку. Это запомнилось на всю жизнь, как самое унылое. И хотя я тогда был еще в поре мальчишеского презрения к девчонкам, этих нуровских приюток мне было жаль.

После толкучки наши пути разошлись. Отцу надо было разыскать «Евплычевых ребят», которые жили на Амуре, через дом от пивной Филитц. Адрес, конечно, не совсем точный, но найти все же можно. Меня удивляло, почему «Евплычевы ребята» живут в таком «худом месте», о котором в заводе говорилось всегда в связи с жульничеством и пьянством: «Обчистили на Амуре», «Пропился на Амуре», «Зачислился в золотую роту на Амуре» и прочее в этом роде.

На мой вопрос, почему Евплычевы живут на Амуре, отец скупо ответил:

— Не то что на Амур, а и в тюрьму люди попадают, да чести не теряют.

Маме хотелось повидать свою «сведенную» сестру, которая была замужем в городе. Мне было известно, что ее муж «сам печатает книги и газеты». Понятно, что такой печатник в моих глазах был много интереснее Евплычевых, и мы с мамой, подхватив сундучок, отправились на Усольцевскую. Адрес был здесь более точный: от Главного, если идти к Верх-Исетску, четвертый дом на правой стороне. На деле и тут оказалась трудность. Путали пустыри, которыми начинался этот участок улицы: считать или не считать их. Я настаивал — считать, но тогда четвертый дом приходился графский. Так и написано было: «Дом графа Ивана Андреевича Толстого». Опять граф! Сколько же их в городе! Этот, впрочем, оказался «вроде при своем деле» — председатель Дворянской опеки.

Хотя звание человека, который сам печатает книги, в моем мнении стояло высоко, все же я не мог допустить мысли, что он живет в графском доме. Следующий дом оказался принадлежавшим наследникам какой-то мещанской вдовы. Во дворе было два флигеля: один двухэтажный, другой хуже нашей бани, как я определил для себя. В нем-то и жили те, кого мы искали. Мне это показалось мало похожим на правду. Еще непонятнее была та кричащая бедность, которую мы увидели внутри хибарки. Изможденная, с лихорадочным блеском в глазах женщина сидела у стола и коротким сапожным ножом резала разноцветную бумагу. На полу двое малышей играли обрезками бумаги, а третий, совсем еще маленький, спал в зыбке. Увидев маму, женщина бросила нож и заплакала:

— Как это ты надоумилась, Татьянушка? Все меня позабыли. Бывают ведь, а никто не заглянет. Погляди-ка, погляди на наше городское житье. А это Егорчик? Какой большой вырос! Учиться привезла? Выучишь вот — станет бедствовать, как мой. Сама-то каково бегаешь? Василий где? К Евплычевым убежал? Не застанет. Никого. Видела я недавно Андрея. У Круковского на заводе пристроился. «Жить бы,— говорит,— можно, да квартира бьет».

Женщина говорила быстро. Задавая вопросы, не ждала ответов, как будто боялась, что не дадут договорить. Мама лишь успела спросить:

— Пьет твой-то?

— То и горе, что не забыл этой повадки. Остепенился маленько, а нет-нет и сорвется. Пора за ум взяться. У меня, поди-ко, их под ногами трое,— указала она на ребят,— да столько же по улицам собак гоняют. А главное, все тут с купли. За балаган этот подавай семь с полтиной на каждый месяц, да еще дрова. Видишь, вон цветочками занимаюсь. Мадаме одной сдаю, а расчет в копейках. Ничего не поделаешь. Пока жива, тянуться надо. Недолго уж. Этих вот только жаль,— показала она на ползунков.

— Не ходят? — тревожно спросила мама.

— Не с чего им ходить,— ответила Варвара и горько расплакалась, прижавшись к маме.

— Чую, недолго протяну, а с ними что? Ивана тоже жалко. Вовсе без меня с пути собьется и ребят загубит.

Мама стала утешать, но чувствовалось, что она сама не верит тому, что говорит. Варвара махнула рукой:

— Ладно, Танюшка, не уговаривай. Сама виновата: захотела городского свету. Насмотрелась досыта. Зря ты своего парнишку привезла в это губительное место.

Этот оборот разговора мне вовсе не нравился, но обижаться на больную не мог. Скорее было страшно, и я был рад, когда уходили из этого несчастного дома. Но страшная картина все же не смогла заслонить удивления,— у печатника не видел ни одной книги. Это продолжало мысль: не разберешь городских. Сами печатают, а книг не имеют!

Когда пришли в Верх-Исетск, отец уже был там.

— Ну, как Варвара?

— Чуть ли не насмерть простились,— ответила мама.— В чем душа держится! А ребята мал мала меньше. Шестеро их! — И мама заплакала.

— Что поделаешь,— угрюмо отозвался отец.— Не одну ее город съел. Тяжело у них. Вон Евплычевы, поглядела бы, где живут. А ведь у Ивана мастерство. Настоящее! Зацепился где-то на мельнице, Андрюха — у Круковского на заводе. Не видал их.

Вскоре прибежал Миша Поздеев. Он каким-то образом узнал о приезде отца и захотел с ним повидаться. Этот Миша оказался плешивым, узкобородым и очень тощим стариком. Камешок он одобрил, но невысоко оценил заказчика:

— Не больно подходит борову пуховая шляпа, да что поделаешь? Придется надеть. Пусть носит. Не хуже он нашего Безносого. Тот вон вовсе в бары лезет. Даже глядеть смешно!

И Поздеев стал рассказывать о своем подрядчике, на которого «тесал, почитай, весь Мраморский завод», да в городе на дополнительных работах «колотилось близко к двум десяткам».

Отцу хотелось перед отъездом поговорить с Алчаевским, но Никиту Савельича с утра вызвали в город, и дома не знали, когда он вернется. Приходилось ехать, не дождавшись его. Мне, конечно, стало жутковато и почему-то особенно жалко было расставаться с Чалком. Мама произвела мне экзамен: как будешь ходить в училище? Ответил: вперед стану «правиться на монастырь», обратно — сперва на коричневую церковь, потом на голубую, которая на Главном проспекте. Это было признано удовлетворительным, и мама попросила кухарку Парасковьюшку:

— Сделай милость, пригляди за нашим-то!

И мне было приятно, когда Парасковьюшка кивала головой и говорила:

— Как без этого! Своих ребят растила, понимаю. Будь в спокое, догляжу.

Это обещание, помню, успокоило меня больше всего, вероятно потому, что Парасковьюшка ближе других стояла к тому кругу людей, с которыми я разлучался.

Отец при прощании посоветовал:

— Ты, Егорша, в городе-то с оглядкой действуй. На городской штиль живут. Вроде постоялого двора тут у них. Без спросу полешко построгаться не возьмешь. Разговор может выйти. Ты и остерегайся,— и после этого утешил: — По снегу-то мать либо оба приедем. Никита Савельич обещал похлопотать. Может, тебя в общежитие примут.

Дальше оставалось позавидовать Чалку, который с заметным оживлением направился домой.

Знакомство с городом ближе всего было начинать со

двора, где пришлось поселиться. Сразу стало видно, что тут не по-нашему живут. У нас обычно двор и семья были одно и то же. Жильцы, то есть кровно не связанные с семьей, были большой редкостью. Кроме того, для меня было привычно, что «всякий житель с какого-нибудь боку к заводу привязан». Тут выходило совсем по-другому. Из шести жильцов нашего дома только один Никита Савельич был связан с заводом, и то не так, как у нас. Он был уездным ветеринаром юго-восточной части. Для дела было бы удобнее жить в городе, но положение уездного требовало жить в уезде. Никита Савельич и выбрал для своего жительства Верх-Исетский завод. Выходило несколько лишних верст пути, но форма была соблюдена.

Из других жильцов двора мне понятен казался лишь беззубый, с выскобленными скулами, но не старый еще человек. Таких я знал среди рабочих спичечной фабрики вблизи Сысерти. Этот работал на спичечной Ворожцова. Каждый праздник, как я потом увидел, он напивался и невнятно шамкал жене:

— Счастье нам, Настюха, что ребята умирают. Куда бы с ними?

Настюха, крупная женщина, «ходившая по стиркам», уговаривала:

— Молчи-ко ты, молчи. Грех такое говорить,— и уводила мужа в малуху под навесом.

Во флигеле окнами на улицу жили «какие-то вроде бар», по фамилии Волокитины. Мой первый руководитель по городской жизни — Парасковьюшка — объяснила их положение не очень вразумительно:

— Заведенье у ней в городу-то. Шляпное. Как-то по-другому она там прозывается. А сам, конечно, при ней за хозяина состоит.

Потом мне удалось увидеть, что изменение фамилии было забавное: «Мадам Хан-Волокитина»; не лучше, чем «Портной Дон-Скутский», имевший свою мастерскую напротив.

Неясным казалось и положение владельцев дома, занимавших нижний этаж. Парасковьюшка об них говорила:

— Известно, хозяева. За порядком глядят. Чтоб скандалу какого промеж жильцов не случилось. Какое еще им дело!

Ближе, знакомее казался чиновник горного ведомства. Ходил он «по-благородному»: «с выбритой чушкой» и «при кукарде», но в такой поношенной одежонке, что сразу напомнил привычных глазу мелких конторских служащих, каких у нас обычно звали «присударями». Жил этот старик в «зауголышке», выходившем одним окном под навес, другим — в огород. Звали его Полиевкт Егорыч, а Парасковьюшка, скорей сожалительно, чем укорительно звала старика «блажным Полуехтишком».

Этот зауголышный жилец был вхож к «верхним», то есть к Никите Савельичу. Иной раз приносил выписки из архивных дел, иной раз самые дела. Довольно часто Никита Савельич разговаривал со стариком «с выставкой графина». Хозяйка косилась на обтрепанного посетителя, но он этим ничуть не смущался. Чувствуя здесь заинтересованность в работе, с которой был связан всю жизнь, старик охотно говорил о разных заметных датах и фактах истории горнозаводского Урала.

К этому надо добавить, что старик держался независимо и даже заметно гордился этим.

— Что мне сделают? Коли от места откажут, должны пенсию дать. На хлеб-соль хватит да за стены заплатить, а рыбки на уху себе добуду и грибочков тоже на зиму заготовлю. Проживу лучше лучшего! Разве вот по своему тихому месту тосковать стану.

В числе особенностей Полиевкта Егорыча была привычка звать всех окружающих придуманными им прозвищами. Шумливого, кипучего, всегда чем-нибудь взволнованного Никиту Савельича он звал «Громилом», его жену — «Чернобровкой», Парасковьюшку — почему-то «неразумной девой», хотя у той были две замужних дочери, меня звал по месту родины — «Сысертским», спичечника — «Федей Страстотерпцем», его жену — «Копровая-Фартовая». У Волокитиных было общее прозвище — «татарские французы из деревни Портомойки».

Был еще жилец, занимавший во флигеле комнату с отдельным ходом. Дома он бывал редко. Об его занятиях Парасковьюшка говорила с определенным недоверием:

— По золотому делу будто бы шнырит.

У Полиевкта Егорыча этому жильцу было подозрительное прозвище — «Нюхач».

Такой пестрый состав жильцов и несвязанность их с заводом не были каким-то исключением. Конечно, в Верх-Исетске того времени можно было найти немало таких, кто еще жил по-заводски — одной семьей в доме, но гораздо чаще были квартиры со многими жильцами. Причем не только по главным улицам, но и по дальним — Ключевским и заречным Опалихам. Как видно, сказывалась жилищная теснота города. Она гнала людей в поисках более дешевой квартиры и особенно дров, с которыми в Верх-Исетске было значительно легче. Там можно было купить из запасов местных жителей, а перевозка этих же дров в город преследовалась.

Только у жильцов флигеля в семье был мальчик, близкий мне по возрасту,— Ваня Волокитин. Он учился в третьем классе гимназии. По утрам мы вместе отправлялись на уроки, и он тоже оказался одним из руководителей первых шагов моей городской жизни. Мальчик был не по годам высокий, но какой-то необыкновенно тощий,— того и гляди переломится. Ко мне он, как и полагается для этого возраста, относился покровительственно, не забывая на каждом шагу подчеркнуть, что городские во всяком деле ловчее заводских. Не прочь был кой-что и преувеличить. Помню, на мое удивление по поводу графов и графинь он отозвался:

— Тут не то, что графов да баронов, а и князей живет сколько хочешь.

При всем моем уважении к его познаниям в городской жизни я все же высказал недоверие. На следующий же день Ваня завел меня во двор дома на углу Главного проспекта и Московской. На наружной доске значилось, что дом принадлежит «купеческому брату», а на парадном была медная доска с именем князя Гагарина. На мое недоумение «князь, а в чужом доме живет» Ваня объяснил:

— Разные князья бывают. Один вон в Верх-Исетской конторе служит.

Через несколько дней показал на улице на прохожего:

— Вон князь Солнцев, который в конторе служит.

Поверил этому только после того, как получил подтверждение от Никиты Савельича:

— Есть какой-то захудалый князек, а фамилия ему Солнцев.

На этом мой интерес к титулованным жителям города прекратился. Даже поддразнивал Ваню:

— Говорил: сколько хочешь, а показал двоих, да и то заваляших!

Глазеть на пути в училище было опасно: легко можно запоздать к урокам — зато на обратном пути было раздолье. Уроки кончались около двух часов, а обед у Алчаевских был поздний: не раньше пяти-шести часов. Никита Савельич сам смолоду был учителем и держался системы «свободного воспитания». Против моего шатания по городу, как это называла его жена, не возражал, ограничивал только одним условием «к обеду не запаздывать».

Таким образом, ежедневно в моем распоряжении было по три часа для прогулки по городу, и мне это долго не надоедало. Интересовало буквально все, начиная с вывесок на домах. Вместо привычных для меня пожарных знаков: ведра, багор, кадь, топор — здесь на воротах каждого дома была подробная и всегда четкая надпись о принадлежности. Чаще всего в этих надписях упоминались мещане, разные советники и купцы. Иногда какие-то потомственные граждане, купеческие братья, даже купеческие племянники. Ближе к окраинам и по «забегаловкам» на воротных вывесках чаще упоминались отставные мастеровые, «мастерские вдовы», унтершихмейстеры, солдатские дети, даже какой-то урочник. Если к этому добавить, что на досках довольно часто отмечались географические детали: тобольского купца, елабужского мещанина и так далее,— то станет понятно, что такая пестрота немало удивляла меня, привыкшего думать, что все служащие и рабочие завода одинаково считаются крестьянами Сысертской волости и завода.

В первый же день после уроков я сбегал на Конную площадь, но она в эти часы была пустынна. На пространстве свыше двадцати десятин оказалась лишь маленькая группа людей у возовых весов, где торговали сеном. Около выходивших на эту площадь воинских казарм тоже народу не было: ученье уже кончилось. Хлебный рынок с его постоянной сутолокой и шумными обжорными рядами был куда интереснее, но здесь задерживаться было небезопасно. Училищное начальство не разделяло мнения о «свободном воспитании» и в первый же день учебы усиленно внушало приходящим,

что «бесцельное шатание по городу, а особенно по Толкучему и Хлебному рынкам, будет строго наказываться». Была и другая опасность: на Хлебном легче всего было сбежаться с «городчиками», с которыми «духовники» находились в состоянии постоянной войны.

Это, впрочем, не особенно огорчало, так как оставалось еще много не менее занятного. Надо было постоять у часового магазина, где в одном окне видна была качающаяся на маленьких качелях девочка, а в другом китаец, отсчитывавший секунды покачиванием головы. Привлекал шум Главной торговой площади, особенно ряды палаток с фруктами, которых до того почти не видел. Занимательным казался старый гостиный двор скорей своей угрюмостью и старомодностью. Новый гостиный (сохранившийся до наших дней) был много веселее, и торговля здесь шла бойко.

Самым интересным считал витрины меховых магазинов, где были выставлены чучела зверей. Кроме родного топтыгина, волков, лисиц, барсуков, здесь можно было видеть и «читанных» зверей: льва, тигра, пантеру, ягуара. Понятно, что мимо таких окон нельзя было пройти без получасовой остановки. Надо было все заметить, чтоб потом рассказать своим заводским товарищам во всех подробностях.

Сильно интересовала также толкучка внутри квадрата, образуемого старым гостиным двором, собственно не самая толкучка, а стоявшее в центре квадрата небольшое здание вроде часовенки, с необыкновенно толстыми каменными стенами и тяжелыми ставнями. Здесь торговали золотом и драгоценностями. Так по крайней мере объявлялось на вывеске. В действительности это были, вероятно, «новое золото» и «стеклянные драгоценности», но тогда воспринималось всерьез. Ребята относились к этой лавочке с особым почтением, нередко обсуждая вопрос, «могут ли воры добыться при таких толстых ставнях и стенах». Воры, видимо, не соблазнялись драгоценностями толкучки и много теряли в глазах ребят. Зато сильно вырастал авторитет железных ставней и толстых стен, к которым ребячья фантазия добавляла внутреннюю прокладку из «толстенных чугунных плит» и даже подземные ходы и склады.

Посмотреть «чугунку» и «железный круг» оказалось не просто: мешало расстояние. Первый опыт не удался.

Как будто пробыл у вокзала недолго, успел увидеть лишь один проходивший товарный поезд, несмело заглянул в здание вокзала, подивился буфету, около которого толпились люди, никуда, видимо, не ехавшие,— и уже стало близко к вечеру. Прямой дороги в Верх-Исетск не знал. Пошел, как всегда, «на голубую церковь» и заметно опоздал.

Никита Савельич был дома. Он пожурил за опоздание, но к «побродимству» отнесся снисходительно, зато Софья Викентьевна приняла это, как «ужас что такое».

— А потеряется? Попадет под поезд? Кому отвечать придется?

Словом, не так просто, как Петька думал. Хвастун!

Кончился этот первый опыт ознакомления с железной дорогой все же благоприятно. Когда Парасковьюшка тоже с наставительными разговорами кормила меня в кухне, Никита Савельич позвал:

— Егорка! Иди-ка сюда!

Поднялся и услышал:

— Ну, вот что. Даешь обещание не бродить до такой поры по городу?

Пришлось, разумеется, пообещать, а взамен получил тоже обещание:

— В воскресенье поеду в Невьянск. Возьму тебя с собой до вокзала. Там все посмотришь.

Хотя «железный круг» нестерпимо тянул, пришлось это отложить. Он был еще дальше, у грузового вокзала, или как он тогда назывался «Второго Екатеринбурга». Все эти дни приходил домой рано, вызывая удивление: уже пришел?

Добродетель была вознаграждена: Никита Савельич в воскресенье объявил:

— Поедем пораньше, чтоб при мне все успеть осмотреть.

Обычно он ездил «на земских». Мне уже не раз случалось бегать в город с «требовательной запиской». Там, во втором квартале, помещалась земская гоньба. Никита Савельич, веселый, широкодушный, тороватый человек, был любимцем ямского двора. Звали там Никиту Савельича, как и в Сысерти, Чернобородым, наперебой старались «заложить ему получше и поскорее», и я с наслаждением мотался в просторном парном коробке на обратном пути. На этот раз поездка была по соб-

ственному делу, и мне пришлось сбегать за извозчиком, который жил через дом от нас. Впервые ехал на блестящей развалюшке, так удивившей меня при въезде в город, а теперь удивлялся, что важно одетый бородатый кучер говорил тонким голосом и по-смешному: «черква», «улича», «цо ино».

Ехали на этот раз не через плотину, а вдоль Северной улицы, по Кривцовскому мосту. Пустыри в этой части города были особенно заметны и не переставали меня интересовать. Жалуются, что квартиры дороги, а незастроенных мест много. Даже знал, кому принадлежат отдельные пустыри. Знал, что первый пустырь по Главному проспекту числился за гражданским инженером Козловым, Покровский проспект (ныне Малышева) начинался пустырем Скавронских. На мой вопрос об обилии пустырей и площадей Никита Савельич сказал:

— Городские наши заправилы эти пустыри любят и другим потакают. За пустыри, видишь, налог берут копейками, а земля в нашем городе дорожает сотнями рублей в год. Ловкачи и греют руки. Спроси-ка вон у того гражданского инженера, сколько он просит за место, так он заворотит несколько тысяч, а сам за все годы, наверно, и сотни рублей налогу не заплатил. У городских-то заправил у каждого свой земельный запасец есть, они и помалкивают либо прикидываются, что не понимают того, что малому ребенку видно. А площади, они, брат,— другое. Городу площади нужны, особенно Конная. У нас никто этого не подсчитал, а только большое дело для города эта площадь сделала. Чуть не всю степь приучила свои табуны сюда сгонять. В наш город, если присмотреться, со всех заводов за лошадьми собираются. И ведь каждый что-нибудь с собой на продажу привезет. Степняки от нас тоже не пустыми уезжают. Заметь, в дороге они ничего не продают и не покупают, а все здесь в железном городе. Глядишь, от этой ярмарки городу немало остается. Одних подков сколько расходится. Недаром у нас Кузнечная улица есть. Почему так много кузнецов? Подкову на продажу делают из заводского браку. По другим заводам многие этим промышляют, а продают тоже здесь.

Это было мне понятно, и я поспешил подтвердить:

— У меня крёстный тоже подковы Федорову да Выборову сдает. Решеток сто за год.

— Вот видишь, а через Федоровых да Выборовых подковы далеко уходят. То же и с каслинским литьем. Мимо завода проезжают, а покупают котлы и кунганы здесь, в нашем городе.

Это рассуждение запомнилось надолго, и впоследствии мне казалось непонятным, почему те, кто занимался экономикой города, как-то совсем не хотели замечать такой фактор, как конская ярмарка. На глаз это казалось огромным. На двадцати гектарах площади было во время ярмарки тесно. Удивительно, как в этой тесноте ухитрялись пробовать коней, до того не знавших узды. «Цыганская красота» из начищенных с прикудрявленными гривами конских инвалидов была просто жалкой против полудиких коньков. Этих свеженьких разбирали без опасения, что тут может быть какая-нибудь фальшь. Все знали, что объезжать новокупок трудно, но это не останавливало. Торг шел бойко под лозунгом «какая издастся».

На вокзале на этот раз мог посмотреть все: от прихода до отхода пассажирского поезда. Поглазел на бородатого железнодорожного жандарма, перечитал все объявления на стенах и даже выпил стакан «вокзального» чаю. Запомнились большие листы объявлений с подробным перечислением оставленных вещей. О каждой рассказывалось, что за вещь и где оставлена:

«Перчатки лайковые, поношенные, — в вагоне 1-го класса».

«Галоши старые, худые и тут же голицы, не ношеные — в вагоне третьего класса».

«Платок пуховый ношеный — в вагоне второго класса».

«Кадь на десять ведер — у багажной кассы».

Такие объявления, да еще с печатанием их в газете, конечно, говорили о том, что движение пассажирское тогда было очень слабое. За сутки проходило лишь два пассажирских поезда: в час дня уходил на Пермь, в три часа — на Тюмень. Составы были невелики, но места любого класса имелись с избытком. Некоторое подобие очередей перед отходом поезда было лишь у кассы третьего класса.

Вскоре удалось повидать «железный круг», и тоже с Никитой Савельичем. При удивительно сухой осени того года никакой «топеси» там не оказалось, но дикий

«конобой» был налицо. Сопровождался он обильной матерщиной и частым рукоприкладством. Трудность сдачи усиливалась тем, что одни сорта железа принимались «на вагон», другие — «на склад». Это не было заранее известно сдатчикам и создавало дополнительную трудность. Вполне понятно, почему «железный круг» считался «самым худым местом».

В следующее после поездки на вокзал воскресенье мне удалось побывать за городом. Эта памятная прогулка началась тоже с неприятности.

Мой верх-исетский приятель Ваня Волокитин, как уже я говорил, не отличался крепким здоровьем. Поэтому, может быть, он и не знал никаких игр и развлечений, кроме комнатных. Мне и захотелось немного просветить его по этой части. В огороде в то время как раз убрали все овощи, кроме капусты. По нашим заводским обычаям, наступила пора прыгать с бань на мягкую огородную землю. Вот я и показал пример. Развлечение это у нас дома считалось законным, взрослые «не ругались», поэтому я действовал не таясь и в конце концов соблазнил Ваню. Ему было честно сказано: «Скакать на ноги, а не валиться как попало»,— но он, как видно, струсил в последний момент и именно «свалился как попало». В результате ушиб колено и «запел». Прибежала его мамаша — «татарская француженка» — и подняла шум. На мою беду Никиты Савельича дома не было. Вышла Софья Викентьевна и, узнав, в чем дело, сама пришла в ужас. Пришлось мне выслушать немало обидных слов, и потом, уже в комнате, битый час мне рассказывались страшные истории о случаях падений.

Понятно, что после этого меня не радовало прекрасное утро следующего дня. Сидел во дворе нахохлившись, ковырял стену и ворчал на своего приятеля:

— Долган такой! А скакнуть не умеет. Сам еще хвалился: «Наши городские всегда ловчее!» Вот тебе и ловчее! Да еще запел: «Ой, нога! Ой, нога!» Кисляк!

В это время из-за уголышка вышел Полиевкт Егорыч и первым делом спросил:

— Ну что, Сысертский, накормили тебя вчера кислым?

Не получив ответа, старик усмехнулся:

— А ты не сердись. То ли еще на веку будет. На

всякий пустяк сердиться — духу не хватит. Видел и слышал я. Подвел тебя Хлипачок. А Чернобровка, видать, не больно любит чужих ребят. У баб ведь не как у мужиков. Которая со своими мается, та и чужих любит, а у которой нет, та и чужих побаивается и не любит. Где у тебя Громило-то гуляет?

— В Сарапулку на эпизоотию уехал.

Слово «эпизоотия» было первым усвоенным в городе новым словом. И мне нравилось его произносить: эпи-зо-о-тия. Полиевкт Егорыч, видимо, заметил это, улыбнулся и продолжал расспрашивать:

— Когда вернется?

— Говорил, не меньше недели проездит. В четверг, стало быть, дома будет.

— Дельце ему нашел одно. Любопытное. Надо бы на месте ту запись проверить. Пойдем со мной, чем тут киснуть да стену колупать. Опяток наберем, по лесу побродим, а?

Заметив, что я поглядел на окна верхнего этажа, старик сделал вывод:

— Спит еще Чернобровка? Ну, ничего, без нее обойдемся. Неразумную деву обломаю,— отпустит.

Полиевкт Егорыч отправился в кухню и вскоре вынес оттуда корзинку с хлебом и кружкой. Из окна я услышал ласковое напутствие:

— Сходи, разгуляйся после вечорошнего-то.

Полиевкт Егорыч сходил в свой зауглышек и вышел в полном лесном снаряжении: в парусиновом балахоне, рыжих сапогах и в войлочной шляпе. В одной руке большая корзина, закрытая сверху мешком, в другой — чайник.

Отправились через Никольский мост и потом повернули вправо по последней Опалихе. С этих мест мне не приходилось видеть город, и картина была новой, интересной. Отсюда особенно заметной казалась широкая полоса разрыва между городом и Верх-Исетском.

— Вот она, богова землица,— кивнул старик в сторону этой по-осеннему пожелтевшей полосы.— Десятин, поди, полтыщи впусте лежит, хозяина ждет. А пока только арестантам да покойникам помещенье. Ну, лошадкам пробежка да больных малость пускают.

Здесь, действительно, тогда было лишь четыре сооружения: обнесенный тесовым забором круг ипподро-

ма, белое здание госпиталя, который содержался уездным земством и верх-исетским заводоуправлением, поэтому и помещался между городом и заводом, дальше виднелись тюрьма и кладбищенская церковь с обширной каменной оградой.

Красивым пятном осенних красок выделялась генеральская дача. Основинские прудки и Вознесенская гора с большими садами на спусках около харитоновского и турчаниновского домов. На фоне других домов внушительным и заметным казалось здание городской больницы. Но больше всего меня опять занимал вокзал и железнодорожные здания. Полиевкт Егорыч и сам не прочь был тут постоять.

— Да, браток, важная это штука! Теперь народ попривык маленько, а сперва-то со всего городу сбегались к приходу поезда,— и неожиданно спросил: — Тебе сколько годов-то?

— Десять.

— Ровесник, значить, первой дороге. Первой по здешним местам! А там, гляди, еще проведут при твоей бытности. В газетах вон уже поговаривают — ветку будут тянуть на Челябинск. Тогда на колесе-то можно будет до самого Питера докатить.

Долго стоять здесь все-таки Полиевкт Егорыч был не склонен и решительно предложил:

— Пошли дальше!

Лес был привычного для меня вида, только не такой подбористый, как на наших Сысертских горках.

— Невысокое место — мендач и растет, а дальше тоже смолевая сосна пойдет,— ответил на мое замечание старик.

На лесных полянках попадались кольца поздних рыжиков, по вырубкам, около пней, было много опят, но Полиевкт Егорыч не особенно увлекался сбором и все шагал дальше в одном направлении. Так выбрались мы к небольшому круглому лесному озерку, с одной стороны которого был заметен исток речки.

— Тут посидим, поедим, про старину поговорим,— объявил Полиевкт Егорыч.

Однако на вопрос, что за озеро, ответил:

— Погоди! Об этом разговор потом будет. Принеси-ка чайничек воды, а я костерок запалю.

Пока шла подготовка к еде, Полиевкт Егорыч не один раз отходил от костра и топтался на берегу озера. Идет мерным шагом, потом вдруг начнет притоптывать, как будто пробует прочность почвы под ногой.

Вскипятив воду, принялись за еду.

У старика в корзине оказалась небольшая фляжка с занятной пробкой-чепарушкой. Полиевкт Егорыч с заметным удовольствием опрокинул несколько чепарушек, похвалил лесную еду и, принявшись за чай, разговорился:

— Думаешь, озеро это?

— А как?

— Озером считают. Шувакиш называется. А на деле тут запруда была. На этом самом месте, на котором сидим. Не веришь? А гляди, по уклону-то куда ложок пошел? В эту сторону? И дальше такой же уклон. Верно? А вот взлобочек откуда выбежал? Вот то-то! В документе не зря обозначено: «Плотина вдоль пятнадцать сажен, поперек — шесть сажен». Тут завод стоял. Понимаешь,— завод! Конечно, не на нынешнюю стать. А все-таки четыре больших молота считалось. Горны тоже. Железо тогда, известно, по-сыродутному добывали,— сразу же из руды. Стоянка тоже была. Избы, амбары и все, что при таком деле полагается.

Заметив явное недоверие с моей стороны, Полиевкт Егорыч наставительно проговорил:

— А ты не сомневайся, Сысертский. Давнее дело. Близко двухсот лет с той поры прошло. Нашего города и в помине не было, и других заводов по нашим местам не значилось. Лесу за столько годов много нарастет, а вода — дай ей волю,— что хочешь замоет. То и кажется, что никто здесь не живал, а по документу на другое выходит. Были тут люди, да еще какие люди!

Первый заводчик назывался Ларион Игнатьев. Он из небогатых, видать. Руду нашел, а обзаводиться стал на чужие деньги — московского купца Болотова. Потом этот купец прижал Лариона. Завод на себя перевел, а этого перводобытчика с женой и ребятами за долг «взажив взял». Закрепостил, значить. Потом этого первого заводчика убил неведомо кто, а его баба за арамильского заводчика вышла, и завод, хоть он числился за московским купцом, передала арамильским же: Чебыкину да Чусовитину. Эти года два поработали. На них

башкиры набег сделали. Чуть не всех перебили, а лошадей и скот к себе угнали. Начисто разорили, а все-таки нашелся охотник — нижегородец какой-то Масляница. Этого опять беглые укокошили. Тогда вот только этот Шувакинский завод в казенные книги и попал. По приказу сибирского губернатора, этот выморочный завод был продан тулякам-рудоплавильщикам Мигналеву да Ермолову за пятьдесят один рубль. Только, видно, у этих рудоплавильщиков поднять завод силы не хватило. Так дело и заглохло.

Когда возвращались домой, старик был занят все той же мыслью:

— Ох, и твердый у нас народушко! Ох, и твердый! К чему прильнет, никак его не оторвешь и ничем не испугаешь. Возьми хоть этого Игнатьева, которого купец «взажив взял» за долги. Думаешь, нельзя было ему уйти из такого глухого места? Да сделай милость, в любую сторону. А он, небось, до конца сидел, потому своего добиться хотел. Прямо сказать, въедливый народ. И терпеливый тож. Развяжи-ка такому руки, так он тебе на этом же месте такое сгрохает, что по всему миру отдачу даст. Ты это попомни, Сысертский! Не зря тебе сказывал, а по документу.

Вскоре после похода с Полиевктом Егорычем я нашел в Верх-Исетске своего настоящего друга. Встреча вышла случайной, и потом мы оба удивлялись, почему не знали друг друга раньше, хотя жили буквально через дом.

Занятия в училище кончались, как я уже говорил, без четверти два, но я все еще не переставал удивляться «чудесам города», застаивался подолгу около разных магазинов. Тогда меня еще сильно занимал «фруктовый базар».

Те несколько палаток, в которых торговали яблоками, теперь развернулись в целый ряд на Хлебном рынке, ближе к Сибирскому проспекту (ныне улица Куйбышева). Из наклонно поставленных коробьев видны были яблоки разных сортов, на полках вдоль стенок палатки рядами разложены дыни, за прилавком, под рукой у торговца,— в пробковой прокладке виноград. Тут же в корзинах вишни, сливы. Отдельными соблазнительными грудами лежали арбузы разной величины и окраски. От всего этого приятно пахло.

Соблазн увеличивался еще тем, что продавцы, преимущественно казанские татары, как я узнал потом, раскладывали на прилавках «пробу» — куски разрезанного арбуза, дыни, груши — и усердно нахваливали свой товар:

— Арбуз астраханский! Чисты сахар! Дыня дубовка! Лучше быть нельзя! Купишь — спасиба гаваришь. Вот пробуй! Две копейки кусок!

Мне, никогда не видавшему раньше такого обилия фруктов, большая часть которых и вообще была мне неизвестна, все это казалось интересным, но меня удивляло, что взрослые равнодушно проходили мимо и на зазывы продавцов иногда сумрачно отвечали:

— Не от смерти отъедаться твоими дынями! Копеек-то нет, чтобы их за глоток выбрасывать!

Некоторое оживление было лишь около арбузов. Они продавались поштучно, и цена объявлялась наглазок. Эту произвольность расценки продавец объяснял просто: не тот сорт.

«Фруктовые базары» открыли мне еще один уголок городской жизни.

Проходя по нынешней улице «8-го марта», я и раньше замечал, что из-за «коричневой церкви» несли «разную огородину». Теперь здесь стало многолюдно. За церковью до моста с поворотом к богадельне раскинулась торговля овощами из мелких палаток и «с телег».

В условиях своего завода я привык, что у каждого свой огород, свои овощи. Не было у редких — у квартирантов, которые не имели огородов. Обилие людей, покупавших на «зеленом базаре» картошку, капусту и другие овощи, удивляло меня: «Как много в городе квартирантов, и все они, судя по одежде, не из бедных!»

Иная барыня покупала капусту целой телегой. Куда ей столько? Другой барыне поставили мешок картошки в извозчичью пролетку-развалюшку, а на откинутый верх набросали капусты. Разве можно в такой лаковой штуке возить картошку? Придумала тоже!

Все эти наблюдения над удивительной жизнью города занимали ежедневно часа два, и в Верх-Исетск я обычно приходил в пятом часу. Раз так добрался до Разъезжей улицы, которую уж стал называть своей. У домика на углу первого переулка стояли трое ребят. Двое совсем одинакового роста, а третий поменьше. Все

трое усердно «пушат» камнями в рыжего мальчика, а тот, что поменьше, кричит:

Мишка Рыжак проглотил пятак,
Сел на семишник, поехал на девишник!

Понятно, что человек, обвиняемый в столь диких поступках, должен был защищаться, и рыжий мальчик стойко боролся против своих врагов. Ловко увертываясь от летевших камней, он кидал ответные и каждый раз приговаривал:

— Получай, стервы!

Было видно, что рыжий не нагибался, не искал камней: имел достаточный запас в карманах. Такая «хозяйственность» мне понравилась, но позиция у него была из рук вон плоха. Он стоял на открытом месте, а его враги расположились против окон дома. Рыжему приходилось бить по ногам, так как всякому известно, что «залепить камнем в лоб» гораздо менее ответственно, чем разбить стекло. Стойкость Рыжака и подлый прием его врагов, укрывшихся под защитой окон, естественно, располагали меня в пользу одиночного бойца, но я все-таки вовсе не думал принимать участия в этом столкновении, чувствовал себя «проходящим» и попросил:

— Эй, погодите фуряться, дайте пройти!

В ответ получил насмешку:

— Фуряться! Из какой деревни выехал! Говорить не научился, а тоже с книжками ходит!

Мальчик, поменьше ростом, заболтал:

— Фурялка, нырялка, наскочил на палку!

После такого незаслуженного оскорбления мне оставалось только присоединиться к Рыжему. Запас камней в карманах у меня тоже на всякий случай имелся, но я решил применить против «подокошечников» испытанный контрприем: засунув книжки за пояс, ухватил увесистый камень с дороги и что было силы «бабахнул» в ворота. Отдача получилась обычная: из калитки выбежал представитель больших. Это оказалась высокая костлявая старуха. Ребята побольше, не желая, видимо, попасть под руку при разборе дела, кинулись в переулок, а маленький остался, будто его это не касалось. Мы со своим союзником отбежали на некоторое расстояние и остановились до выяснения вопроса. Старуха первым делом закричала на Мишу:

— Ты что, рестант, делаешь?

— Своих сперва уйми! — ответил мой союзник и добавил: — Проходу людям не дают! Мальчик вон идет из школы, никого не задевает, а они давай в него камнями кидаться. Я и бухнул в ворота, чтобы ты вышла.

— Я тебе покажу бухать! — погрозила старуха.

А маленький закричал:

— Врет он, рыжа кожа! Это он Васю нашего избил! Синяков ему, помнишь, насадил? За четвертым переулком живут. Еремеев ему фамилия.

— Да знаю я,—отозвалась старуха.—А этот чей?— указала она на меня.

— Приезжий какой-то. С гимназистом каждое утро мимо ходит. Учится, видно. Видишь — без обеда оставили: этак поздно домой идет.

Такая клевета требовала немедленного вмешательства, но я смолчал, ожидая, как кончится дело о моей полной непричастности. Когда Миша объявил, что это он бросил камнем в ворота, я подумал: «Вот настоящий товарищ! Не выдаст. С таким бы дружить!» Наш враг поспешил выяснить и этот вопрос:

— Это он, бабушка, камнем-то в ворота присадил!

— А тот говорит — я,— удивилась старуха.— Разбери вас.

Почувствовав колебание старухи, наш враг попытался спасти положение. Указав на след камня на полотнище ворот, он проговорил:

— Гляди, вмятина какая! Папаня приедет, заругается!

Упоминание о «папане» повернуло мысли старухи в невыгодную для наших врагов сторону.

— То-то, папаня! А почему Васька с Димкой убежали? Придут домой, задам им жару! А отец приедет, и ты от плетки не уйдешь! Дня не проходит, чтоб у нашего дома драки не завелось!

Видя, что разбор пошел по семейной линии, мы с Мишей спокойно отправились своей дорогой. Старуха, однако, крикнула нам вдогонку:

— Еще раз увижу у своего дома, я вам покажу! В полицию заявлю, чтоб сократили таких мошенников! Знаю, где оба живете!

Старуха, конечно, приврала, что знает и мою квартиру, но на это не стоило обращать внимания, и мы занялись своим разговором. Миша пожаловался:

— Первые задиры — это бревновские ребята. Спускай им! Одного я поколотил, а которого — не знаю. Они ведь двояшки, а третий вроде дурака. Только и умеет всклад слова подбирать, а из школы выгнали. Он годами-то большой, только ростом маленький. Урод, известно, а злой. Это он тех и подтравливает, чтоб драться.

— Ты за что этому бревновскому парнишке наподдавал?

— Задавался перед ребятами, что они богатые. Отец у них рыбой да орехом по зимам торгует. Теперь его нет. Где-то по далеким местам ездит, тамошних людей обдувает. Купит у них за пятак, а в городе за рубль продает.

Закончив характеристику вражеского дома, Миша спросил:

— Ты где учишься?

— В духовном.

— В попы метишь? — удивился Миша.— Кутейка, балалайка, соломенная струна? Ныне, присно и во веки веков?

Я поспешил отвести обидное предположение:

— Никита Савельич этак же учился, а ветеринарным врачом служит.

— Ты у него живешь?

— Ага.

— Тоже коров лечить станешь?

И это предположение не показалось мне привлекательным, и я сослался на другой пример:

— У нас на заводе учитель. Так вот учился—сперва в духовном, потом в семинарии. И в Кашиной учитель тоже из семинаристов, только он в попы собирается.

— Вот видишь,— наставительно проговорил Миша,— свяжись с ними, прилипнет.

Я стал уверять, что «ко мне не прилипнет», что «у нас и в роду такого не бывало».

— Отец-то у тебя кем?

— Мастером на сварке. В Сысертском заводе.

— А у меня на мартене. Родня вроде. Дружить можно, а только почему тебя в духовное отдали?

— Дешевле тут приезжему содержаться. Общежитие вон скоро откроют. Меньше десяти рублей в месяц. И формы не надо. Она, поди-ка, дорогая.

Эти доводы показались Мише убедительными, но он все-таки пожалел:

— Лучше бы ты в нашем втором городском учился. Вместе бы ходили мимо бревновских ребят. А здорово ты саданул в ворота! Приедет Бревнов, так он выпорет Игошку. Это урода-то. Страсть бьет его, когда пьяный! Соседи, случалось, отнимали. Жалеют Игошку по сиротству. А сам-то Бревнов — зверь зверем. Говорят, купца по рыбному делу убил. То и разбогател.

— Ты откуда знаешь?

— По одной улице живем. Сказывают.

Это было мне знакомо. У нас тоже каждый знал всю подноготную жителей своей улицы, но здесь с этим пришлось встретиться впервые. Поэтому даже спросил:

— Отец у тебя давно тут живет?

— Да мы здешние. Не то что отец, а и дедушка и раньше его все при заводском деле были.

— Ты кем будешь?

— Я-то? — Миша застенчиво улыбнулся, еще раз спросил: — Я-то? Я, брат, как выучусь в нашем втором городском, в магазин к Шварте поступлю.

— Зачем?

— Там компасы продают. Видал?

Я сознался, что видал только на картинках в «Родном слове».

— А там и горные компасы есть. Под землей с ними не заблудишься. И других мелких машинок много.

— Приказчиком поступишь?

— Механиком бы охота. Собирать, разбирать, людям показывать. Починить когда. А удилище там на пять колен бывает. Несешь — вроде тросточки, а составишь да закинешь — еле поплавок видать. И жерличные шнурки такие, что пудовая щука не оборвет, коли поводок не перекусит.

— Ты рыбачить любишь?

— Я-то? Да я чуть не каждый день на пруд бегаю ершей ловить. Когда и дедушка меня с собой берет. За дальние острова с ним плаваем. Там он мережи ставит.

— Своя лодка у вас есть?

— А как же! Дедушка без этого не может. И тятя, когда ему свободно, рыбачит. Теперь они лучат чуть не каждую ночь.

— Тебя берут?

— Меня-то? — Миша задержался с ответом, но все-таки сказал правду.— Жерлицы смотреть, мережи тянуть берут, а лучить — нет. Говорят, не дорос. Знаешь, большие...

Это я по опыту знал и сочувственно подтвердил:

— Знаю я этот разговор.

Поравнявшись с квартирой Алчаевского, мы еще долго разговаривали, потом дошли до ближайшего переулка, и Миша, указав на трехоконный домик, сказал:

— Тут мы живем. Приходи через часок. Пойдем ершей ловить.

Это знакомство было большим событием в моей жизни. Еремеевский дом и семья живо напомнили мне быт родного завода, о котором я, видимо, начинал скучать. У Еремеевых, правда, жил «какой-то городской», но в остальном все было, как на «нашей улице». Отец и старший брат Миши жили по гудкам: оба работали на заводе. Дедушка, с выжженными щеками доменщика, «служил по лесному делу», но был крайне недоволен своим положением:

— На старости лет нарядили доглядывать, кто куда свое полешко сунет: в свою печку, в соседскую ли!

Мать Миши «ворочала по хозяйству»; старшая сестра, которую Миша звал нянькой, помогала матери и «водилась» с двумя малышами. Весь уклад дома мне казался настолько знакомым, что я заранее знал, что вдоль теневой стены дома должны быть спицы для удочек, а ниже их — спицы с натягами для запасных удилищ. Так оно и оказалось, и это, помню, меня обрадовало до слез: как у нас, как у Петьши, Кольши.

Понятно, что я стал завсегдатаем еремеевского дома. С Мишей мы крепко сдружились. Одинаковый возраст, одни и те же условия быта давали нам возможность хорошо понимать друг друга. Было лишь одно, что нам сильно мешало. Это разные училища. По обычаям тех лет, ученики разных училищ были в постоянной вражде между собой. Причем «начальники» — ученики начальных школ — из общего счета исключались. Считалось позором «связаться с азбучниками». Исключались и дети школьного возраста, которые нигде не учились. На «стороннего налетать» тоже считалось неправильным. Так как «духовники» не имели формы и могли

«прикидываться начальниками» либо «сторонниками», то производился контроль по книгам.

Может быть, потому, что первое городское и духовное находились по соседству, вражда между этими училищами была особенно острой и напряженной. «Духовники», уходя в город, неизменно охотились на «козлов» и преувеличенно хвалились, когда им удавалось «продрать козла до слез», те, в свою очередь, не упускали случая «растереть кутью». Совместные военные действия допускались лишь при столкновении со «светлопуговишниками» — гимназистами и реалистами. Но союз был кратковременным и непрочным. При оценке боевых действий мнения расходились: победу каждая сторона приписывала себе, а поражение объясняла слабостью другой,— и кончалось это взаимной потасовкой.

Миша учился во втором городском училище, чем немножко гордился, произносил слово *второе* так, будто это училище было гораздо значительнее первого.

Второе городское было далеко от духовного, и это давало нам уверенность, что наша дружба не станет известна ни в том, ни в другом училище. У меня вовсе не было никакой формы, даже в виде пряжки пояса. Ходил я тогда в «пиджачке домашнего покроя», как называл мой костюм Никита Савельич. Это позволяло Мише ходить со мной, как со «сторонним», но утрами на занятия мы все-таки отправлялись порознь. Наши враги — бревновские ребята — как-то узнали, что я учусь в духовном, и могли подвести Мишу перед его товарищами по второму городскому. Таких в Верх-Исетске было человека три-четыре.

Ко мне Миша не любил заходить: стеснялся непривычной обстановки и дальше кухни не шел. Отношение к нему оказалось разное.

Парасковьюшка после его первого прихода спросила:

— Еремеевский парнишка-то?

Получив утвердительный кивок головы, сказала:

— Худого про родителей не скажешь. Моя-та Аграфена в свойстве им по мужу доводится.

Полиевкт Егорыч тоже одобрил. Как-то вечером подошел, когда мы рьяно спорили о свойствах жальца рыболовного крючка, и сказал:

— Нашел-таки Сысертский пичугу своего полета. Поговорить есть о чем. Это тебе не Хлипачок. Сам по-

учит, как надо с бань скакать. Семена Еремеева вроде? — спросил он у Миши.

— Его.

— По перу видать,— и старик погладил Мишу.

Ваня Волокитин отнесся к моему новому знакомству крайне враждебно и отказался дать книжку, которую накануне обещал:

— Раз ты с таким дружить стал, не дам.

— Чем тебе он помешал?

— Не знаешь, что городчики с гимназистами всегда дерутся?

— Так ведь то на улице, а тут дома.

— Понимаешь ты! Я с тобой теперь в город ходить не стану!

— Больно мне нужно! Один дорогу знаю.

— С городчиками дружишь, то и не боишься. Скажу вот вашим! Они тебе покажут!

— Сунься! Светлых пуговок не останется! Ябеда! С крыши скакать не умеешь!

— А книжек от меня больше никогда не получишь!

— Стал я плакать о всяком барахле! У Никиты Савельича книжек-то! Все комнаты забиты!

— Есть, да не такие,— поддразнил Ваня и ушел.

На этом наши отношения и оборвались. Мне было жаль, что не могу больше брать у него книжки для чтения. Книгами Никиты Савельича я напрасно хвалился, так как знал, что они «скучные». Софья Викентьевна своих книг мне не давала, говорила, что мне рано такие читать, а волокитинские казались мне интересными. Все же я тогда нечаянно дал верную оценку, назвав их барахлом. Это и было книжное барахло — уголовные романы. Авторов их не помню, верней, не замечал, но названия остались в памяти: «Кровавое болото», «Кошачий глаз» и прочее в таком же роде. Раз Софья Викентьевна увидела у меня такую книжку и велела немедленно отнести Волокитиным, запретив вперед «читать такую гадость». После этого она даже достала мне «Робинзон Крузо». Конечно, «Робинзон Крузо» был куда интереснее тех книжек, но его хватило не надолго, а дальше опять пошли волокитинские книжки, с той разницей, что читал их теперь тайком от Софьи Викентьевны. Тем более, что делать это было легко, так как она сама была, по словам Парасковьюшки, «великая читальница». Во

время частых поездок Никиты Савельича проводила все время за чтением романов, которые он иногда называл «французским пряником из печатной бумаги».

Отношение самой Софьи Викентьевны к Мише было не совсем приветливое. Увидев как-то его в нашем дворе, она спросила Парасковьюшку:

— Это еще что за вихрастый у нас появился?

Парасковьюшка сказала то же, что говорила в первый раз после посещения Мишей нашего двора. Это, видимо, успокоило, но разрешение было условным:

— Шалун, наверно. Лучше бы его не пускать.

Зато я у Еремеевых был принят всеми дружелюбно. Чтоб лишний час пробыть у них, я прекратил шатания по городу. Стал ходить теперь в училище и обратно «степью» и «через Амур».

«Амуром» тогда назывался участок южнее нынешней водонапорной башни. Здесь в маленьких домишках по линии Московской улицы были «беспатентные харчевни» и «необъявленные пристанища», как утверждала полиция. На вопрос, почему это место называлось «Амуром», дедушка Миши Гаврило Фадеич объяснил:

— Бывает, что нужда загонит человека на дальнюю реку Амур, и редко кто домой воротится. Этих тоже нужда загнала в такое место, с которого обратную дорогу не скоро найдешь. Вот и вышел «Амур», только без воды.

Впоследствии я слыхал другое объяснение этого названия — от амурных будто бы похождений в этом конце города,— но это, на мой взгляд, неверно. Притоны, вероятно, и тут были, но чаще там просто окраинная беднота за копейки пускала на ночлег, а иногда и кормила людей, пришедших в город в поисках работы, или тех, кто не успел «укорениться» настолько, чтобы снять себе комнату в более спокойном месте.

«Амур» считался опасным местом. Внешне он таким и казался. Здесь, ближе к «степи», толкалось немало «потерянного народу», который на угрозы тюрьмой отвечал:

— По соседству живем, нам не страшно.

Для десятилетнего мальчугана с книжками проход здесь все-таки был вполне безопасен. От мальчишек можно было встать под защиту любого «дяденьки, кото-

рый так рыкнет, что отскочишь». Гораздо опаснее было пересекать по диагонали «богову землю» — «степь», разделявшую город и Верх-Исетский завод. Тут могли «наподдавать» мальчуганы других школ. Приходилось применять военную хитрость — прятать книжки. Я так и делал. Выйдя на линию Московской улицы, забивал книги на спину за пояс, а в платок, в котором носил хлеб «на перекуску», как говорила Парасковьюшка, набирал камней и шел дальше, беспечно помахивая узелком. Убивались два зайца: и школьной видимости не было и дополнительный запас метательного материала имелся под рукой. Маскировке мешала пухлая хрестоматия, по которой обычно «задавали на дом» выучить наизусть какое-нибудь стихотворение. Чтоб избавиться от лишнего груза, я стал заучивать заданное в последнюю перемену, а книжку оставлял у сиделки училищной больнички.

Эта старуха была «хоть не из нашей улицы», то есть раньше была мне неизвестна, но «из нашего завода». Ребята любили старуху, так как она многим «сноровляла по больничному делу», и в первые же дни учения сказали ей, что приехал «из нашего завода». Старуха разыскала меня в толпе ребят на училищном дворе и принялась расспрашивать: чей, из которой улицы? Припомнила, что с «Дуняткой (моей бабушкой) в девчонках по суседству жила и тоже чуть не попала на старый завод по девьему набору». Повздыхала, поохала: «Как годы-то бегут!» Подумала вслух: «Неузнано дело. Может, лучше бы обернулось, коли тогда в девий набор попала, чем эдак-то без семейственности по городу болтаться!» В заключение наставительно сказала:

— Гляди, учись хорошенько, чтоб нашим заводским покору не было, будто сысертские толку не имеют.

Некоторые из ребят, слышавшие этот разговор, склонны были подразнить меня: «Сиделка ему родня!» — но я не понял насмешки и простодушно объяснил:

— Не родня, а через две улицы от нас жила и с моей бабушкой подружка. Слышал, зовет ее Дуняткой, а она такая же старая.

Сам я охотно признал бабушку Катерину Григорьевну близким человеком и попросил, нельзя ли оставлять у нее книжку. Старуха, однако, не склонна была к

«зряшним поблажкам», поэтому каждый раз спрашивала:

— А ты уроки выучил? Которые по этой книжке?

В ответ я начинал «барабанить с задыхом» — быстро говорить, насколько хватало дыхания.

Катерина Григорьевна была неграмотная, поэтому обращалась к кому-нибудь из старших учеников, «спасавшихся в больнице от уроков»:

— Ну-ка, ты, урокова немочь, послушай.

Приглашенный в судьи, разумеется, давал блестящую оценку:

— Здорово вызубрил. Прямо на пять с плюсом!

Старуха, зная односторонность бурсацких законов товарищества, с сомнением поглядывала то на судью, то на меня и раздумчиво говорила:

— Кто вас знает! На ухо будто бойко сказывает. А то ли, которое надо?

— То самое,— подтверждал судья, а старуха еще раз спрашивала:

— Так, говоришь, ладно? Не обманываешь?

— Ну, что ты? От зубов отскакивает! Лучше нельзя,— успокаивал судья.

Старухе казалось этого мало, и она требовала:

— Ну-ка, скажи вечорошнее, про чижа со злодейкой.

Я «отжаривал» басню «Чиж и голубь», и на этом проверка кончалась, Катерина Григорьевна брала у меня книгу, совала ее в подстолье аптечного шкафика и говорила:

— Не беспокойся, в сохранности будет. Что ее зря трепать! Тоже не близко место Верх-Исетск.

И, надо сказать, я ни разу не обманывал старуху по простой причине: большую часть задававшихся тогда стихов знал еще до поступления в училище, да и новые схватывались ребячьей памятью легко и быстро.

Через несколько дней я привык к новому пути и перестал набирать в платок камни, полагаясь на одни карманные запасы.

Мне теперь нравилось постоять, когда дойдешь до середины огромной верх-исетской поляны между городом и заводом. Лишь в одном месте, вблизи от замка, как тогда называли тюрьму, виднелись пни. Оказывается, была попытка развести здесь простенький сад из тополей, но их срубили для безопасности. Московская не-

правильно называлась улицей, так как состояла из одного ряда домов окнами в сторону Верх-Исетска. Такой же одинаркой, только окнами к городу, кончался и Верх-Исетский завод примерно в половине квартала от бывшей Нагорной церкви.

На середине этой пустынной поляны как-то отчетливее видно было движение по Сибирскому тракту, которое от тюрьмы разветвлялось. Один поток, преимущественно тройки и пары с колокольцами, шел к столбам заставы и дальше по главному проспекту, где было несколько ямских станций. Другой, более мощный, грузовой поток направлялся к нынешней улице Малышева, чтоб от нее пересечь город и через Щепную площадь выйти на улицу Декабристов.

Тем же порядком шло встречное движение: с улицы Малышева — грузовое, а от столбов заставы ехал «звонкий пассажир» — с колокольцами. Нынешняя улица Куйбышева называлась Сибирским проспектом. Но никакого движения на Сибирь здесь не было, да и не могло быть, так как на этой улице не было моста через Исеть.

Любимым местом моего нового пути было взгорье против первой Ключевской улицы. Отсюда открывался такой вид на город, что я просто не мог здесь не остановиться. Другой, еще более захватывающий вид на заводской пруд открывался уже в самом Верх-Исетске, около Нагорной церкви. Мы с Мишей не раз прибегали сюда полюбоваться на широкую панораму пруда, а потом, дождавшись потемок, подолгу смотрели на городские огни.

Раз нам удалось побывать на колокольне Нагорной церкви, что оказалось не совсем просто. Этой колокольней пользовались не только для церковного звона, но и как пожарной вышкой. От завода там посменно «стояли» двое. В шесть часов утра и в шесть часов вечера церковный каморник Назарыч впускал одного и выпускал другого в притвор, откуда лестница вела на колокольню. Один из таких заводских сторожей «был в родстве» с Еремеевыми. Миша и стал его просить:

— Дяденька Кузьма, возьми нас с собой на колокольню!

«Дяденька Кузьма» был не из приветливых людей. У него правая рука была вдвое короче левой и не сги-

балась в локте. Его за это звали «безлокотником». Природный недостаток мешал ему работать обычным образом, и он смолоду «околачивался на стариковском деле». Вероятно, этот недостаток и сделал человека угрюмым, неразговорчивым. На просьбу Миши он пробурчал:

— Придумал! Не пасха, чтобы всякого на колокольню пускать!

На повторные просьбы ответил:

— Назарыч не пустит.

Кончилось все-таки согласием с оговоркой:

— Чтоб в первый и последний раз!

К шести часам мы с безлокотным дяденькой подошли к церкви. После заводского гудка каморник Назарыч открыл дверь и, увидев, что мы тоже входим, спросил:

— А эти угланята куда?

— Поглядеть охотятся,— угрюмо ответил Кузьма и добавил: — Отвязаться не мог.

Назарыч в противоположность Кузьме был веселым, ласковым стариком.

— Поглядите, поглядите! Только, чур, не баловать на колокольне. И долго там не стойте, а то как запрусь на ночь да завалюсь спать, на всю ночь тут останетесь. Ты уже догляди сам,— прибавил он, обращаясь к безлокотному.— Да не давай им борзиться по лестнице! А то ведь ребята, им все вскачь надо.

— Угу,— пробурчал Кузьма.

На колокольне Кузьму встретил другой старик ворчаньем:

— Копаешься! — и, взглянув на нас, добавил: — Хвост еще за собой притащил! Привожай их, не рад станешь!

— Говори по делу,— потребовал Кузьма.

— По делу хорошо. Часы отбивал, худого не видал.

С этим ворчливый старик стал спускаться. Напутствие Назарыча, чтоб не баловались на колокольне, оказалось лишним. Оба мы, как зачарованные, простояли с полчаса у перил колокольни, смотря на город и верхисетский пруд. Стояли бы и дольше, но наш Кузьма настойчиво предложил:

— Будет! Слезайте! Не час вам тут стоять!

Мы оба заикнулись было: «Дяденька, еще маленько!» — но Кузьма был неумолим:

— Сказано слезать!

Может быть, это было и хорошо, что наш угрюмый вожак не дал «досмотреть». В памяти осталась недопроявленная картина, где смешались краски заката, всхолмленность местности, скрашенная расстоянием пестрота домов и причудливая рама верх-исетского пруда. На меня этот пруд тогда произвел такое впечатление, как будто я увидел его впервые, хотя не раз с Мишей ходил с удочками далеко по берегу, в том числе на Большой и Малый конный. Так назывались два мыса в юго-восточной части пруда, где в летнюю пору пасли лошадей. Точнее, выпускали на кормежку с закованными в железо передними ногами «для сохранности от воров». С этого места я имел возможность видеть ближний остров Баран, но он ничем меня тогда не привлекал. Наоборот, это даже усилило мои возражения в споре с Мишей, который «задавался своими островами».

— Подумаешь! Пустырь и пустырь! Нисколечко не интересно!

Но когда посмотрел на пруд с вышки колокольни, острова неудержимо потянули меня. На нашем заводском пруду их не было, а тут и дальние и ближние, и все они с колокольни казались красивыми.

— Хоть бы на ближнем побывать!

У Еремеевых была лодка, которая считалась дедушкиной. Даже взрослые не имели права пользоваться «без дедушкина слова». Обойтись без этого «слова» было нельзя, потому что с ним передавался и ключ от замка, которым была замкнута цепь у «причала» — огромной коряжины с вбитыми в нее пробоями. Одному Мише лодка не доверялась, а когда он указал на меня, как товарища, Гаврило Фадеич сказал:

— У двоих и баловства вдвое.

И, как мы ни упрашивали, старик уперся на своем:

— Нельзя.

Помог, вернее, подвел нас рыбный пирог. В этом году старшему брату Миши исполнился двадцать один год, и в ноябре он должен был явиться на призывной участок. По такому случаю решил справить именины «по-хорошему», то есть с приглашением родных и близких знакомых. Дедушка две ночи кряду ездил с мережами и очень удачно. Именины пришлись на воскрес-

ный день. Зная, что будут гости, я с утра не пошел к Мише, но он сам прибежал за мной:

— Пойдем! Дедушка за рыбным пирогом подвыпил. Сговорим его!

Я не стал возражать, и мы побежали. В избе было шумно. Гаврило Фадеич сидел на крыльце с каким-то незнакомым мне стариком. На просьбу Миши о лодке Гаврило Фадеич сначала ответил решительным отказом.

— Сколько раз говорить, нельзя!

Но у нас оказался неожиданный союзник, старик, сидевший рядом с Фадеичем. Узнав, что мы просим лодку, он проговорил:

— А я своему даю. В какую хошь погоду. Такой же, как вот эти. Беспрекословно даю. Пускай приучается.

Гаврило Фадеич посмотрел на небо, вытащил из кармана заветный ключ и, подавая Мише, проговорил:

— Ладно уж, потешьтесь для братовых именин. Только больше чтоб никого не брать и засветло домой! Весла берите, которые полегче.

У лодок, рассчитанных для «ботанья и лученья», где человеку приходится работать стоя, главным качеством считается устойчивость, но легкостью хода такие лодки не отличаются.

Мы сначала решили ехать на Дальние острова, но скоро убедились, что и расстояние до Барана нелегко одолеть двум десятилеткам. Оба были в поту, набили мозоли на руках, когда приплыли, наконец, к этому острову. Тут решили сделать остановку.

Пристали с восточной стороны. Лодку, сколько могли, вытащили на берег, поспорили друг с другом о количестве и качестве своих мозолей и для передышки занялись игрой. Оба мы читали «Робинзона», поэтому без раздумья решили играть «в Робинзона на необитаемом острове». Вид заводских труб, плотины, церквей и домов Верх-Исетска, конечно, мешал представлению острова необитаемым, поэтому мы перекочевали на западную сторону Барана, откуда виден лишь дальний бор. Редкие лодки катающихся и рыбаков мы старались не замечать. При организации игры возникло немало спорных вопросов. Прежде всего надо было решить, кому быть Робинзоном, кому — Пятницей. Решили этот вопрос жеребьевкой. Дальше вышло серьезное затрудне-

ние в способе, как выразить готовность Пятницы во всем слушаться Робинзона. Один уверял, что Робинзон должен поставить ногу на спину Пятницы, а другой говорил — на плечо, что казалось просто невозможным. Дальше возник еще более трудный вопрос: что делать на необитаемом острове? Припомнили, что прежде всего надо развести «огонь без спичек». Островок был безлесным. В расщелинах камней только изредка встречались карликовые березки. Нашли все-таки сухих прутиков и стали их тереть один о другой, но они лишь чуть теплели, а огня не было. Хотели соорудить из таких прутиков сверло, но не было шнурка. Миша сообразил, что можно заменить шнурок гайтаном с креста, но нужна была еще планка с отверстием в середине. В нашем же распоряжении был один инструмент — мой перочинный ножик, у которого маленькое перо вихлялось, а большое было наполовину подломленным.

Пока мы пытались преодолеть трудности добывания «деревянного огня», погода, как это иногда бывает на Урале, резко переменилась, стало холодно, подул северо-западный ветер и начал разводить волну. Сперва нас это даже порадовало: все-таки на необитаемом и в бурю, да и обратно при попутном ветре плыть легче. Нас занимало, когда по гладкой поверхности воды побежали пятна ряби. Мы видели, как они, сбегаясь и разбегаясь, перешли в бесформенное волнение, из которого вскоре возникли определенные ряды волн. Когда на волнах стали появляться белые гребешки, мы стали отыскивать «девятые валы». Так как невозможно было точно сговориться о ряде, с которого начинать, то счет у нас не сходился и возникал спор, который вал «девятее»?

Мы видели, как с пруда поспешно уходили лодки. Один из рыбаков, проезжавший вблизи острова, крикнул:

— Пора домой, ребятишки! Скорей убирайтесь!

Нас обидел этот окрик неизвестного, и Миша ему ответил:

— Не маленькие! Без тебя знаем.

Западная сторона пруда теперь стала совсем безлюдной и мрачной, ветер усиливался, и начинало темнеть. Стало страшновато, но именно поэтому каждому из нас не хотелось первому заговорить о возвращении. Еще по-

стояли, но уже оба томились желанием поскорее добраться до дома. Я дипломатически выразил опасения:

— Дедушко-то, поди, сердится, что долго лодку не ведем. Другой раз ключа не даст.

— И то,— быстро согласился Миша.— Пожалуй, пора домой.

Но когда мы подошли к месту остановки, то лодки не оказалось. Ее, как видно, скачало волной, пока мы считали «девятые валы». Нам-таки пришлось провести довольно прохладную ночь на «необитаемом острове в бурю», и ни один из нас не мог похвалиться, что это доставило ему удовольствие. Мы сначала до хрипоты кричали в сторону плотины, потом перекорялись друг с другом, по чьей вине упустили лодку, а когда увидели на берегу двигавшиеся огни фонарей, всплакнули над своей участью.

— Думают, видно, что мы утонули.

Миша ждал телесных неприятностей. Мне это, пожалуй, не грозило, но было хуже: мой «случай с городской учебой» ставился под удар. На выручку пришло «страшное». Оно заслонило все остальное. Вспомнились разговоры о щуке, которая втягивает в пасть целую утку, о гигантском налиме, который выходит на берег и может «присосаться». А вдруг он тут близко? На всякий случай отодвинулись от берега. Все-таки холод осенней ночи оказался сильнее «страшного». Мы сначала подпрыгивали и стучали зубами в одиночку, потом занялись добыванием «внутреннего тепла»: стали бороться. Кончилось тем, что мы, примостившись от ветра за скалистым выступом, прижались друг к другу и крепко уснули. Холод, однако, поднял обоих нас рано, и мы издали увидели, что по направлению к острову шла большая четырехвесельная лодка. В носовой части сидели дедушка Миши, дальше — его отец и старший брат. К своему удивлению, я увидел, что и Никита Савельич в лодке. Екнуло сердце: что будет? Мы даже готовы были куда-то бежать, когда лодка стала подходить к острову, но все переменил выкрик дедушки:

— Испужались, мошенники!

В голосе вовсе не слышно было угрозы, и Миша стал уверять:

— Ничего не испугались! Подумаешь, беда, лодку унесло!

— Рот разинешь, так не то, что лодку, голову унесет. А это ты врешь, что не испугались. На берегу слышно было, как оба ревели да маму кричали! Видишь, голос осип и глаза подпухли.

По части мамы была явная выдумка, но почему-то все в лодке засмеялись над этим. Верили, видно, а дедушка Миши звал:

— Идите скорее,— уши драть буду.

В нашем положении не оставалось ничего другого, как идти в лодку. И дедушка, подхватив Мишу, неожиданно заплакал.

— Испужал ты меня, Мишунька!

Тут пришла мишина очередь, и он «в голос заревел», обращаясь к отцу:

— Не буду, тятя!

— Ладно уж! — промолвил тот.— Надевай вон полушубок. Намерзся, поди?

Только старший брат проворчал:

— Сделал ты меня именинником!

Но отец строго оговорил:

— Не зуди! Со всяким может случиться.

— А ты, Егорко, что скажешь? — спросил меня Никита Савельич.

— В Робинзоны мы играли,— начал я оправдываться.

— Вы играли, а мне отдуваться! — сухо проговорил он, потом более ласково: — На-ка плед. Закутайся хорошенько. Продрог, наверно.

В волокитинских книжках мне не раз случалось встречать такие слова, как плащ и плед, но я не знал, что плед — большая шаль, в какую обыкновенно кутаются женщины, отправляясь зимой в дорогу. Я не умел с ней обращаться, да и стыдно было в «бабью одежу снаряжаться». Никита Савельич строго приказал:

— Разверни и набрось на плечи.

Пришлось послушаться. Сразу стало теплее. Миша уже отогрелся в полушубке и, сидя рядом с отцом, поглядывал на меня веселыми глазами. Я знал: будет потом смеяться, что я ехал в женской шали, как маленький, но мне было не до этого. Беспокоило другое: как дальше будет.

Вышло не так, как я думал. Когда мы пришли домой, Никита Савельич сказал:

— Получи Робинзона! Он, видишь, играет, а мне от тебя житья нет. Ничего ему не сделалось.

Софья Викентьевна, ходившая с заплаканными глазами и со своим «нюхальным пузырьком», была необычно приветлива. Сейчас же стала поить меня чаем с малиновым вареньем, потом уложила на кушетку, натерла ноги спиртом и укрыла своим мягким одеялом, тем самым, что удивило меня в первый день приезда в город.

За чаем я рассказал, как было дело. Старался, конечно, обелить себя, но боялся сваливать всю вину на Мишу, чтоб не запретили играть с ним. Никита Савельич, понявший мою хитрость, проговорил:

— Подобрались! Два сапога пара. Развести вас надо. Ты сегодня на уроки не пойдешь. Буду в городе, скажу там, что прихворнул.

Этот разговор меня встревожил. Еще хуже стало, когда Парасковьюшка укорительно сказала:

— Ты что же, милый сын, вытворяешь? Не у своих, поди, живешь! С оглядкой надо. Что мне отец с матерью скажут?

Я и сам еще в лодке почувствовал, что значит «жить со своими» и «не со своими», и теперь не верил ни теплому одеялу, ни приветливости Софьи Викентьевны. Мне захотелось домой, чтоб там «наругали как следует» и... простили тоже как следует.

Пролежав день, плохо спал ночью, но на следующее утро ушел в училище. Дни пошли обычным порядком, а все-таки я не переставал чего-то ждать. Так и вышло. Никита Савельич, возвратившись из поездки, сказал:

— Видел твоих. Сговорился с ними. Завтра переведу тебя на ученическую квартиру. К нам будешь ходить каждую субботу. Воскресенье здесь, а в понедельник утром на уроки. Понял? Книжки, значит, с собой приносить будешь.

После случая с «необитаемым островом» Софья Викентьевна как-то потеплела ко мне. Раньше всегда обращалась на «вы», теперь говорила «ты», подарила мне чудесную книгу «Принц и нищий». Раз даже стала пересматривать мое бельишко. Нашла, что оно плохонькое, и сделала замечание Парасковьюшке за непростиранный ворот, чем вызвала большое недовольство.

— Нашла куда сунуться! Без тебя не знают! Простирай у них, попробуй! А что рубашонки плохие,

в том ничьей вины нет. Всяк бы доброе заводил, да не у всякого хватает! — ворчала Парасковьюшка, когда Софья Викентьевна ушла в свою комнату.

Вообще стало заметно, что Софья Викентьевна изменилась ко мне, но я почему-то этому не доверял, и мне было неприятно, что она теперь звала меня «Горичкой». Вовсе по-девчоночьи. Вот бы Петьша с Кольшей услышали! Было бы смеху на всю улицу.

Услышав теперь о переезде, Софья Викентьевна запротестовала: зачем с этим спешить, но Никита Савельич загремел:

— Хватит, матушка, с меня твоих сантиментов! Хватит! Парнишка — не игрушка. Изболтается у нас, а там хоть голодно, зато к работе приучат.

Дальше у них пошли «междоусобные разговоры», Софья Викентьевна схватилась за свой «нюхальный пузырек», а кончилось это тем, что мой зеленый сундучок с его владельцем в тот же день оказались на Уктусской улице, в доме Садина. Софья Викентьевна при прощании даже расплакалась и поцеловала меня в веки. Я старательно обтер это место пальцем и подумал: «Как-то у нее все не по-людски выходит».

Но мне почему-то стало жаль ее, и я искренне заверил, что в следующую субботу обязательно приду, хотя перед этим решил: «Ни за что ходить не стану».

В верхнем этаже дома Садина, в расстоянии полутора квартала от училища, была одна из «ученических квартир». Это была не бурса, в которую мне предстояло вскоре перебраться, но все-таки преддверие. Придя с уроков, ученики не имели права уходить с квартиры без особого разрешительного билета, который подписывался только смотрителем или инспектором училища. Даже простой выход на улицу против дома считался преступлением. Вечером с пяти до девяти часов полагались обязательные «вечерние занятия», делившиеся получасовым перерывом на «первые занятные» — два часа и «вторые занятные» — полтора часа. На «первых занятных» не разрешалось чтение книг из библиотеки, надо было сидеть над учебниками даже в том случае, когда тебе казалось, что уроки приготовлены. Квартира почти ежедневно посещалась кем-нибудь из учителей или надзирателей училища, которые проверяли подготовку к урокам и общее прохождение занятий. Случаи

какого-нибудь нарушения установленного порядка «заносились в квартирный журнал», который в конце месяца представлялся инспектору при постановке баллов по поведению. Кроме обычных посещений квартиры учителями и надзирателями, были еще «налеты Антипки косолапого», как звали инспектора. Налеты не были частыми, но всегда неожиданными. Прибежишь, например, с уроков, чувствуешь себя свободно, влетаешь в квартиру, а он тебя встречает вопросами:

— Ты куда пришел? Почему шапку не снял? Где место твоим калошам? Белоручка, не можешь вешалку пришить! Нянюшку надо?

Ни во время свободных часов (с двух до пяти), ни даже во время сна мы не были застрахованы от его посещений. Спокойно придем на уроки, а в большую перемену «всю квартиру» вызывают к инспектору, и начинается вопрошательство:

— Почему простыня грязная, когда в сундуке две запасных? Зачем руки под одеялом держишь, когда всякий настоящий мужчина должен приучаться держать их открыто? Как складываешь одежду? Штаны на стул, рубаху под стул, а пояс где придется?

Это значило, что инспектор побывал ночью и запретил хозяйке рассказывать нам об этом.

Мы, разумеется, не любили Антипку, но теперь, задним числом, думаешь, что человек работал добросовестно, старался привить нам полезные навыки и держал в узде квартирохозяев по части обслуживания и питания, так как в любой день можно было ждать: «зайдет пообедать», «поужинать», «попить чайку». Свирепое отношение к великовозрастным, «прорвавшимся в винопитии» и обижавшим младших, было тоже понятно, так как «ранняя вода» и «культ кулака» были главным злом старой бурсы.

Была лишь одна черта, которая нравилась в инспекторе и тогда: он любил устраивать чтения. Это особенно ярко выступило потом, когда все квартирные были переведены в общежитие. Там после ужина, когда оставалось еще часа полтора свободного времени, он открывал эти чтения в зале. Чаще всего читал сам, и всегда классиков: «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Севастопольские рассказы» Льва Толстого и так далее. Не сторонился нового, что тогда появлялось в печати.

Отчетливо, например, помню, что «Кадеты» Куприна впервые услышал на одном из этих чтений.

Предполагалось, что, кроме инспектора, квартиры должен посещать и смотритель училища, но это уже была легенда. Смотрителем в те годы был И. Е. Соколов, тот самый, о котором не раз, как о своем лучшем преподавателе, вспоминал Д. Н. Мамин-Сибиряк. Никита Савельич, учившийся одновременно с Маминым-Сибиряком, говорил о Соколове менее лестно, но все-таки считал его хорошим преподавателем.

Но с той поры прошло около тридцати лет, и бывший хороший преподаватель семинарии стал скорее забавным, чем страшным смотрителем духовного училища. Звали его «Старый петушок». В отличие от других, он всегда ходил во всех крестах и медалях и непременно в своей бархатной камилавке. Причем убор этот всегда был исправен, с незахватанным бархатом. По этому поводу шутили:

— Так он же никогда не снимает. Как с утра надел, так и до вечера.

Другие объясняли иначе:

— На каждый месяц новые камилавки заказывает, а старые для хозяйства идут: цыплят в них держат, яйца — тоже. Сам видел: полный угол.

Ученические квартиры смотритель никогда не посещал и даже не знал в лицо учеников тех классов, где ему приходилось заниматься. Но все-таки он иногда «выступал с речью». Даже малыши, еще не вполне понимавшие, в чем здесь дело, удивлялись этим речам. Вел он их всегда с пафосом, размахивал руками, потрясая крестами, и неизбежно декламировал какую-нибудь часть из державинской оды «Бог»:

О ты! Пространством бесконечный,
Живый в движеньях вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в трех лицах божества!

Хриповатый голос, жиденькая бороденка, ставшие непонятными слова и преувеличенная жестикуляция — все это производило странное впечатление старины. Перед нами выступал именно преподаватель элоквенции и риторики уже в те годы, когда эти названия употреблялись в ироническом тоне. Смотрительские речи не столько слушали, сколько смотрели, как лицедейст-

во, которое потом пародировалось и немало потешало ребят.

Из воспитательного воздействия оды «Бог» помню лишь ходовую инсценировку к одному стиху:

«Я царь» — солдатская выправка, строгое лицо, плечи приподняты, обе руки на высоте груди, одна зажата в кулак, другая полураскрыта ладонью вверх. Предполагается: в одной — скипетр, в другой — держава.

«Я раб» — ноги, согнутые в коленях, руки повисли, голова опущена, лицо печальное.

«Я червь» — спина и шея продольно искривлены, вытянутая вперед рука делает «ползательные движения».

«Я бог» — голова откинута вверх, глаза выпучены, руки распахнуты, обнимая весь мир.

Сам декламатор оды оказался рабом... стяжательства. В то время, как я узнал потом, особая комиссия уже занималась исследованием двух совпадений: смотритель училища приобрел себе двухэтажный дом с мезонином, а строительство общежития на углу Уктусской и Александровского (ныне 8 марта и Декабристов) велось медленно и плохо. Расследование шло без спешки и огласки и могло бы кончиться ничем, если бы не вмешался «Антипка косолапый», который «донес на следователей». В результате декламатора выперли на приход за город, где он мог в церковных проповедях показывать образцы бурсацкой элоквенции семидесятых годов, чем немало удивлял богомольных старух:

— Припадочный, видно, батюшка. Как начнет проповедь читать, сейчас руками замашет, головой заболтает вроде балаганного зазывалы о пасхе. А о чем сказывает, понять нельзя.

Переход на режим ученической квартиры дался не без трудностей. Мне казалось диким, что нельзя выбегать на улицу со двора даже в «свободные» часы. Не менее удивляли и обязательные сидения за учебниками в течение двух часов. На деле же это оказалось необходимым и своевременным. В сущности, до этого я лишь учил наизусть стихотворения, большая часть которых была мне знакома раньше, а тут пришла пора заниматься более основательно. Чтоб ясней было, напомню, что подготовка в начальных школах того време-

ни была очень разная. Кроме школ земских и министерских, существовали еще церковно-приходские. Если первые две группы школ не могли похвастаться отпускаемыми им кредитами, то в последних это сводилось к совсем ничтожным суммам. Предполагалось, что духовенство бесплатно сумеет найти время для занятий в школе. В действительности этого не было. И на те жалкие средства, какие имелись, нанимался учитель. Разумеется, «соответственный». В силу этого про церковные школы и говорилось: «Не столько там учат, сколько тень на образование наводят». Я же учился в земской школе, где был «настоящий учитель» и даже были «дополнительные предметы за счет завода». Иначе говоря, ходил регент заводского хора и обучал «певучих ребят», а также чертежник, учивший нас черчению и рисованию. Конечно, все это было «чуть-чуть» и направлялось к поиску «склонных», которых потом забирали в хор или в заводскую чертежную, но все же это кое-что давало. Да и учебный год в заводских школах был гораздо длиннее, чем в сельских, где он начинался после уборки хлебов и кончался с началом весенних полевых работ. Так как среди учеников нашего училища было много из церковно-приходских школ, то мое положение было преимущественным, и я вначале мог вовсе не заниматься.

В училищной квартире жило девять человек разного возраста. Трое — мои соученики, двое — великовозрастных, не один раз остававшихся на «повторительный» курс, и четверо третьеклассников, которые уже причисляли себя к старшим. Оба великовозрастные были из «тихих зубрил». Они надоедали разве тем, что не давали повозиться и пошалить во время «вечерних занятий». Из третьеклассников был один «охочий позадаваться», но физические его возможности были ограниченны, и, когда мы, первоклассники, в какой-то игре дружно его отлупцевали, он стал с нами на равную ногу. Вообще мне, как видно, повезло: ни в какой квартире, ни потом в общежитии не помню, чтоб кто-нибудь обижал и притеснял меня как малыша. Вошел в новую для меня жизнь просто, без особых трудностей и переживаний.

У садинского дома было одно ценное качество. Он находился рядом с верходановским садом, на угловом

участке которого достраивалось наше общежитие. Сад занимал тогда большую часть квартала между нынешними улицами 8 марта и Разина. Вдоль улиц Декабристов и Разина шли аллеи старых плакучих берез, к улице 8 марта примыкал участок, засаженный частью хвойными, среди которых было несколько кедров, и частью молодыми липами в возрасте пятнадцати — двадцати лет. Видно было, что за липовым участком наблюдали, деревья были расположены правильными рядами, сходящимися к центру. Липки выращены ровные, прямые, самые удобные для лазанья. Вблизи достраивавшегося дома было полуразрушенное кирпичное здание, похожее на склад. Мне казалось, что это развалины оранжереи, вроде той, какую приходилось видеть в «господской ограде» своего завода. Мои товарищи это оспаривали, уверяя, что тут была бумажная фабрика Верходанова; но эти споры не мешали считать развалины интересным местом для игры.

Значительная часть участка была все-таки пустырем, заросшим репейником и крапивой. Посредине имелись два небольших озерка, которые тоже представляли для ребят большой интерес зимой как катки, а весной, при полой воде, как место для плавания на плотах. Училищное начальство усиленно боролось против последнего использования озерков, снижало баллы по поведению, но все-таки это крепко держалось.

«Садинская квартира», то есть те девять человек, которые там жили, были первыми, «обосновавшимися на новом месте». Владелец дома Сергей Вавилыч проделал в своем заборе калитку, и мы на законном основании, не выходя на улицу, могли носиться по огромному пустырю, прятаться в развалинах, кататься — с оглядкой, впрочем,— на плотиках, которыми служили полотнища каких-то ворот, обрезки досок.

Ребята, живущие в других квартирах, а также казеннокоштные, ютившиеся в самом училищном здании, завидовали нам и усердно расспрашивали, как идет достройка, скоро ли всех переведут на верходановский участок. Когда началась осенняя ловля птиц, это место стало и боевым участком. Городские ребята, жившие по улице Разина, привыкли пользоваться старыми березами для установки силков и западенок, но теперь у них

появились полноправные конкуренты из «садинской квартиры», и, как водится, началась война, к обоюдному удовольствию сторон.

Ученикам училища, разумеется, не дозволялось заниматься птицеловством, но у нас оказался удобный выход. Квартира звалась садинской, но Сергей Вавилыч был только владельцем дома, а ученическую квартиру в верхнем этаже держала его дальняя родственница. Сам владелец дома со своей семьей жил в нижнем, полуподвальном этаже, и его квартира не подлежала инспекторской ревизии. Садин, по основной профессии маляр, был большим любителем охоты, рыбной ловли и всего, что связано с походами за город. Хозяйственные люди, как мне потом удалось слышать, не очень одобрительно отзывались о нем:

— Вавило-то ему вон какой дом оставил и к мастерству приучил. Живи, как у Христа за пазухой, а он себя, гляди-ка, в подвал забил. Недаром, видно, сказано: «Охота — не работа, хлеба не даст».

Сергея Вавилыча действительно чаще можно было увидеть с ружьем или рыболовными снарядами, чем с малярными кистями. Оценивая свое положение, этот высокий длиннолицый человек говорил:

— Больше малярных работ наберешь, меньше годов проживешь. Мой вон родитель на сорок пятом свернулся. Дом нажил, а веку не дожил, а мне желательно наоборот: хоть дом проживу, а свое доживу. Больно ведь занятно в лесу-то и на реке тоже. Вон я...

И он начинал рассказывать о чем-нибудь недавнем. Тонкое, детское чутье подсказывало, что говорит это не промысловик, а человек, влюбленный в природу и хорошо ее наблюдающий. Особенно часто он рассказывал о весенней охоте на глухарей. При этом неизменно выплывало «лучшее токовище в нашем краю», которое удивляло Садина своей добычливостью.

— Ведь и место не больно удаленное. Между Челябинским трактом и полевской дорогой есть свечной завод. Там воск в больших чанах топят, потом в воду спускают, воск и застывает пластинками вроде стружки. Эту восковую стружку раскидывают на большие решета и отбеливают на солнце, как холсты. Места под отбеливание многонько взято, а людей не так уж много. Двоетрое при варке да пятеро-шестеро по разноске восковой

стружки. Что и говорить, дело тихое, а все-таки люди. И рядом, в лесочке, это самое токовище. Куда я ни хаживал, а лучше не видал. Иной раз за одну охоту столько набьешь, что едва до дому донесешь. И не тому дивишься, что охота удачливая, а вот, как это устроено: направо дорога, налево дорога, город близко, а глухарь все-таки это свое токовище не бросил!

В числе других трофеев охоты у Садина была живая лиса. Она была привязана недлинной цепью к обыкновенной собачьей конуре. Понятно, что каждому из нас хотелось «приручить лису», но она злобно тявкала тонким голоском на каждого приближающегося, а если видела что-нибудь у него в руках, то скрывалась в свою конуру. Ближе других подпускала лишь Сергея Вавилыча, когда он приносил еду, но близко не подходила, пока Садин не отойдет. Сосед, нередко заходивший к Сергею Вавилычу, спрашивал:

— На что ты эту нахлебницу держишь? Давно на воротник поспела, а он ее рыбой да мясом кормит! В копеечку она тебе обойдется, а получишь столько же, сколько и сейчас.

— Не конторский я,— отвечает Садин,— чтоб мне все копейки сосчитать. У меня тот интерес, не удастся ли ее приручить.

В квартире у Садина была не одна клетка с птицами, а в сенях жили два ручных голубя. Мы пользовались этой особенностью нашей квартиры: свою птицеловную добычу тащили к Сергею Вавилычу.

Против садинского дома был тогда один маленький домик, в котором останавливались приезжавшие из монастырских заимок. Через ворота этого домика можно было попасть в монастырскую рощу, которая занимала тогда огромную площадь, обнесенную с трех сторон каменной стеной.

Нас, ребят, конечно, привлекали монастырские стены, особенно сложенные из дикого камня. Очень хорошо тут играть «во взятие крепостей». При всей занимательности верходановского сада и строгом запрещении отлучаться с квартиры мы все-таки бегали на нынешнюю улицу Большакова, чтоб оттуда «занять крепость». Кстати, здесь и вовсе в других целях, как я узнал впоследствии, были налажены перелазы. Да ведь

как ловко! Стена как стена, а глядишь — один камень убран, другой выдвинут — иди, как по лестнице! Только, конечно, знать, где эти перелазы.

Взрослые не разделяли мнения о занятности монастырских стен. Наоборот, ворчали, что «монашки город теснотят да наледь разводят». Действительно, эта «монастырская роща» являлась чужеродным телом и мешала правильной планировке растущего города. Если еще можно было понять назначение ближайшего к монастырю загороженного места, то остальной кусок, кварталов на двенадцать — шестнадцать, казался вовсе ненужным для монастыря. Вероятно, за каменными стенами здесь была просто земельная спекуляция более тонкого вида, чем многочисленные пустыри. Частицу этой спекуляции мне пришлось потом увидеть, когда монастырь продал в годы хождения золотой валюты за сто тысяч рублей свой капустник, на котором теперь построено здание электрохимического института (бывшее епархиальное училище) и высшей партийной школы (бывший строительный институт). Разговор о наледи тоже имел основания. На монастырском участке был устроен прудок, который при неналаженности спуска поддерживал заболоченность нижележащего участка города и ранней весной сказывался наледями на улицах 8 марта, Разина, Чапаева.

Живая лиса во дворе, верходановская усадьба, монастырская стена, которую можно брать приступом, четки, щеглы и жуланы «не хуже наших», Сергей Вавилыч, новый уклад жизни — все это так захватило меня, что первые две субботы я не ходил в Верх-Исетск. Когда же наступила осенняя слякоть и игры волей-неволей были перенесены в комнаты, я после какого-то «столкновения в своей среде» вспомнил о Мише, о «необитаемом», о Парасковьюшке, о Никите Савельиче, даже о Софье Викентьевне и почувствовал, что мне стало скучно. Идти в Верх-Исетск уже не решался: «Заругают, что долго не был». В то же время тревожило, как сказать дома, что не хожу к Никите Савельичу. От этого стало еще беспокойнее. Но вот Никита Савельич, возвращаясь из Сысерти, заехал сам. Он рассказал о моих домашних, спросил, как учусь, потом стал разговаривать с другими ребятами. Как выходец из духовных, он знал многих «по отцам», а разговари-

вать он умел. Всем нашим так понравился, что я потом этим даже гордился.

Посидев в верхнем этаже, он сказал мне:

— Ну, пойдем к Вавилычу.

Оказалось, что он хорошо знал Садина и запросто называл его Вавилычем. Разговаривали они об охоте. Никита Савельич сам охотником не был, но очень интересовался истреблением волков, которые тогда довольно заметно мешали скотоводству. Прощаясь с Садиным, он передал ему два серебряных рубля и попросил:

— Ты, Вавилыч, направляй этого парнишку каждую субботу и канун праздника к нам. Когда вовсе грязно, найми ему извозчика. Выйдут деньги, скажи: с ним пришлю либо сам завезу.

С той поры мои субботние походы в Верх-Исетск стали регулярными. Никита Савельич вовсе «не ругался», а Софья Викентьевна усиленно меня «подкармливала», хотя я и в квартире не голодал.

ЗА СОВЕТСКУЮ ПРАВДУ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Партизанское движение в Сибири не раз освещалось в воспоминаниях участников и в художественной литературе.

Это вполне понятно.

Но мне кажется интересной и та полоса, когда движение еще не оформилось, но уже везде чувствовалось.

Обманутое вначале сибирское крестьянство теперь приходило везде к одинаковому выводу: «Какой это порядок: четверть — пирует да торгует, остальные воюют, либо без дела дома сидят».

Ничего яркого, бьющего в глаза в этой полосе жизни Сибири, но мелочи были настолько показательны, что я решаюсь дать маленький кусок тогдашнего быта, по рассказам непосредственных участников.

Здесь нет выдумки. Иногда даже не изменены названия мест и действующих лиц. Оставшиеся в живых могут узнать себя.

Время действия февраль — апрель 1919 года.

ПО ЛИНИИ

Шестеро на площадке товарного вагона — норма. Даже самые строгие охранники не придираются на остановках.

Стоять приходится боком. Положение крайних опасное. «Бывает, что и спихнут». В середине и безопаснее и теплее. Только все-таки холодно.

Конец зимы, безветрено, а дышать больно.

Зима девятнадцатого года, мягкая и снежная вначале, теперь прижала наглухо. Вторую неделю держатся

морозы, лютые, упорно ровные, градусов на тридцать пять. Начинает казаться, что это тоже норма, как шестеро на площадке.

Есть площадка — значит на ней должны стоять шестеро, которые угрузли в шубы, изредка переговариваются, замерзают и безнадежно смотрят на «сибирские просторы».

Кроме телеграфных столбов, не на чем остановиться глазу. Ни одного пятнышка. Бело и ровно.

Хоть бы кустик какой.

Через сорок верст остановки. Станционные постройки видны только крайним — на площадке. Поезд либо не доходит, либо далеко проходит мимо станции. Сходить нельзя — место потеряешь.

К остановке заранее готовятся. В проход и к буферам выставляют острые углы корзинок, сундучков. «Крайние» спускаются на последнюю ступеньку.

Дикая возня, матерщина, просьбы, женские слезы: «Мне бы только перегон!» Все пущено в ход при первой атаке на вагон.

Получив должный отпор, осаждающие переходят к «дипломатическим» переговорам, сначала у вагонов, потом у площадок.

— Может, братцы, кому недалеко? Потеснились бы!

— Видишь — шестеро.

— Выпили бы по стекляшке. Пользительно на морозе...

Из-за пазухи достается самый действительный железнодорожный билет колчаковского времени — бутылка с красной головкой.

Прозрачная жидкость искрится на солнце.

Руки стоящих на площадке, как по команде, вытирают усы. У каждого в голове одно: «Глотнуть бы — сразу теплее станет». Один из спекулянтов равнодушным тоном осведомляется:

— Тебе докудова?

— До Новь-Николаевска только...

— А до его сутки,— вздыхает спекулянт.

— На ступеньку, может, пустим? — спрашивает другой.

— Нельзя. Охрана всех снимет. Скажет — беспорядок.

— Как же, братцы, не выйдет, знать, дело? — спра-

шивает еще раз человек с бутылкой и прячет ее за пазуху.

— Возьми керенку.

— Не. Непродажная.

— Две возьмешь?

«Дипломат» резко мотает длинными ушами заячьей шапки и направляется к вокзалу.

Крики и беготня стихли. Все забились в вокзал, в тепло. Поезд будет стоять не один час. Но пассажиру-одиночке сбегать погреться нельзя. Вещи вышвырнут, место продадут. За бутылку, за две.

Надо держаться, пока можешь.

Холодно...

И куда это только едут?

НА ВОЛЧЬЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Маленький бритый человек в синих очках притулился в середине площадки, между двумя мордастыми спекулянтами.

Поверх городской шубейки надет огромный, с чужого плеча, бараний тулуп с «саксачьим» воротником. «Семифунтовые казанские с крапинками» надежно защищают ноги от холода. Теплая на меховой подкладке шапка-ушанка.

А все-таки, видно, перемерз. Кашляет. Надрывно, подолгу, до холодного поту. Беспокойно возится. Руки тянутся к пояснице, где расползлась окопная язва.

Высокий спекулянт в дохе из дикого козла ворчит:

— Умирать которым пора, а тоже за товаром ползут.

Рыжебородый толстяк, стоящий вторым с краю площадки, поддерживает своего приятеля:

— Вон у меня тоже сидит какой-то... Не шевелится. Замерз, поди, а место занимает.

— Столкнуть когда,— отзывается козья доха.

— Само собой. Куда мерзляков возить. Только я это к тому... Бутылку давеча упустили...

Бритого человека мучительно бьет кашель... Жгуче саднит поясница и плечи. В голове одна мысль — попасть в тепло, в баню.

Куда ехать?

В кармане случайно купленный в Татарске у какого-то полузамерзшего неудачника-спекулянта билет до Иркутска.

Но ехать туда незачем.

Есть и другое удостоверение: на имя Кирибаева — торгового агента по закупке товаров для кооператива. Удостоверение хорошее. Напечатано на машинке. Номер, печать с двумя руками, три подписи. Только полагаться на него все-таки нельзя. Подписи плохо сделаны. Да и мало одного удостоверения. Опыт показал.

В Омске Кирибаев пытался с этим документом остановиться поискать своих,— так еле выбрался.

Пришлось ехать дальше.

В Татарске не пустили ни в гостиницы, ни на постоялый двор. Из-за кашля: «Умрешь, а тут возись!»

Дальше надо куда-то.

Совсем неожиданно показалось белое каменное здание вокзала. Отчетливо бросилась в глаза надпись: Барабинск.

Ни одного замерзшего окна.

Вот где погреться!

Скрючившийся на краю площадки человек, которого спекулянты считали уже мертвым, вдруг спрыгнул со ступеньки и как-то по-заячьи побежал мимо здания вокзала.

У площадки началась обычная битва.

«Попробую здесь»,— решил Кирибаев и полез к выходу.

Сжали до боли в груди, но быстро выбросили на снег.

Теперь в тепло!

Задыхаясь от приступов кашля, Кирибаев побежал к вокзалу, который глазасто уставился на солнце.

В здании оказалось просторно, грязно и... холодно. Окна не замерзли потому, что с начала зимы вокзал не топили. Не было угля.

Железнодорожники пользовались будкой-водогрейкой, но туда попасть постороннему человеку было невозможно.

Надо идти в город.

Барабинск в сущности не город, а железнодорожный поселок. Расстояния пустяковые. Бани общественной нет. Гостиница одна. Две школы, три кооператива. Видимо, конкурировавшие тогда «маслоделы» — «Закупсбыт» и «Сибсоюз».

— Чуть не дерутся за покупателя.

— А гостиница — вон она. Из дробовика добыть можно. Полно там офицера.

Все это Кирибаев узнал от словоохотливого старичонки, который стоял у лошади, выжидая, чем кончится попытка его сына попасть в поезд.

Парню «помогали садиться» двое специально привезенных мужиков, но ничего все-таки не вышло.

— Пропал билет... язви их!

Подошли возбужденные, с матерками, перекорами. Двое «помогавших» стали надевать тулупы. Кирибаев зашагал к гостинице.

Низенькое, длинное, вымазанное глиной здание с обледеневшими окнами. Оборванная обивка двери. У входа желтые дыры в белом снегу.

Долго кашлял перед входом. Готовился, чтобы не отказали, как в Татарске. Потянул ручку. Обдало промозглым туманом плохо топленного помещения и пивным перегаром. Захватило в припадке кашля.

Выбежала старуха.

— Есть комната?

— Вам надолго?

— Не знаю, как придется.

— У нас на время больше берут. Двадцать рублей. За простыни особо. Постоянных жильцов не держим. С хозяином в случае поговорите...

В узкий просвет коридора видна спина в «американской форме».

Тренькает гитара. Визжит женщина. Пьяный мужской голос выводит:

За-ла-туую па-ставлю кра-а-вать...

Кирибаев сплюнул и хлопнул дверью. Старуха что-то кричит вслед.

Куда идти?

«В маленьких домишках, пожалуй, пустят, только ведь подведешь. К доктору разве? Может быть, в больницу положат. Есть же какая-нибудь. А документы?»

На этой мысли Кирибаев махнул рукой и пошел к ближайшему дому. Из ворот как раз вышла женщина с ведрами.

Из разговора узнал, что в Барабинске искать ночлега и какой-нибудь квартиры безнадежно. Городишко переполнен.

— Да вы что? Езжайте до Каинска. Самое это спокойное место. Скоро первый поезд по ветке пойдет.

— А далеко?

— Недалечко же. Двенадцать верст. Поезд три раза в день ходит.

— Билет достать трудно?

— Да нет же! Сколько угодно. Вон дымок.

Кирибаев взглянул по указанному направлению, побежал к вокзалу. Задыхался, кашлял, а все-таки бежал.

В вокзале на скамейках сидело человек пять. Все женщины. Спросил, где дают билеты на Каинск.

— Вон в то окошко.

Подозрительно посмотрел на пустой угол, но пошел туда. На листке бумаги синим карандашом: «Разменом не затруднять. Билет 30 копеек».

Почему только никого нет? Никакой очереди?

Визгливо просвистел паровоз. Пришел поезд. По вокзалу прошла толпа. Больше офицеры и женщины с корзинами.

— Катерина, много вчера добыла?

— Семь бутылок. Не хватило больше. По четырнадцать рубликов теперь.

— Вот так здорово! Почем продавать-то? Очередь большая?

— До собору была. Шесть часов выстояла.

Оставшиеся в вокзале женщины судят о повышении цены. Оказывается, они ездят в Каинск за водкой.

«Из притона, значит, в кабак попаду»,— думает Кирибаев.

В вокзале уже десятка три людей.

Высокий офицер в модной по той зиме белой шапке с длинными наушниками набросился на торговку:

— Ты мне вчера какую водку послала? Сука!

— Обыкновенно какую. За печатью.

— Сама припечатала?

— Да вот те Христос, ваше благородие, цельная была...

— Была, да давно, как ты же,— острит офицер. Потом переходит на свирепый тон.— Вот тебе, сволочь, последний сказ. Разведешь — такие на заду печати наставлю — век не забудешь.

У кассы начинают «грудиться».

В длинном бараньем тулупе прошел кассир, без задержки открыл окошечко, крикнул:

— Ну, кому? Подходи скорей! Деньги сразу готовь, сдачи не буду давать. Холодно.

Кирибаев подал тридцать копеек, получил билет и, все еще не веря, что так легко и просто, вышел на платформу.

Состав — четыре классных вагона и маленький паровозик.

Вошел в ближайший вагон. Никого. Сел к окну на скамейку, подложил под локоть дорожный мешок.

Тепло... Вот где выспаться!

Мешает кашель и зуд. С трудом стаскивает с себя верхний тулуп, ожесточенно скоблит поясницу и плечи.

Вагон наполняется. Проверяют билеты. Сидеть свободно. Никто не покушается на занятую Кирибаевым скамейку, и он моментально засыпает, закрывшись тулупом.

Кажется, прошло не больше минуты, а уже трясут за плечо — выходить.

Эх, если б можно было остаться в теплом вагоне и ездить взад и вперед, пока не выспишься...

Но нет. Надо продолжать поиски.

Еле выбрался из опустевшего вагона. Ноги после передышки совсем отказались служить. Сказались площадка и голодовка.

В маленьком вокзальном здании опять офицеры и женщины с корзинами бутылок.

Извозчиков много. Кричат:

— Пожалуйте, купец. За три рублика довезу.

Цена непривычно дешевая по тому времени. Это действительно угол, где можно отлежаться, полечиться.

— Только вот своих здесь едва ли найдешь.

На площади, в стороне от вокзала, учатся солдаты. По улицам их тоже немало. Часто проходят офицеры.

— Вам куда? — спрашивает извозчик.

— Да где подешевле. На постоялый какой-нибудь.

— К Киличеву свезу. У них купцы останавливаются,— решает извозчик и поворачивает на улицу к Оми.

Низенький дом на пять окон, просторный двор.

В кухне за чаем парятся пятеро крестьян. Две пустых бутылки показывают, что языки развязались основательно.

— Ты думаешь, в том сила, чтоб до краю давить? Нет, брат, с пупа сорвешь.

При входе постороннего — настораживаются, переходят на пустой разговор:

— Ладно, не ершись! Выпьем вот остатнее, и запрягать пора.

— Развоевались у бутылки-то!

Старуха хозяйка в коричневом платке выглядывает от печки на кашель Кирибаева.

Увидев городского человека с дорожным мешком, она бросает предупреждающий взгляд в сторону сидящих за столом и поспешно открывает дверку направо от входа.

— В горенку проходите. Там спокойнее будет.

Кирибаев спрашивает о цене. Старуха с приговорками, что теперь все дорого, назначает рубль за сутки.

— Два самовара ставлю. Которым и обед стряпаю. Тут уж сколько пожалуют. По рублю тоже больше платят.

После железнодорожной линии это кажется до смешного мало. В голове мелькает мысль: «Пожалуй, здесь на месяц хватит прожить».

Хозяйка уходит ставить самовар. Плотно закрывает двери.

В комнате тепло. В простенках столики, накрытые вязаными скатертями. Около печи узкий, обитый клеенкой диван. Божества навешано через число. Из угла иконы повылезли в стороны и перешли в картины, тоже с божественным отливом: «Житейское море», «Афон-гора» и т. п.

Кирибаев разделся, стащил с ног валенки.

Даже острые приступы кашля не могут заглушить животной радости тепла и освобождения от тяжелой одежды.

В кухне толкутся. Видимо, собираются к отъезду. Слышатся отдельные выкрики, обрывки фраз.

Хозяйка приносит тарелку с хлебом, молоко, два блюда с помакухой (разведенная в сметане черемуховая мука).

Хочется есть, но надо держать фасон — дожидаться самовара.

Ждать, кажется, долго. Проглотил один кусок, по-волчьи, не разжевывая. Только разманило.

Старуха притащила самовар.

— У вас, поди, свой чай будет? Сами-то мы кирпичный пьем. И того скоро не будет.

— Ничего, бабушка, какой есть. Я ведь налегке, провизии не вожу с собой.

— А вы откуда будете?

Затевается обычный разговор. Кирибаеву он нужен, чтобы определить положение.

Рассказывает, что ехал по кооперативным делам в Иркутск, да вот простудился и хочет отдохнуть и полечиться.

Старуха сочувственно кивает головой.

— У нас здесь подешевле. В Барабинске вон дорожизь, сказывают. Только вот беспокоят сильно. Каждый вечер обход. Чуть что,— сейчас забирают.

— Кого забирают?

— Да кто их знает. На той неделе вон у меня Суслова Иван Максимыча увели. Бумажку из волости потерял. Ну, и взяли. Мужик-то известный. За двадцать верст живет, мельницу содержит. Три дня просидел. Председатель приезжал из волости. Тогда уж выпустили. Мне за лошадьми ходить— дело несвышное, да и годы не те. А сноха-то у меня не туда смотрит. Все ей гули-погули! Даром, что муж тоже сидит...

Старуха переходит на шепот:

— Сына у меня, Александра, тоже взяли. Сидит теперь. Не пущают к ему. Он, говорят, контрразведка. Нельзя.

Шепот прерывается всхлипываниями.

— Второй уж месяц. А какой он контрразведка, коли чуть жив. Пришел из ерманской, газами его отрави-

ли. Кашляет, что твое же дело. Постоянно. И харчок с кровью. Прямо сказать — не жилец, а его в тюрьму...

— Строго, однако, у вас.

— Просто беда. Замаяли чисто. Вот вечером придут — сам увидишь.

Спохватилась, не сказала ли лишку.

— У вас бумаги-то есть?

— Это уж не беспокойся, бабушка. С линии приехал. Без бумаги там не проедешь.

Сильно хлопнула входная дверь. Старуха поспешно вышла.

Началась перебранка. Хриплый женский голос выкрикивал на слова старухи:

— Ежели он сидит, так мне всю жизнь плакать? Много их, большевиков-то, слез не хватит.

— Кого стыдиться? Не украла — своим торгую. Людям глянется.

Совсем, видно, оголтелая баба.

В ПОЛЧАСА

Против постоялого — большой каменный дом. Видимо, какого-нибудь купца. Над воротами вывеска, которую раньше не заметил: «Каинская уездная земская управа».

Из ворот выходят крестьяне. Небольшими группами, человек по пять-шесть. Одна группа задержалась в воротах. Раскуривают.

Кирибаев переходит дорогу.

— Что много народу плывет?

— Собрания тут была.

— Насчет чего?

— Да обо всем. О школах сейчас шумаркались.

— Денег, поди, нет?

— Это нашли бы. Учителя нет. Половина школ без дела.

— Ребята баклуши бьют, а им хоть бы что! — оживленно откликается один крестьянин.

— Выбирали, так что́ сулили! У нас школы первым делом. Нарошно двух учителей посадили в управу.

— Не выходит, значит, у них дело? — замечает одетый хуже других высокий мужик.

— Про кого это говоришь? — злобно набрасывается на него старик, не проронивший до этого ни одного слова.— На ту, видно, сторону гнешь!

— Никуда не гну. Говорю, не выходит дело, и вся.

— Ребят-то у тебя раньше учили? Лучше, по-твоему, было при той власти?

— Да не к тому я. Чего присыкаешься. К слову пришлось.

Старик поворачивает вправо от ворот и бурчит:

— Как чирей на язык — слова-то у них! Посадить вот сукина сына.

— Садили которые! Поди донеси! Похвалят на старости лет. Медаль дадут. Мне вон дали... за японску.

Потом, обращаясь к другим, прибавляет:

— По бокам надпись: «Вознесет тебя господь в свое время». Ловко?

— Чистохвалы, известно,— неохотно соглашается один. Остальные молчат.

Кирибаев жадно прислушивается.

Делает выводы:

«Есть, значит, свои по деревням. Туда надо. Нельзя ли учителем заделаться?»

В коридоре управы поймал председателя. Бойкий, подвижной человек кооперативно-учительского вида. Небрежно слушает кирибаевский рассказ о причинах остановки.

Вертит в руках «документ» Кирибаева и быстро заключает:

— Пустяки. Видно, что интеллигентный человек. Идите в отдел. Там выберите место.

— Куда это?

— Через квартал. К собору. Там Кузьмина спросите. Записку вот передайте.

В отделе чувашин-секретарь Кузьмич Кузьмин обрадовался новому учителю.

— Вам куда желательно?

— Много разве мест?

— В сорока трех школах совсем нет учителей. Да и в остальные пополнения надо.

— Где бы посмотреть?

— Список у нас есть. Карту вон взгляните.

Кузьмин указывает на карту уезда, которая резко

делится на две полосы: зеленую и светло-коричневую — лес и степь.

Красными кружками отмечены на карте школы. Только два-три кружка с двойной обводкой. Это школы повышенного типа.

Кирибаев тянется к крайнему пятнышку в северо-восточной стороне зеленой полосы.

Прочитывает вслух надпись: Бергуль.

Секретарь еще больше оживился.

— В Бергуль можно. Там уже давно ждут учителя. Школа там новая.

— И лес там? — спрашивает Кирибаев.

— Лесу там! о-о! Коренной урман. Рёмы. Постройки на подбор.

— Далеко отсюда?

— Ну, верст сто с лишним. (Лишек потом оказался тоже сотней.)

— Так вот на Бергуле и остановимся.

— Пишите заявление.

Услужливо предлагает бумагу, перо. Даже стул придвинул.

«Сошлись, значит»,— ухмыляется про себя Кирибаев и пишет: «Представляя при сем удостоверение... №... прошу...»

Секретарь берет написанное, заносит в книгу, пишет что-то на особом листе и уходит.

— Вы подождите, я скоро,— бросает он при выходе.

Кирибаев слоняется по комнате и от безделья рассматривает какие-то диаграммы.

Минут через пятнадцать Кузьмин возвращается и весело говорит:

— Ну, теперь вы — бергульский учитель. Получите удостоверение. Когда поедете?

— Да мне хоть сейчас, ждать нечего,— отвечает Кирибаев, свертывая бумажку, где значится, что такой-то «есть действительно учитель Бергульской школы Биазинской волости, Каинского уезда». Есть печать и три подписи. На этот раз не фальшивые.

— Прогонную сейчас достанем,— говорит Кузьмин и дает распоряжение делопроизводителю сходить куда-то.

Мальчуган-делопут быстро уходит и минут через пять приносит прошнурованную книжечку листов на

тридцать «на право взимания двух обывательских лошадей».

Кузьмин деловито объясняет, где земская станция и где взять школьные пособия для Бергульской школы.

ДЕСЯТЬ ФУНТОВ КУЛЬТУРЫ

На складе — в холодном пустом коридоре нижнего этажа — веселый высокий парень в полушубке выдает Кирибаеву школьное имущество.

Стопа бумаги, коробка перьев, двадцать четыре карандаша и столько же букварей «по Вахтерову». Тощая брошюрка в два десятка страниц, на скверной бумаге. Сюда же кладется приказ генерала Баранова о «новом правописании» и штук сорок переплетенных книжечек — «начатки закона божия».

— Этого у нас много,— говорит парень.— Прибавить можно. Бумагу одобряют.

К этому добавляет еще десятка два картин с голыми Адам-Евами, один задачник, две книжки Басова-Верхоянцева «Конек-скакунок» и начинает завертывать все в большой лист синей бумаги.

Кирибаев пробует протестовать:

— Да ведь тут одно божество. Куда я с ним?

— А вы его разбавьте «Коньком-скакунком»,— отшучивается парень.

— Ручек хоть дайте. Книг для чтения.

Заведующий складом, не переставая улыбаться, говорит:

— Книжки еще не составлены, а ручек вовсе не даем. Не к чему! Насадят ребята зорьку пера на прутик, вот и ручка. Распишитесь-ка лучше да уезжайте до вечера,— прибавляет он, придвигая ведомость.

Лицо парня на минуту становится серьезным.

Кирибаев расписывается, берет маленький синий тючок и, взвешивая на руке, говорит:

— Немного же культуры повезу.

— Сколько имеем. Всем одинаково даем. Вот корабли прийдут, так возом привезем. А может, и ближе найдется. Ждите.

Кирибаеву хочется слышать в шутках парня скрытый смысл, и он спрашивает.

— А скоро?

— Не раньше как урман оденется,— отвечает парень и подает руку.

В коридор входят какие-то женщины, и Кирибаев отправляется разыскивать станцию.

Там в две минуты.

— Ладно, к трем подадим. Только не задерживайте. Нас, небось, штрафуют, а как пассажир тянет,— ему ничего.

«Это, видно, у них на военную ногу поставлено»,— думает Кирибаев, возвращаясь на постоялый.

Старуха одна. Ходит с заплаканными глазами.

На вопрос: «Нет ли пообедать?» — уныло отвечает: «Жареные окуни только».

— Давай, бабушка, поедим.

Хорош ведь жареный окунь, когда правильный документ в кармане и прогонная книжка есть. Даже постоянные приступы кашля не так беспокоят.

«Найдем своих. Везде они есть»,— думает Кирибаев, вспоминая обрывки разговоров, рукопожатие веселого парня и загадочную фразу: «Как урман оденется».

ИЗ-ПОД ГЕНЕРАЛЬСКОГО ГЛАЗА

Около трех часов к постоялому подъехал земский ямщик, узкобородый человек с мягким говором выходца из средней полосы России.

Пара лошаденок, ободранная кошевка. Дорожная шуба для пассажира. В углу какой-то старик в зипуне и огромном малахае с напуском по-казахски.

Ямщик осведомляется у «господина-пассажира», можно ли провезти «старичка».

— Свойственник будет — к дочке пробирается.

— Мне не помешает,— говорит Кирибаев, укладывая свой багаж.

Дорожная шуба пригодилась. Ее надел старик.

— В лучшем виде доедешь,— говорит ямщик.

Зазвенели колокольцы.

На улицах безлюдно. Лишь около собора длинный хвост очереди. Голова уперлась в каменный домик, над которым подлинный обломок царского прошлого — зеленая вывеска казенки с белыми буквами.

Уж не она ли подсказала сибирскому правительству выбрать зелено-белый цвет для своего знамени?

Казенка работает усердно — торгует с восьми утра до десяти вечера, но почему-то торговля ведется из одной лавки.

Кирибаев пытается разузнать у ямщика, почему такой порядок получился. Но тот отвечает неопределенно:

— Берегуться, може. Кто их знает! Маята народу. В Омском вон из камитетов торгуют,— с завистью прибавляет он.

Кирибаев вспоминает «демократическое достижение» Омска — торговлю водкой из домовых комитетов — и улыбается в воротник шубы. Вслух сочувственно говорит:

— Да, у них хорошо; только вот дороже.

— Много ли! Два рубля на бутылке берут. А удобство-то какое! Да хушь три возьми — только без очереди.

При выезде из города, у последней хаты, люди с винтовками.

Старик беспокойно завозился, распахнул шубу, бормочет:

— И куды оно запропастилось?

— Не беспокойсь, не спросют. Знакомцы тута,— успокаивает ямщик.

Из домика выходит человек в черном полушубке и папахе, вроде грачиного гнезда. Кричит:

— Гриньша, это што же ты сам?

— В разгоне все. Да и дело есть.

— За ханой, знать?

— Может, и будеть,— улыбается ямщик.

— А эти кто?

— По прогону едуть. От земства.

— Ну, айда. Заворачивай буде на обратном.

— Не без этого.

Опять запозванивали колокольцы, и кошевка стала нырять из ухаба в ухаб.

Степь, казавшаяся равниной с площадки вагона, теперь изматывала своей неровностью. Лошадям тяжело. Ямщик то и дело кричит:

— Ну-к вы, ахуны, играй ногами веселея!

Кирибаев силится вспомнить, где он слыхал такое необыкновенное применение слова «ахун» (мусульманский богослов, мулла).

«В Казанской если — речь не та. Где-нибудь под Тулой, либо в Рязани».

Потом спрашивает:

— Вы откуда будете?

Ямщик оживился.

— Рязанские мы... Данковского уезда... Именье там князя Урусова. Богатимое. Слыхали, може?

Начинается обычный для большинства переселенцев Сибири рассказ о местах своей родины.

Кирибаев не слушает. У него теперь другое в голове: за кем Дон? Его верховье?

Угрюмый старик зато разговорился.

Он сказался туляком, Епифанского уезда. Соседи, значит.

Замелькали в разговоре названия городков и больших сел, вплоть до станции Ряжск, которую оба переселенца помнили и теперь, через десятки лет после того, как там «парился» их переселенческий поезд.

К вечеру потеплело. Полетели белые пушистые хлопья. Лошаденки совсем притомились и еле тащили кошевку. Встречных — ни одного человека.

— Не ездиют к нам вечером — боятся,— говорит ямщик.

— Чего боятся? — спрашивает Кирибаев.

— Неприятностев много. Обыски там, бумажки требуют. Забыл — садють... Кому охота?

— Это верно,— соглашается старик,— строгостев много. Только не к чему это.

— Енералы, будь оне прокляты,— бормочет он себе под нос.

Мелькают огоньки — станок скоро.

У ХОЗЯИНА «НЕ ПОСЛЕДНЕГО ДОМА»

Холодная изба, набитая до отказа. Ходят взад и вперед, впуская клубы белого морозного воздуха на лежащих тут же у порога людей. Накурено «турецким из своих огородов». Горит малюсенькая лампочка ярким беловатым светом.

— Ишь богачье — скипидарь жгуть,— замечает привезший Кирибаева ямщик.

— Будь он неладен. Погляди — сажа полетит. Весь потолок испакостили — не домоешься,— откликается хозяйка.

— Не карасин, известно, а супротив масла все лучше.

— О карасине, видно, не поминай. До лучины достукались с войнами-те. В городу лучина пошла. Из урмана возят. Там хватит.

— У нас хватит,— подтверждают сидящие за столом урманцы.

— Сейчас вон везем два воза. Лучина первый сорт.

Кирибаев пробирается к столику, где сидит человек с книгой.

Тот неохотно берет «прогонную», долго рассматривает надпись, потом лениво записывает и кричит:

— Ванятка, кому за очередь?

— А куды? — отзывается с полатей ребячий голос.

— На урман.

— Мыльникову, кажись.

— Ну-ка, сбегай. Скажи, утречком штобы.

С полатей выбирается мальчуган, напяливает полушубок, схватывает шапчонку и хлопает дверью.

Минут через двадцать, когда Кирибаев только что пробрался к чайному столу, пришел Мыльников. Началась руготня, счет очередей. Выплыл какой-то поляк («Лучше моего живут!») и однолошадный чувашин («я виноват, что он завести не может?»). Много раз упоминается хана́, но кончилось тем, что Мыльников согласился.

— Кого хоть везти-то?

— А вон,— указывает нарядчик.

— Поклажи-то много?

— С полпуда не будет,— успокаивает Кирибаев.

— Ну, так завтра на свету приеду. А то ко мне пойдем. Все равно где спать. У меня, поди, лучше будет. Бабы самовар ставили, как пошел.

«Хуже не будет»,— думает Кирибаев. Вылезает из-за стола и начинает одеваться.

— Все-таки выгадал,— шутил нарядчик.

— Выгадаешь у вас! Хано́й подмочены — не просушить,— огрызается Мыльников.

Идти недалеко, но тяжело барахтаться в длинном тулупе по незнакомым тропинкам, занесенным снегом.

Изба у Мыльникова просторная, но тоже холодная. Есть горенка, дверь в которую на зиму заклеена. В углу — кровать с занавеской. По стенам «победительные» картины, еще от времен японской войны. На столике

под зеркалом несколько книжек и желтая стопка газет «Барабинская степь».

«Ловко придумали заголовок. Надо бы прибавить — «зимой»,— улыбается про себя Кирибаев и берет верхний листок газеты.

Захлебываясь от восторга, газета сообщает о захвате Перми и победах «нашего талантливого молодого генерала Пепеляева».

— Хорошо пишут,— говорит Кирибаев.

— Пишут-то хорошо. Ну, только...

— Что?

— Не выходит толком.

— Как не выходит! Вот Пермь взяли, Вятку возьмут, а там и Москва.

— Скоро сказка сказывается... Далеко до Москвы-то. Пока до нее доберешься, дома не способишься,— уныло отвечает Мыльников.

— Что так?

— Недостатки-то наши. Чего не хватает,— все правительство завиняют. Известно, темный народ. Им все сразу подай. Ситцу вот нет, железа, керосину...

— Ситцу? Да в Каинске на базаре сколько хочешь.

— По пятнадцати рублей немного укупишь. Хлеб-от почем? Знаете?

— Какой это ситец! — вмешивается в разговор жена Мыльникова.

— Званье одно, а не ситец. Разве такой из России шел?..

Старуха мать тоже не остается безучастной.

— Довоюются, что нагишом ходить будем. Вишь, у нас робятье голопузые ходят. А ведь дом-от у нас не последний!

— Ну, будет вам! — прикрикнул Мыльников.— Тащи самовар да не путай беседу, не бабское тут рассужденье.

За чаем длительно жалуется на «сибирскую бабу», которая не знает тканья, как расейская, и балмошит мужика.

— Как балмошит?

— Ну, скулит. То ей подай, другого недостача. Невтерпеж станет от бабьего зуда, мужик и заборщит.

— Бунтовали разве у вас?

— Нет, бог миловал. Генерал Баранов не допустит. Чуть что — сейчас отряд.

— У вас были?

— Только сперва. Постегали которых маленько. Вон в урман недавно сотня ходила — на Биазу.

«Значит, к своим попаду»,— думает Кирибаев и осторожно продолжает расспросы.

Мыльников, однако, насторожился. Отвечает односложно, потом сам начинает расспрашивать: кто? откуда?

После чая Кирибаев лезет на полати. Фитиль гасится. Кашель и вошь не дают уснуть. Не спит и хозяин «не последнего дома». Ворочается и шипит на жену:

— Выпустила язык при постороннем человеке. Ситцу ей московского подай! Дура несчастная!

— Да я...

— Молчи. Дрыхни!

Слышны тихие всхлипывания жены.

Мыльников выходит в сени. Потом возвращается, долго возится в темноте, закручивая папиросу.

Лезет в печь за угольком. Долго курит. Укладывается в постель и снова ворочается — заснуть не может.

В СТОРОНЕ ОТ ДОРОГИ

Рано утром выехали.

Мыльников, растревоженный вчерашними разговорами и разбитый бессонной ночью, угрюмо молчит.

Буркнул только, усаживаясь в сани:

— Вози вот тут. За всех пьяниц ответчик! А очередь не моя.

Кирибаев тоже молчит. Расспрашивать ему теперь не о чем.

Там — по линии железной дороги и в городах — колчаковщина еще казалась живой.

Важно разгуливали на станциях щеголеватые люди. Матерно, с вывертами ругались, блевали и скандалили колчаковские каратели. Отчаянно копошился спекулянт.

Изредка мимо станции пробегала «американка».

Через широкие зеркальные окна вагонов можно было тогда видеть новых «хозяев» Сибири.

Неподвижными рачьими глазами глядели окаменелые в своей важности американцы и англичане. Загадочно улыбались японцы. Около хорошо выкрашенной и до последнего бесстыдства разодетой поездной мадамы хорохорился смешным золоченым петушком французский полковник. Хищно уставился какой-то накрахмаленный до пупа делец.

В городах — «ать! два!» — муштруются «кормные» сибирские парни, одетые в американскую форму. «Держат охрану» пьяные казаки и свирепствуют уездные и губернские генералы и атаманы. Лезут везде, даже в школьное письмо. Хотят «все искоренить» и «ничего не допустить».

Немногочисленные сибирские рабочие давно сидят по тюрьмам. Приезжие крестьяне стараются скорее кончить свои дела и до вечерних обысков убраться в деревню. Городской обыватель потихоньку скулит.

Из деревни положение казалось не таким. В каких-нибудь двадцати верстах от города стало видно, что деревня совсем откачнулась. Говорить плохо о власти боятся, но ни в чем уже ей не верят.

Чуть не единственный разговор здесь: нет товаров и сбыта хлеба, нет заработков.

Даже «домовитые мужики», вроде Мыльникова, и те потеряли надежду устроить жизнь с помощью иностранных рвачей и своих жуликов, обалделых от пьянства и распутства офицеров.

Сначала такие «домовитые», как видно, помогали новой власти, хватали деревенских большевиков и чувствовали себя хозяевами в деревне.

Теперь затихли, прижались и покорно выполняют — «за разных пьяниц» — наряды без очереди.

Остальные крестьяне крепко запуганы карательными отрядами каинского генерала Баранова и подозрительно смотрят на незнакомого городского человека: не подослан ли?

«Пожалуй, мои документы дальше и показывать не придется»,— думает Кирибаев, вспоминая, как удалось обменить «слепуху» на удостоверение учителя Бергульской школы.

«Вот тебе и три подписи с печатью! — улыбается он своим мыслям.— А книжку «для взимания двух обывательских» лучше и не вынимать из кармана».

Длинная улица села кончилась. Опять началась намозолившая глаза нудная зимняя степь. Дорога стала еще хуже.

На узенькой ленточке санного пути можно было разъехаться только порожнякам.

Привычные степные лошади осторожно сходятся друг с другом чуть не плечо к плечу. Ухитряются как-то не зацепиться запрегом. Цепко держатся против встречных саней, которые от этого опрокидываются в сторону. Пассажирам приходится кувыркаться в снег, но лошади удерживаются на твердой тропинке, и дело идет все-таки спорее.

Попутный обоз удается обогнать только на особо сильной лошади, которая может скакать по глубокому снегу, как лось.

С половины дороги стали попадаться встречные обозы с грузом.

Мыльников ворчит на себя:

— Надо бы часочком пораньше. Вымотаешь теперь булануху.

Приходится сворачивать в снег, подальше от обоза,— иначе завалит возом. Когда пройдет обоз, надо вылезать из саней, чтобы лошади легче было выбраться на полоску дороги.

Возня в снегу вконец измучила больного Кирибаева. Он заходится в приступах надрывного кашля.

Даже Мыльников пожалел:

— Не доедешь ты, парень, до места. Полечился бы где. Полторы сотни верст ведь еще. А вишь нажимает, даром что под масленку пошло. На блины, видно, стужа.

— Доберусь как-нибудь. Прогреться бы только.

— Это ты верно. Баня — первое дело,— бороздит Мыльников по больному месту.

Кирибаев беспомощно ерзает в своих двух шубах от жгучего зуда по всему изъеденному телу.

Мучительно сверлит давнишняя мысль: «В баню бы! В самый жгучий жар».

Тут же в сотый раз повторяется другая: «Не очень же ловко разъезжать здесь казачьим сотням. Прикрытия вот только для стрелков нет!»

Хоть бы кустики какие в стороне!

На станке Кирибаеву посчастливилось. Оказался встречный ямщик из Дорофеевки, который обрадовался «за по-пути» загнать очередь.

— Погрейся часок. Лошадка вздохнет, и айда. На свету приедем.

— Видное дело,— поддерживает хозяин избы.— Невелик волок. Тридцать верст как, поди, не доедете.

— Дорога ныне из годов только. Обрез, понимаешь, в сажень. Напросте оглобли береги, а с возами их сколь переломано.

— Нашел добра — оглобли считать. Мало их в урмане? Лошадям убойство,— это скажи!

Начались разговоры о заваленных возах, искалеченных лошадях и надорвавшихся хозяевах.

Под эти разговоры Кирибаев поспешно глотает какую-то красноватую горячую жидкость и забирается на полати.

Передышка недолга. Ямщик торопится.

Опять надо барахтаться в снегу.

Верст через десять от станка степь стала переходить в лес. Начали попадаться отдельные кусты и деревья. Больше талинник и осина. Потом появились группы берез, изредка сосна. Еще дальше — ельник, пихтач, кедровник.

Но нигде не видно сплошной лесной стены, как на севере России или на Урале.

Деревья разных пород, корявые, подсадистые, стоят далеко друг от друга. Все кажется, что это только начало леса. Но едешь сотни верст — картина не меняется. Со всех сторон видишь на равнинной местности разнопородное редколесье. Дальше к северу только чаще встречаются пихта и кедровник, но везде в смеси с березой, осиной и кустарниками.

Открытых больших полян тоже не видно.

— Где же у вас пашни?

— По гривкам пашем. Где посуше. Вон тут надысь пахоть была,— указывает ямщик на группу редких деревьев.

— Заброшена?

— Как знать? Может, кто и вспашет. У нас и так бывает: один бросит, другой подберет. Не поделена земля-то.

— Вовсе и хозяев нет?

— Зачем нет? Иной много лет пользует, чистит. Ну, а бросит — хоть кто бери. Просто у нас. Не в Россее. Завидного только нету. Скребешь на ем — чертовом болоте,— а соберешь... всего ничего. Жизнь тоже!

— А что сеете?

— Пшеничку норовим развести, да вымерзает. Овсы и льны — эти ничего. Родятся. Ну, рожь годом бывает.

Деревни пошли совсем не такие, как в степи. Глину и плетень сменили толстые сосновые брусья и жерди. Соломенных крыш не стало. Пошел гонт, стружка, двойной тес. Дров не жалеют. В избах, несмотря на одинарные рамы, жарко.

С освещением зато стало хуже. Скипидара в лампах нет и в помине, сальников тоже нет. Везде чадит и полыхает лучина.

Крестьянские разговоры переходят в речи охотников и лесопромышленников.

— Почем лисицы? Каков наст на Кривом? Сколько зверя забили остяцкие? Спрашивают ли лодку в Каинске? Много ли плахи на базаре?

Общее во всем этом — нет сбыта, жить нечем.

— Не угложешь его — урман-от.

О власти здесь вовсе не говорят. На проезжего смотрят косо, но узнав, что это учитель, немного смягчаются и без большой задержки дают лошадь.

Документов не спрашивают и записи не ведут.

На третий день своего бултыханья по урманским снегам Кирибаев добрался до Биазы. Это волостной центр.

Секретарь волостной управы, или, как все его зовут, писарь, встречает приветливо. Поглаживая свои жесткие унтер-офицерские усы, он успокаивающе говорит:

— Теперь уже вам пустяк осталось. Не больше десяти верст. Только в сторону это от тракта будет.

Оказывается, что тропа, по которой до сих пор ехали, была трактовая.

Пока нарядчик ходил за лошадью, Кирибаев расспрашивает писаря о Бергуле. Тот охотно отвечает:

— Одни кержаки живут, девяносто девять дворов. Никого постороннего не пускают.

— Со школой,— это верно,— там трудно будет. Мастерицы учат. Такую бучу подымут, знай, держись!

— Главное, баба. Своих-то мужиков погаными почитают, коли съездят куда подальше. Из одной чашки есть не пустят, пока к попу не сходят после дороги.

— Чудно́й народ. Поп у них есть, свой. Чистая язва. Он всем и верховодит... Через бабу, конечно.

— Какого толку? Этого, пожалуй, не сумею сказать. Слыхал, будто Федосьина вера — зовется. Шут их знает.

К волости подъехал парень на длинных санях с необыкновенно широкими неокованными полозьями, как у нарт.

— Заганй, сколь раз вылетишь? — шутит парень.

— Неужели еще хуже дорога будет?

— Обрез сплошь. Белоштаны-те третью неделю сидят. В Каинск не едут. Бурана ждут.

— Какие белоштаны?

— К которым едешь. Они, вишь, в стороне живут. В снегу маются хуже нашего. Ну, и надевают сверху пимов штаны холщовые. Чтобы не засыпалось, значит. Мужики и бабы — все эдак в дорогу снаряжаются.

Тропа, по которой свернули сразу от волости, стала за селом совсем невозможной. Справа и слева глубокие крутые выбоины — обрезы. То и дело надо было отворачивать сани. Верхнюю шубу Кирибаеву пришлось снять и вместе с багажом привязать к саням.

— Вот и поезди по такой дороге с возом,— сочувствует парень бергульцам.— Одна надежда — буран обрезы заметет. А его все нету. Чистая маета.

«Ну, и угол»,— перебирает Кирибаев в голове обрывки слышанного о Бергуле.

«Здорово расщедрились господа земцы. Целых десять фунтов городской культуры посылают. Открывай школу, просвещай! Вот тебе в первую очередь закон и священные картины про райское житие, на придачу двадцать четыре паршивеньких букваря «по Вахтерову», столько же карандашей, стопа бумаги, чернильный порошок и коробка перьев. Просветители тоже!»

ФЕДОСЬИНА ВЕРА

В потемках добрались до Бергуля. Парень-возница, увидев у одной избы группу подростков, закричал:

— А ну, проводите кто до старосты!

— Он же у логу. Троху подайся управо, тута и живет.

— Вот то-то «троху»... Запутаешься в вашей стоянке. Проводи, ребята!

— Ты с кем едешь?

— Учителя вам везу...

— Учителя?

Ребята оживились.

— Омелько, бежи до саней. Проводи до старосты.

— Може, до дядька Костьки? У них «мирские» пристают,— замечает другой.

— Каки Костьки! Веди к старосте,— настойчиво требует парень.— Расписку мне с него надо.

Омелько, высокий черноглазый подросток, лет четырнадцати-пятнадцати, садится в сани и говорит:

— Езжай на ту загороду.

Началось путешествие по Бергулю. Стало понятным, почему ямщик просил провожатого. Никакого подобия улиц в Бергуле нет. Девяносто девять домов широко разбросаны,— кому где показалось лучше. В потемках похожи на отдельные заимки.

У старосты просторный, недостроенный еще в одной половине дом с плотным забором. Злой волкодав во дворе.

Староста, квадратный человек с раскосыми глазами и широкой бородой, узнав, что приехал учитель, услужливо предложил проводить на квартиру — к Костьке. Ямщик почему-то уперся.

— Ни к каким Костькам не поеду. Здесь лошадь поставлю. Наездился. Будет!

— Та восподину вучителю неудобно же у мене будеть. Комнатки нет, а воны, може, курять.

Кирибаев успокоил, что курить не будет.

— Мать у меня — стар человек, не любить,— оправдывался хозяин, укорачивая цепь волкодаву, который свирепо бросался на нежданных посетителей.

Старуха в черном платочке, из-под которого чуть

виднелся белый ободочек, уперлась во входивших глазами злее волкодава.

Сын-староста виновато суетился и объяснял, ни к кому не обращаясь:

— Вучителя вот послали.

— Кого вучить-то? — спросила старуха.— И так на ученье мають. Табак жгуть, рыло скоблють. Мало, видно? Остатнее порушить хочуть?

Неожиданно за учителя вступился плешивый старик, чеботаривший около теплухи.

Судя по обрезанной выше колена ноге, он, видимо, соприкасался с городской жизнью, хотя бы на операционном столе.

— Не глядите вы, восподин вучитель, на старуху. Она у меня як старица. Того не смышляет, что у городу мальцы и девки нумеры знають, у школе вучатся. Скидайте шабур да идите до железянки. Тепло тута.

Гостеприимство старика окончательно взбесило старуху:

— Тьфу ты, сатанин слуга! Внучку-то тоже нумерам вучить будешь? Мало покарал восподь. Горчайше хочешь?

Старуха с остервенением плюнула в сторону мужа и ушла в боковуху отмаливать грех встречи и разговора с «мирским человеком». Больше она не показывалась. Вызывала раз сына и несколько раз кричала невестке:

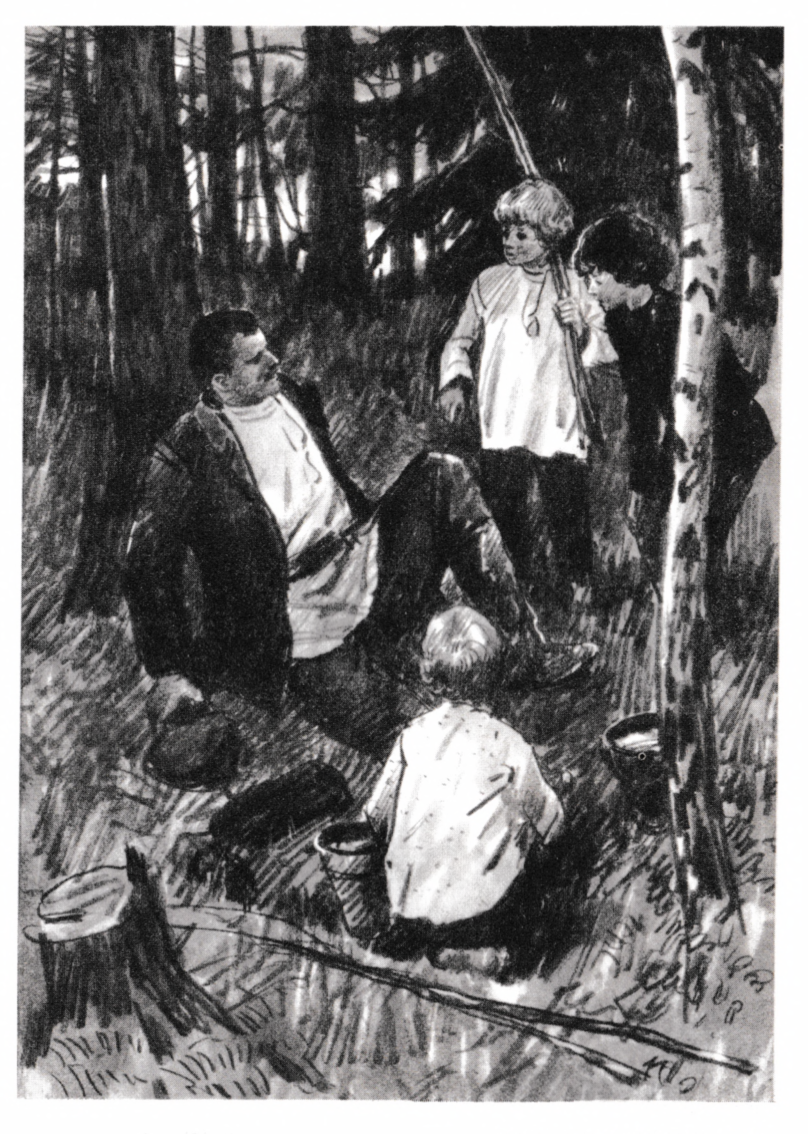
— Листька, иди до мене!

С уходом старухи в избе повеселело. Молодая хозяйка забренчала посудой у печки. Старик, обрадовавшийся новым людям, пустился в длинные разговоры о бергульском житье.

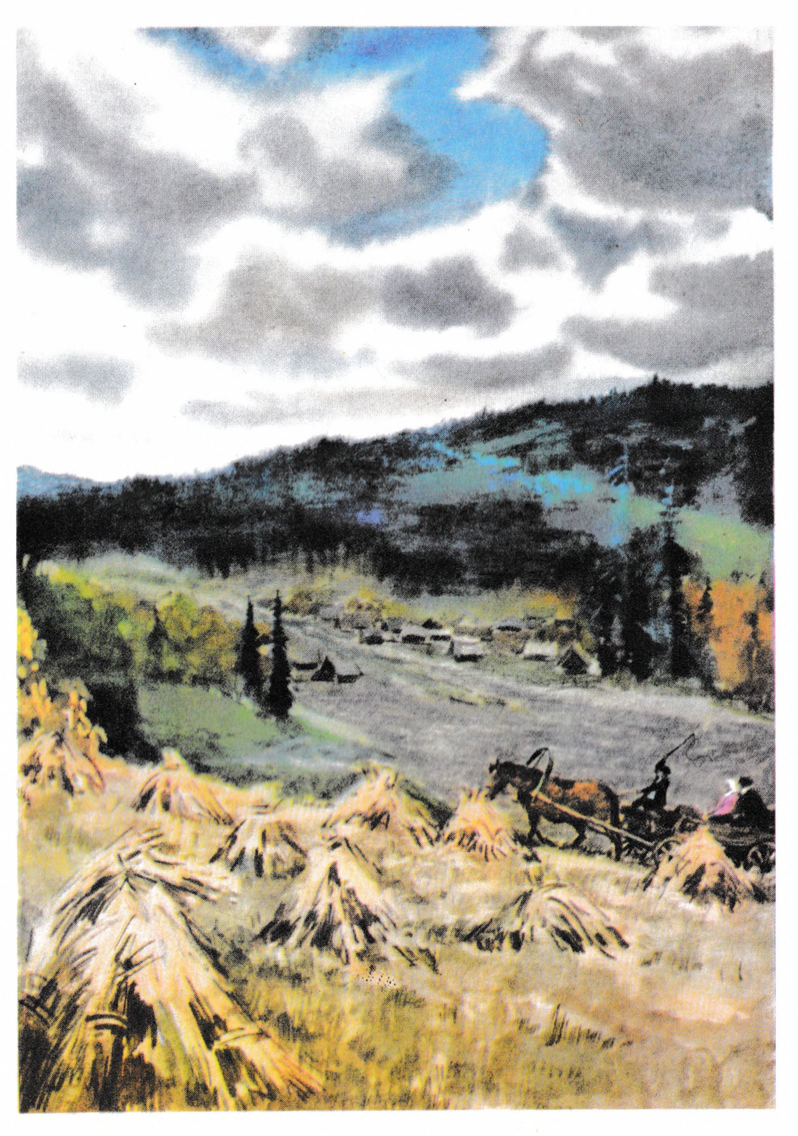
Пришли они сюда — в урман — семнадцать лет тому назад. Все «по древней вере». Раньше жили в Минской губернии. Деды и прадеды жили за границей. Туда бежали из Новгородской губернии в пору жестокого «утеснения».

— Здесь насчет веры свободно, только жить плохо. Ни тебе агресту, ни яблочка. Пшеница и та через пять лет родится. Всю зиму мужики буровят пилу. Остякам тут только жить!

— Бесперечь переселяться надо на новые места. Где потеплее. Вот только заваруха кончится. Жить стало невмоготу. Дом сынок развел большой, а кончать нечем.



«ЗЕЛЕНАЯ КОБЫЛКА»



«ДАЛЬНЕЕ — БЛИЗКОЕ»

Уже после того как Кирибаев с ямщиком поочередно поели похлебки из «мирской» чашки и напились сусла, старик еще долго жаловался на «проклятый вурман» и расписывал «новые места» где-то за Бией.

Парень-возница давно всхрапывал, староста тоже казался спящим, но Кирибаев, измученный дорогой и поминутно кашлявший, все-таки поддерживал разговор.

Занятной казалась самая форма речи старика. К основному русскому говору пристали мягкие окончания южанина. Украинские слова: шо, мабуть, троху — переплетались с польскими: агрест (крыжовник), папера (бумага). Тут же тяжело брякало сибирское: сутунок (отрезок тяжелого бревна), шабур (верхняя одежда). Немало влипло и от церковной книги: молодейший, тонейший, беси, еретики.

Забеспокоился в люльке ребенок. Мать укачивает, вполголоса приговаривая:

Кую ножки,
Поеду у дорожку,
Поеду до пана...
Куплю барана.
Панасейке — ножки,
Панасейке — рожки
И мяса трошки...

— Листька, иди до мене! — кричит из-за двери старуха.

«Нельзя, видно, ночью ребенку песню петь»,— догадывается Кирибаев.

— У, старая! Когда только такие переведутся!

БЕЛОШТАНСКОЕ ЖИТЬЕ

Рано утром Кирибаева будит староста:

— Пора на сходку.

Постаралась старуха поскорей освободиться от незваных гостей. Чуть свет заставила сына собрать сходку.

В просторной избе, которую снимают под сборню, уже начали собираться. Все больше средний возраст. Стариков не видно. Разговаривают, шутят. Исподтишка наблюдают за «вучителем», который примостился сбоку стола и говорит с соседями о школе.

«Вучителю» толпа тоже кажется непривычной.

Странно, что не видно ни одной цигарки, непривычно обращение друг с другом на вы и какие-то удивительные имена: Ивка Парфентьевич, Панаска Макарьевич, Омелька Саватьевич.

Каждый вновь пришедший на минуту окаменевает, уставившись на образа. Отчетливо слышно, как стучат костяшки пальцев в лоб. Резко отмахиваются три поясных поклона. Так же резко три поклона по сторонам. И только после этого пришедший сбрасывает окаменелость и становится обыкновенным живым человеком.

Из-за занавески от печи идет к двери высокая женщина с огромным животом.

Кто-то спрашивает, указывая глазами на живот:

— Вустька, кто же вам позычил такое?

— Позычите вы, кобели иродовы! — огрызается солдатка.

— Сиротьско дело — пекутся,— хохочут мужики.

Изба наполняется. Становится тесно. Острым стал запах свежевыделанных овчин. Открывается сходка.

Кирибаев, под влиянием вчерашней встречи со старухой, начинает доказывать, что надо записывать в школу мальчиков и девочек.

— Та мы ж давно желаем. Третий год просим. Все готово. Вучителя не едуть.

— Боятся, знать, наших баб,— шутят из толпы.

— Мальцов и девок запишем. Хоть сейчас.

— Девок на што? Не порховища у школе,— пробует кто-то возражать. Но его успокаивают.

— А вы не пишите, коли не хотите.

— Ну, а вучилище где будеть? — спрашивает староста.

— Та где же говорено — у Костьки Антипьевича. Самое у него вучилище и квартира вучителю будеть.

Названный Костькой, высокий крестьянин с бельмом на левом глазу, считает нужным оговориться:

— Можеть, кто другой желаеть?

— Кто ж пожелаеть, коли у вас дом у селе большейший.

Дальше условливаются, когда привезти школьную мебель, которая сделана еще до революции и стоит по домам.

Выбирают попечителя, черного верзилу, с которым разговаривал Кирибаев перед сходкой.

Со схода Кирибаев пошел осматривать школьное помещение. Кроме хозяина арендованного под школу дома, с ним пошли вновь избранный попечитель и староста.

Дом оказался просторным, с блестящими, как лакированные, стенами из кедрового леса. Для класса назначалась угловая комната с большой печью — «щитом», по местному говору. Рядом маленькая комната для «вучителя».

Через теплый коридор жилая изба хозяина.

В семье нет старух. Не так заметно враждебное отношение к чужаку. Женщины только следят, как бы он не «обмиршил» что-нибудь. Слежку, однако, стараются сделать незаметной.

Когда Кирибаев подошел к кадке напиться, хозяйка поспешно ухватила лежавший тут ковш и захлопотала.

— Так я же вам налью у бляшку.

Одна из дочерей услужливо подала ей с полки стоящую отдельно от другой посуды эмалированную кружку — «мирской сосуд», как видно. Кружку с водой Кирибаеву, однако, не отдают в руки, а ставят на стол.

Учитель чуть заметно улыбается, но хозяин, видимо, понимает и виновато объясняет:

— Попа боятся.

— Так як же, батя, не бояться, коли воны поклоны дають,— говорит одна из дочерей.

— И помногу? — спрашивает Кирибаев.

— Та пятьсот,— вздыхает девица.

— За что же так много?

— По грехам это,— вмешивается мать.— Кому и меньше. Танцують воны, поють, поп и началит,— поясняет она, указывая на улыбающихся «грешниц».

Видно, все-таки, что к поповскому началению относятся здесь не очень строго.

Договорившись о плате за квартиру и стол, Кирибаев идет в свою клетушку, где уж дрожит и гудит теплуха, набитая кедрачом.

— В баню бы теперь,— говорит Кирибаев.

— Я ж велел девкам вытопить. Скоро сготовять,— отвечает хозяин. Потом кричит в избу: — Келька, бежите до Андрейка. Можеть, воны с нами пойдуть.

Староста суетится, предлагает сбегать за дорожным мешком Кирибаева.

Попечитель школы остается, он собирается тоже идти в баню.

— Полечим вас, восподин вучитель,— улыбается он.— По-нашему. Докторов здесь нема, а вон какие здоровые,— указывает он на себя и хозяина.

Оба заливисто хохочут своему огромному телу и крепкому здоровью.

Пришел третий, которому в дверях тесно. Это брат хозяина Андрей — лучший медвежатник и ложечник в селе. Веселый человек, который начинает знакомство вопросом:

— Может, у вас покурить есть, восподин вучитель?

Для Кирибаева это больной вопрос. Третий день уже он не курит. Дорогой купить было негде, а в Бергуле достать оказалось невозможным.

Узнав, что табаку нет, Андрей оживленно говорит:

— Так я же свой принесу. Изрубим здесь.

Он поспешно уходит и скоро возвращается со свертком каких-то половиков. В свертке мокрая махорка. Ее сушат над теплухой. Рубят топором, и все четверо начинают жадно курить. Шутят.

— Теперь к вучителю заневоль побежишь. Досыть покурим. Хо-хо!

— Бабам недоступно... попу ходу нет...

Которая-то из девиц кричит через дверь:

— Батя, байня сготовлена.

Кирибаев надевает свою нижнюю шубейку. Хозяин берет и верхний тулуп.

— Тоже погреть надо с дороги,— поясняет он.

Через просторный скотный двор проходят на берег Тары к низенькой толстостенной постройке.

Правый берег Тары сплошь зарос кустарником. Из-за него видно все то же смешанное редколесье — урман.

Попечитель указывает рукой на восток.

— Так пойдешь — у Томск выбегишь. Триста верст.

— Там вон (северо-запад) Киштовка будеть. Ича. Остяцкое.

— Ежели прямо — ни одного жила не будеть.

— По край свету живем,— хохочет Андрей.

Просторная баня топится по-черному. Едкий дым лезет в глаза. Усиливается кашель.

— Без слезы не байня,— шутят бергульцы.

Задыхаясь от дыма, «вучитель» все-таки лезет на

полок. Попечитель школы усердно нахлестывает изъеденную «вучителеву» спину, а «Костька» поддает жару.

Дышать нечем. Кирибаев пробует спрыгнуть на пол, но вмешиваются огромные руки Андрея, которые крепко держат «вучителя»...

Очнулся на береговом снегу Тары. Двое раскрасневшихся нагих мужиков ворочают в снегу щуплое «вучителево тело». Как только заметили, что он открыл глаза, сейчас же подхватили и опять в жар.

Опять дышать нечем. Снова обморок.

Очнулся на этот раз в своей кровати. Около стоят те же два мужика в бараньих тулупах, накинутых на голое тело. Один сует в руки «зингеровскую» кружку.

Кирибаев жадно припал, но сейчас же захлебнулся и заперхал. Вонючая жидкость обожгла горло.

— Пейте усе, пейте усе,— настаивает Андрей.

Учитель делает еще один большой глоток и окончательно отстраняет кружку.

Андрей с сожалением смотрит на жидкость в «мирском сосуде» и говорит:

— Хана́ ж первак. Крепка, знать?

Потом разглаживает усы и пробует. Одобрительно крякает и передает остатки попечителю. Тот делает такой же жест и опрокидывает кружку. Кажет на диво ровные белые зубы и ставит пустую кружку на стол.

— Отдыхайте ж теперь. Мы пойдем у байню домыться.

Кирибаева закрывают горячим еще тулупом, и он быстро засыпает. Спит ровно, спокойно, как не спал уже давно. Проснулся к вечеру. Приступов кашля нет. Зуд тоже исчез бесследно. «Байня» сделала свое дело. Вылечила!

Хозяин дома сидит около теплухи, осторожно подсовывает полено. Увидев, что Кирибаев проснулся, приглашает «вечерять».

В хозяйской половине за столом сидит вся семья. Кирибаеву подают отдельно все, начиная с солонки. Ужин сытный, мясной. Хлеб плохой. Низенький, как лепешка, и кислый.

— Такие у нас хлеба родятся,— объясняет хозяин.

После ужина пьют горячую чугу. Делают ее из наростов на осине. Их сушат, толкут и употребляют вместо чая. Цвет похожий, но... горько и вязко во рту.

Вскоре после «вечери» начинают подходить женщины-соседки с прялками. Шутливо спрашивают у хозяйских дочерей:

— Уси не тыи? Стары та без вусов!

— Бежите скорейше резье нацепить,— говорит мать.

Обе девицы куда-то изчезают. Приходят нарядные — в бусах, серьгах, с пучками лент в косах.

Они ждут «своих мальцов». Набирается немало таких же нарядных подруг. Детвора густо засела в углах и на полатях.

Старухи жужжат прялками и тянут под нос какую-то душеспасительную песню о пустыне-дубраве и людях молодейших.

Ватагой входят парни. Двое из них с узелками гостинцев для невест. Кривой парень-горбун затренькал на самодельной бандуре. Начались танцы.

Танцуют посменно по четыре пары. Парни, приглашая и усаживая девиц, целуют им руки.

«Польский обычай»,— отмечает для себя Кирибаев.

А в песне, которой помогают горбуну-бандуристу, слышится Сибирь и отголосок дикого старообрядческого взгляда на женщину:

Из поганого рему,
Из горькой восины
Черт бабу городит.

В избе стало жарко и душно. «Вучитель» ушел. Вскоре к нему явились все три бергульских «врача» покурить. Пришел с ними еще один — столяр Мотька.

Разговор идет о бергульских нравах. В избе, видимо, раскрыли настежь дверь. Слышно, как стучат каблуки. Быстрым темпом ведется песня:

Тут бегит собачка,
Ножки тонки, боки звонки,
Хвост закорючкой.
Зовут вону сучкой.

«РАСПЫТАТЬ ВУЧИТЕЛЯ»

С утра в школу привезли мебель: наклонно поставленные на стойках доски с отдельными скамейками. Некоторые оказались непомерно высоки, другие — низки. Пришлось переделывать, поправлять.

Попечитель школы привел трех своих «мальцов», от четырнадцати до восьми лет, хозяин школьного здания записал девочку-подростка. Андрей тоже пришел с сынишкой. Стали подходить и другие.

Непривычные имена:

— Кумида...

— Парафон...

— Васенда...

— Антарей...

Учитель пытается поправить:

— Нет такого имени.

— Вот уси так говорять,— соглашается белобородый крестьянин с глубокими рубцами на скуле.— У действительной был — говорят: нет Антареев, на германску ходил — то же говорят. А наш поп говорит — есть. И батька за ними. Сам Антарей и малец Антарей. Так и запишите — Антарейко Антарьевич.

Записалось человек двадцать мальчиков и девочек. От сотни дворов, где в каждом есть два-три человека детей школьного возраста,— это очень мало.

Приходит бергульский поп. Толстоносый седой старик с бегающими глазами. Одет в меховое полукафтанье, в руках шапка из бурой лисицы. Речь ласковая, «с подходцем». Начинает издалека.

— Живем в темном месте. Всего боимся.

Расспрашивает о дороге, о квартире. Потом опять:

— Всего боимся. Темные люди. Старину-матку держим, а как по-хорошему ступить, не знаем.

Кирибаев догадался, к чему клонит поп, и навстречу говорит:

— Закону вот велят учить, так я не буду. Тут у вас все старообрядцы.

— Вот, вот! — зачастил поп.— Это самое. Этого и боимся.

— Так я же говорю, не стану учить. Научиться бы хоть грамоте да счету, а закон — дело церковное.

Такое быстрое вероотступничество Кирибаева показалось, видимо, подозрительным попу. Он искоса посмотрел на бритого человека в очках и опять зачастил:

— Вот как сойшлось. У двух словах. Видно хорошего человека. А мы боимся. Благодарны будем. Не беспокойтесь...

(Недели через три секретарь волостной управы передал Кирибаеву «на память» поповский донос о безбожии учителя.)

Поговорив еще минут пять, поп ушел.

Примерно через час-полтора вновь стали приходить родители с детьми. Набралось еще тридцать новых школьников.

«Те без попа, эти с попами»,— заключил для себя Кирибаев, проводя жирную линию в книжке, где был список учеников.

Все-таки записалось мало. Возраст разный: от четырнадцати до восьми лет. Пришлось разбить на две группы. Старшим учитель назначил явиться завтра, как станет светло, малышам — к полдню.

Родители, которые присутствуют при разбивке, просят, чтобы по субботам всех отпускал к полдню.

Опять обычай.

Суббота — самый трудный день для бергульских женщин. Надо вымыть в доме, обтереть стены хвощом и обязательно перемыть ребятишек в бане. Все это закончить к «билу», чтобы с первым ударом идти в молельню и отстукивать там бесконечные поклоны.

Вечером опять пришли Омелько и Андрей. Хозяина дома нет. Он со всей семьей ушел «отгащивать» к одному из женихов дочерей. Пришел еще сосед — Ивка Григорьевич. Низенький человек с лохматой бородой и громыхающим голосом. Он мастер на все руки. Починяет замки, делает сани, вьет веревку. Весной за пару яиц холостит жеребят, поросят и прочую мужскую живность.

— В молельне гудит, аж у небе слышно. Попу первый помощник и друг.

Так отрекомендовал вновь пришедшего Омелько, видимо предупреждая Кирибаева.

Ивка смущен. Не знает, с чего начать.

Омелько насмешливо спрашивает:

— Мальцов записать прийшли, Ивка Григорьевич?

— Где же нам. У бедности живем,— пробует тот отвести разговор.

— До Маришки ж бегають. И девки вучаться,— не отстает Омелько.

— Хо-хо! — грохочет Андрей.

Ивка взбудоражен и набрасывается на Андрея:

— Регочете — бесу радость. Еретики проклятые! Что сказано в святом писании?

— Это ж вам с Маришкой да попам знать. Нам где ж. У грехах живем, у смоле кипеть будем. Мальцов нумерам вучим. Хо-хо-хо! — заливается Андрей.

Учитель спрашивает, о какой Маришке говорят.

Это еще больше смущает Ивку, и он бормочет:

— Та старица ж она. Святому письму вучит. По малости. А они не любять,— указывает он на Омельку и Андрея.

Те смеются.

Ивке не остается ничего, как уйти. Он это и делает.

Андрей выходит с ним и вскоре возвращается. Слышно, как он зазывает в сени огромного хозяйского Дружка и запирает там.

— На разведку, знать, Ивка приходил,— бросает он Омельке.

— А как же,— равнодушно соглашается тот,— не иначе — поп подослал.

Сидят все, задумавшись, как будто ждут чего-то друг от друга

Андрей начинает первый.

— Вы, господин вучитель, не таитесь от нас... Вы... товарищ будете?

Для Кирибаева положение давно определилось, и он с улыбкой говорит:

— Кому как...

— Вот хоть бы нам,— подхватывает Омелько,— если нас казаки драли.

— Товарищ, выходит. Меня тоже порядком измяли. Еле жив выбрался.

Андрей вскакивает и возбужденно машет руками:

— Я ж говорил... А! Не вучитель, а товарищ!

Надолго открылись сверкающие зубы Омельки.

— Видное ж дело. Образков нет, и вошь, як патрон. Опричь окопа таких не найтить.

Сейчас же переходят к расспросам:

— Как там? Скоро ли прийдут? Где теперь? Есть ли хлеб? Патроны?

Кирибаев рассказывает об уральском фронте.

Узнав, что при захвате Перми недавно мобилизованные крестьяне сдавались белым, Андрей рычит:

— Выдерут сучих сынов шомполами,— будут знать,

яка сибирска воля. На заду узор напишуть, щоб не забыли.

— Як наши ж дурни. Мериканы... воны устроють! Вот и устроють — без штанов ходить. Дурни! Разве ж можно нам без Расеи. Там усе.

— И правда уся там,— энергично заканчивает Андрей.

Разговор переходит в военное совещание. На вопрос об оружии Андрей отвечает, что у него есть старый запрятанный в урмане бердан и винчестер, который удалось утащить из Омска при демобилизации.

— Патронов только две обоймы,— вздыхает он.

— Так ты ж ими десять казаков снимешь.

У Омельки тоже есть трехлинейка и к ней десятка полтора патронов.

Называют еще многих крестьян, у которых припрятано оружие. Спорят, но сходятся на одном: не на всех можно полагаться.

— Не дойшло у их досыть,— кратко поясняет Андрей.

Из более надежных перечисляют с десяток. Как раз из тех, которые стоят в кирибаевском списке над жирной чертой.

— Костьке завтра скажу, как за кедрачом поедем,— говорит Омелько.

Андрей берется ввести Мотьку-столяра, с которым пилит плахи, и передать бобылю Панаске.

— Ты не знаешь, где Панаска? — живо интересуется Омелько.

— То у Остяцком живеть,— улыбается Андрей.

— Ой, сучий пес! Его ждуть с вурмана, а он у соседях. Дорогой человек у нашем деле!

На охотника Панаску поп донес как на большевика, давно уже пришел приказ об его аресте. Но Панаска вовремя скрылся.

На этой пятерке пока решили остановиться.

— Удумать бы, як уместях собираться. Причинку какую...

Кирибаев предлагает образовать какую-нибудь артель и послать в Каинск бумагу о разрешении.

— Верно это,— соглашается Андрей.— Старики не пойдут — нам лучше. Молодшие запишуться — так воны и дальше пойдуть. До вурману!

— С других мест приехать можно,— добавляет Омелько.

Наиболее подходящей кажется артель по обработке дерева.

Решили действовать без спешки. Выждать недели две-три, потом объявить на сходе и просить уезд о разрешении бергульским кустарям составить артель для получения военных заказов: на ободья, клещи для хомутов и так далее.

— Закружится дело! Клещи Колчаку уделаем. Крепко будет! — смеется Андрей.

В сенях зарычал Дружок. Возвращались хозяева. Время уж давно за полночь. Омелько и Андрей вышли. В сенях говорят вполголоса с хозяином.

Андрей опять входит в комнату и тревожно спрашивает:

— Вы вучить-то можете... сколько-нибудь?

Кирибаев успокаивает: бывало дело. Не первый раз.

Голоса затихают. Некоторое время слышится хлопанье дверью в хозяйской половине. Но вот и там затихло.

Кирибаева все еще не оставляет чувство радости. Недовольство крестьян ему было давно видно, но чтобы в этом глухом старообрядческом углу так сразу и просто переходили к подсчету оружия, этого он не ожидал.

Уж не подвох ли? С чего это такой зажиточный крестьянин, как хозяин школьного здания, будет бороться за Советскую власть?.. А Мыльников? Он ведь тоже довольно богатый мужик, а не верит же сибирской власти. Ну, Андрей и Омелько — эти вовсе надежные люди, да и ученые вдобавок. Не продадут!

Сгребая остатки махорки с разостланного на столе листа, Кирибаев начинает разбирать напечатанный на бумаге приказ генерала Баранова о правописании. Читать при неровном свете теплухи трудно, но это почему-то кажется важным. Как будто тут ответ на волнующий вопрос.

В приказе длительно доказывается польза и красота старого правописания. Привычный учительский глаз видит тут не один десяток ошибок против хваленого правописания, но это не мешает безграмотному генералу ставить требование, чтобы вся переписка по его «ведом-

ству» велась по старому письму. И дальше предупреждение, что бумагам не будет даваться «законного хода, если таковые будут изложены без соблюдения правил правописания академика Грота».

— Бывают же идиоты! — говорит Кирибаев и укладывается в постель.

Путаются мысли:

«Ну, вот и хорошо. Своих нашел. «По край света»... Вылечили и к делу. Ловко!..

«Покойной ночи, генерал! Приятного вам правописания... С ятями!

«Патронов мало...

«А поп — паршивец. Уж подсылает...

«Без Расеи нельзя. Там усе...

«И правда там.

«Поняли, значит.

«Закачало адмирала в сибирских снегах.

«Вучить-то можете?

«Ах, чудак!»

УРМАНСКАЯ АРТЕЛЬ

В конце марта, по самой последней дороге, пришло разрешение организовать артель кустарей. Привез его Омелько. Он же привез и свежие новости.

— Хозяина постоялого двора Киличева расстреляли. Пятерых солдат — тоже.

Делами на фронте не хвалятся. «С фланку будто обошли красные».

Офицерия вовсе обалдела от пьянства. Двоих нашли мертвыми у городской рощи. Похоже, что убили друг друга... У обоих шашки в руках. Наганов все-таки нет.

— Пора начинать? — спрашивает Кирибаев.

— Не, где ж теперь. Видно, далеко. Подождать до пасхи,— наперебой говорят «артельщики», которых набралось в учительской квартире свыше десятка. Большинство приезжие из других селений: Ичи, Биазы, Межовки, Остяцкого.

Связь налажена хорошо. О приезде Омельки узнали в тот же день и на другой уж явились на собрание.

Недаром бергульцы с «вучителем» разъезжали «по гостям» каждый праздник.

Обыкновенно «вучителя» привозили в школу — к со-

седу; а возница — Андрей или Омелько — искал квартиру, «где лошадь поставить».

Только в одной школе сидела учительница, которую можно было считать постоянной работницей школы.

В остальных набился разноплеменный сброд, в большинстве из уклоняющегося или даже беглого офицерства. Какой-то обрусевший чех Роберт Берзобогатый, поляк Адамович, полуидиот Поркель, белорус Мацук. Тут же круглая фигура коренного «нижегорода» с круглым же именем — Иван Колобов. Фамилия Кирибаева кстати подошлась, чтобы картина тогдашнего сибирского учительства стала еще пестрее.

Легче всего сошлись с Мацуком. У него в квартире оказались тисы и разные принадлежности паянья и луженья. Учитель чинил замки, лудил самовары. Это уж почти решало дело.

Случайное совпадение его фамилии с фамилией начальника штаба одной из уральских дивизий еще более облегчило сближение. Мацук имел основание думать, что это его старший брат, бывший офицер, оставшийся на «той половине».

Оброненная Кирибаевым фраза о начальнике штаба, видимо, сильно взволновала парня, но, как человек с хитринкой, он сначала захлопотал об угощении. Добыл ханы: «скорее-де проболтается». Кирибаев выпил чашку и охотно «разболтался».

Мацук, в свою очередь, рассказал о своей рассыпавшейся семье. Старик отец с младшим сыном отстал от беженского поезда где-то под Москвой. Сестер учительниц эвакуация четырнадцатого года застала в Ростове. Старший брат был в армии на Кавказе. Сам он с матерью докатился до Барабинска. Работал там три года в железнодорожных мастерских, а теперь убрался в урман — от мобилизации. Колчаковщину раскусил, но боится и «дикости красных».

Рассказ Кирибаева о брате послужил последним толчком, чтобы окончательно поставить парня на советскую сторону.

Гармонист, балагур и песенник, Мацук оказался незаменимым работником среди молодежи. Был он потом и дельным начальником отряда.

В Останинской школе учительствовал махровый черносотенец Поркель, или, как звали его там, Поркин.

Большевиков он ненавидел, но на фронт идти, как видно, боялся. Тешился школьной войной. Делил ребятишек на две группы: красную и белую. Сам предводительствовал белыми и неизбежно побеждал. Потом часами измывался в допросах «красных» и смаковал короткие приговоры: расстрелять, повесить, запороть. Мужиков удивлял тем, что, явившись в церковь к началу службы, стоял каменным болваном до конца, держа на отлете свою офицерскую фуражку на неподвижно согнутой левой руке.

Андрею зато в Останинском среди переселенцев удалось найти не одно место, «где лошадь поставить».

В Остяцком оказалась полная удача у обоих. Население поголовно готово выступить хоть сейчас.

Поселок зовется Остяцким, но население там русское. Занятие только остяцкое: охота, рыбная ловля, сбор черемухи и орехов. Сеют мало.

Положение теперь отчаянное. Сбыта пушнины нет. Рыбу военное ведомство берет за бесценок. Припасу достать негде. Бердан — в тайнике.

— Хватит такой жизни! — определяет свое положение старик Сарайнов, основатель поселка.

Три его сына, с солдатской выправкой, корят старика:

— А раньше что говорил?

— Прокляну, говорит, ежели к большевикам попадешь.

— Теперь-де наша власть — народная.

— Ну, кто же его знал,— оправдывается старик.

Бергульцев зовут «товарищи-комиссары» и спрашивают «о распоряжении».

Омелько, как военный человек, назначает старшего, указывает, с кем держать связь, и ведет подсчет оружия.

К началу весны берданов и трехлинеек насчитывалось в округе восемьдесят семь штук, но патронов было мало.

В волостном центре Биазе были свои: председатель и секретарь. Они «упреждали» «артельщиков» о всех секретных распоряжениях каинского генерала и замыслах местной милиции. Эти же ребята «работали по спаиванию» начальника милиции.

Всегда пьяный начальник милиции, поручик Гаркуш, все-таки чувствовал что-то неладное и беспокойно метался со своим помощником по району. Но по видимости все было спокойно, и приехавшая милиция неизбежно попадала на какую-нибудь пирушку: то лошадь продали, то дом покупают.

Урвалась дорога. Недели две не было проезду даже верховым. Зашумели Тара и Тартас. Птицы налетело всякой. В перемены между уроками ребятишки бродят по холодным весенним лужам и вытаскивают из кустарника утиные яйца.

Мужика не видно. Числится на сплаве.

В это время и раздались первые выстрелы. На дороге между Межовкой и Биазой прострелили головы начальнику милиции и его помощнику.

Карательный отряд, посланный из Каинска, оказался мал. Его без остатка сняли за сорок верст до Межовки.

Понадобились батальоны, полки, обходные движения.

Веселый медвежатник Андрей погиб в первой же стычке. Случайная пуля пробила ему темя как-то сверху. Сразу свалилось огромное, могучее тело. Не успел даже повторить перед смертью свой постоянный призыв:

— За советскую правду!

Тяжелый отцовский бердан перешел к сынишке-подростку. Винчестером работал лучший стрелок урмана — Панаска.

Урман одевался. Ярко пылал во всех концах веселый «напольник», сжигая остатки прошлогодней травы. Подвижными пятнами передвигались за людьми тучи комаров. Назойливо кружились около намазанных дегтем рук и лица.

Пахаря было не видно. В лесу только группы людей с ружьями.

Начиналась полоса открытой борьбы.

ЧЕРЕЗ МЕЖУ

1

— Бакенщик! Телята тут ходят?

Круглолицый парень, усердно обстругивавший черемуховый прутик, даже вздрогнул от неожиданности и быстро повернул голову.

На тропинке, по которой он обычно поднимался от реки к лесу, стояла женщина с корзинкой. Женщина была в лаптях, в сарафане неопределенного «старушечьего» цвета и в белом, повязанном уточкой платке. Будничный крестьянский наряд, однако, казался малоподходящим к яркому лицу и всей стройной, ловкой и подвижной фигуре. Парень даже застыдился своей выгоревшей на солнце рубахи и обтрепанных галифе защитного цвета.

— Глухой, что ли? Тебя спрашивают. Телят видел тут около будки?

— Ходят какие-то. Каждый вечер около будки спят.

— Сколько их?

— Да пять голов. Не прибыло, не убыло. Днем где-то по лесу путаются, а как вечер, так сюда и вылезут. Грудкой тут и спят. Видно, около человека им веселее.

— Один живешь?

— Один.

— Тоскливо, поди?

— Приходи вечерком. Сама увидишь, тоскливо ли.

— Замолол,— строго остановила женщина.— Его добром спрашивают!

— Что больно сердита?! Пошутить нельзя.

— Худые твои шутки. Человека в глаза не видал, а сейчас языком повел куда не надо.

— Ты и познакомься, чем ругаться. Подходи побли-



«ЧЕРЕЗ МЕЖУ»



«ЗА СОВЕТСКУЮ ПРАВДУ»

же, посидим, поговорим. Ты мне, я тебе расскажу, вот и выйдет знакомство. Не к спеху тебе с ягодами-то.

— Ласкобай ты, гляжу! Научился девок подманивать.

— Не ходят тут. Когда и появятся, так грудкой. Куда мне. Лучше постарше, да одну. Спускайся. Не скажу мужу-то.

— Нет у меня мужика. Вдова я.

— О-о! Тоже невесело живешь? Самая пара мне, горюну. Иди — чайку попьем. Ягоды твои, еда моя. Воды принесу, огонек готовый. Ладно?

— Дешевкой хочешь обойтись...

— Подкину коли. Для молоденькой не жалко. Чай у меня всех сортов. Фамильный... поджаренная морковка из бабкиного огороду, и фруктовый есть — земляничный, брусничный, черничный... Из прошлогоднего сору граблями нагреб. Куча! Густо заварить можно. Сахар есть. Из паренок конфетки вырежем. Не хуже шоколадных. Иди!

— Ну-ну, язык у тебя бойко ходит,— улыбнулась женщина и стала спускаться по песчаной тропинке к будке.

Будка бакенщика ничем не отличалась от сотен других, поставленных вдоль берегов многоводной, но все еще пустынной северной реки. Место выбрано на пригорке, чтобы можно было хорошо видеть все опознавательные знаки участка: два бакена, две вехи и перевальный столб. Ниже к берегу, вправо, на серой широкой полосе гравия блестело водяное окно. От него до воды тянулась мокрая дорожка. Это безыменный ключ. От него и будка называлась — «У ключа».

Водная равнина блестит миллионами маленьких зеркал, будто плавится под горячим июльским солнцем. Глаз отдыхает лишь на кудрявой кайме противоположного низкого берега. На всем огромном просторе, который охватывает глаз, ни одного признака жилья. О человеческой жизни говорят лишь сигнальные знаки на реке и берегу, да внизу маячит дымок.

Не скоро придет этот пароход. Он еще будет привaливать у деревни Котловины, которая скрылась за лесистым мыском. До этой пристани от будки считается шесть километров. Выше по реке, в пяти километрах, целый куст мелких деревушек, домов по двадцать —

тридцать каждая. Но ни одной из них тоже не видно из-за леса и прихотливых извивов береговой линии.

Будка пришлась почти в центре пустынного лесного участка, который тянется вдоль берега километров на десять-одиннадцать от Нагорья до Котловины.

Лес этот раньше, до революции, принадлежал «большим барам» Шуваловым и назывался гордым именем охотничьего заповедника. На самом деле это была только громкая марка. У самого берега на высоком песчаном гребне растет действительно великолепный лес, а дальше по «нотным» местам уже начинался мендач, переходивший в корявую болотную растительность. Цепь торфяных болот и сделала этот участок заповедником.

Подойдя к крылечку будки, женщина спокойно протянула руку.

— Здравствуй, балакирь! Звать-то не знаю как.

— Иваном кличут, а батька Савелий. Складывай, коли понадобится. Иные и Ваней зовут. На молоденьких не обижаюсь. По фамилии Кочетков. А ваше имячко как будет? — неожиданно перешел парень на вы и почему-то покраснел.

Женщина заметила этот переход и это смущение. В больших серых глазах промелькнули искорки довольства.

— Фаиной меня зовут... Фая.

— Фая хорошо, а Фаина вроде монашеского.

— Что поделаешь! Поп такое выдумал. Сама не выбирала.

— А по отчеству как?

— Никоновна,— быстро сказала женщина и, в свою очередь, смутилась. Парню показалось, что он понял причину смущения, но он сделал вид, будто ничего не заметил, и опять перешел на тон балагура.

— Вот и познакомились. Анкеты заполнены, только одной фамилии недостает. Иван Савельевич — Фаина Никоновна... Один холостой, другая безмужняя. Чем не пара? Хоть сейчас записывайся. Можно и без записи. Я на это пойду. Себя не пожалею.

— Знаешь, давай без баловства,— попросила женщина.— Не за тем пришла, чтобы пустяки слушать. Поговорим по-хорошему. Только напоил бы ты меня сперва. Вода, говорят, тут у тебя хорошая. Жарко...

— Это в момент. Самой холодной принесу.— И парень, ухватив с костерка большой жестяной чайник, захрустел босыми ногами по гравию.

Пока бакенщик ходил к роднику, женщина успела осмотреть все его несложное хозяйство.

Избушка двумя маленькими окошками смотрела вверх и вниз по реке. Прямо против входа, у стены, стол и около него три табуретки. На столе стопка книжек, химический карандаш и какой-то стаканчик. Над столом портрет Ленина «За чтением «Правды». Справа от входа маленькая печурка. За ней вдоль стены широкая скамья с мешком-сенничком и коричневой подушкой. Над постелью белый шкафик вроде больничного.

— Тут у него, видно, посуда и чаи всех сортов,— улыбнулась женщина.

Вдоль левой стены избушки длинная широкая скамья. Над ней, ближе к окну, два ряда деревянных брусьев с гнездами, в которых размещены разного размера ножи, стамески, шилья и другой инструмент корзиночника. В самом углу на скамье большая корзина с грибами.

Женщина поставила было сюда и свою с ягодами, но поспешно взяла ее опять на руку. Направляясь к выходу, взглянула на развешанную по гвоздям одежду, среди которой центральное место занимал зипун из домотканого сукна. С порога еще раз обвела взглядом прокрашенные по бревнам стены, остановилась на плакате «Как крепить канат» и вслух оценила:

— Чисто живет! — Потом улыбнулась: — Иван... Савельич... Кочетков.

С крыльца было видно, что Кочетков шел обратно, заметно прихрамывая на правую ногу. Фаина поставила корзину на широкий брус крыльца, закрыла ягоды головным платком, поправила волосы и подошла к огнищу, который едва дымился. Сгребла угли грудкой, уложила в середину лежавший тут железный прутик-жигало, раздула угли, бросила пучок сухой ивовой коры и, когда весело заиграл огонек, принесла из поленницы от крыльца охапку мелких дровец.

Мимоходом заметила, что между поленницей и стеной будки — в тени — стояло большое деревянное корыто с водой, где замочены ивовые прутья.

— Хозяйство... Ни за избушкой, ни перед избушкой сору большого нет,— одобрила Фаина и села на ступеньки крыльца, где до этого сидел бакенщик. Перебрав разбросанные тут деревяшки, догадалась, что бакенщик делал трубку.

— Чудной он все-таки. Молодой, а живет тут один и трубку вон мастерит. Как старик какой! Может, из-за ноги-то...

Кочетков нес в одной руке чайник, в другой какой-то бесформенный серо-грязный кусок.

— Нашлась моя потеря.

— Какая потеря?

— Да так, пустяки. Потом расскажу,— и, поставив чайник на крыльцо, поспешно ушел в избушку, принес чашку с синим ободком, налил и подал гостье с шутливым поклоном: — Кушай на здоровье! Водица первый сорт. Мертвого обмыть — так встанет, а молоденький умоется — плясать пойдет. На Кавказ ездить не надо. Каждый день приходи. Хоть пей, хоть обливайся.

Женщина жадно выпила две чашки, обтерла губы рукой, смахнула с груди крупные капли и только тогда засмеялась.

— Простой ты на воду, а сам звал чай пить!

— За этим дело не станет. Живо вскипит. А какой сорт заваривать, сама выбирай. Женщине в этом деле виднее.— И Кочетков стал устанавливать чайник на рогульках над огнем.

— Где у тебя чай-то твой?

— Там,— указал он на избушку.— На стене шкафик есть. В нем по сортам разложены. Там же сахар, картошка, посуда.

Когда Фаина ушла в избушку, Кочеткова нестерпимо потянуло туда же, но он вспомнил ее серьезную просьбу, строгие глаза при вольных шутках и остался.

Фаина вышла с посудиной и деловито спросила:

— За тенью собрать? По ту сторону будки?

— Как тебе лучше,— поспешил согласиться Кочетков и подумал: «Как жена спрашивает».

Фаина вновь показалась из-за будки и тем же тоном спросила:

— Зипун твой расстелю?

— Хозяйкино дело, как на стол соберет,— пошутил Кочетков.

— Опять ты! Брось, говорю... Не ходи в эту сторону!

— Да я вроде как всерьез.

— То-то, вроде. Скорый больно. Повременить надо.

— До которой поры? Давно мне жениться время. Надоело в холостых ходить.

— Давно ты холостой? — спросила женщина, и в голосе послышалась необычная нотка.

— Отродясь холостой! По-честному говорю. Этому богу, чтоб жениться да разжениваться, не верую.

— Ой, врешь, Иван Савельевич! Знаем, поди, в каких годах парни по деревням женятся. Ты из той поры вышел. Кто тебе поверит.

— Хоть верь, хоть нет, а так вышло. Недаром тут сижу. Думаешь, весело семь дней дежурить. Кроме матерка с плотов, слова живого не услышишь. Попробуй, посиди... Готово! — вдруг закричал он.— Иди заваривай да команду принимай!

— Сейчас! — крикнула Фаина из-за будки и подошла с блюдцем, на котором лежали две неровные щепотки.

— Морковного для цвету, земляничного для запаху — вот и ладно будет,— проговорила она и «приняла команду».

Теневой треугольник за будкой удивил Кочеткова: так все показалось ему необычным. Даже его собственный зипунишко, раскинутый веером, смотрел привлекательно. Посуду пополнили широкие листья папоротника. На них холодный картофель, соль, ягоды, черный хлеб, откуда-то появившийся белый калач, нарезанный ровными кусками, и пара яиц.

— Садись, хозяин,— гостем будешь,— пошутила Фаина. Было заметно, что она довольна произведенным впечатлением.

— Может, уху бы сварить? — предложил Кочетков.— Рыба у нас всегда есть. Живая... Вон там около заездка.

— Долгое дело. Съешь вот яичко, картофель в соль макни, и будем чаек попивать. С калачом... С ягодами... С разговором,— особо подчеркнула она последнее слово.

— О чем это?

— Поешь сначала, потом спрашивать стану.

Получив после еды из рук Фаины чашку с горячей жидкостью, кусочек сахара и калач, Кочетков напомнил:

— Ну, спрашивай.

— Расскажи вот, как ты в бакенщики попал? Такой молодой за стариковское дело сел?

— Да, видишь, бедность наша,— серьезно проговорил парень.— Ты это верно сказала, что в мои годы по деревням давно семьями обзаводятся, а как женишься да и кто за тебя пойдет... Сама посуди. В семье девять едоков, отец инвалид, мать хворая, еле по дому управляется, а работников только двое: я да сестренка старшенькая, по семнадцатому году. Лошаденка стреньбрень, коровы вовсе нет. Мастерства, кроме крестьянского, не знаю, грамота слабая, да еще и нога не в порядке. Вот и женись!

— Что у тебя с ногой-то? — участливо спросила Фаина.

— Это у меня от гражданской войны осталось...

— Ты разве воевал? — удивилась Фаина.

— Нет, я в ту пору подлетком был. По четырнадцатому году. А как тятя ушел с Красной Армией, на нас налетели. Я хотел спрятаться, да меня один наш же деревенский кулачище нашел и с сарая сбросил. Ногу я тут и сломал. Срослась она, только маленько неправильно. В армию из-за этого не приняли, подучиться не дали. А кулак тот сбежал вместе с колчаковцами. Может, и теперь живет, да ведь не узнаешь. Всю, можно сказать, жизнь испортил. Гонялся я за ним, да с дороги воротили.

— Как это?

— Когда наши обратно шли, я добровольцем объявился. Ростом-то, видишь, не из мелких, меня и приняли. Просто тогда с этим было. До Тюмени дошел, а там отчислили.

«Ворочайся, говорят, парнишка, домой. Молодых там организуй!»

Тут еще с отцом встретился. Он тоже домой направляет:

«Матери хоть поможешь, а то она совсем извелась на работе».

Так у меня с этим и не вышло, и дома толку не получилось. Недавно вон приезжал к нам один знакомый

из окружного комитету, стыдил нас с отцом. «Какие, говорит, вы партийцы, коли у вас в деревне артели нет». А что сделаешь? Народишко-то у нас пригородный. На базаре привык сидеть больше, либо при реке какой случай ждут, чтоб сорвать. Дачником тоже разбалованы. Теперь, правда, с дачником на убыль пошло. По домам отдыха больше разъезжаются, а в отдельности по дачам редко кто живет.

— Это же и у нас,— подтвердила Фаина.— Земляника поспела, а в деревне только три приезжих семьи. А насчет спекулянтства да речного варначества промашки не дают.

— Вот я и придумал сюда поступить. Спрашивали тут человека. Все-таки тридцать три рубля в месяц и приварок готовый: грибов сколько хочешь, рыба есть, ягоды собираю. Корзины тоже плету — все копейка, а главное, при доме. Отоспишься здесь за дежурство, дома и воротишь без передыху. А дело какое? Ходовая борозда тут широкая, надежная. Меньше двух метров глубины не бывает, перекатов нет. Когда-когда плотом белый бакен срежет. Поставишь его, за вехами следишь да вечером огни зажигаешь. Вовсе спокойное место. Только скука донимает. Одуреешь за неделю. То вот и присватываюсь.

Вздохнув, Кочетков продолжал:

— По-доброму отцу бы тут сидеть, да не может на столб залезать. На тот вон,— и пояснил: — фонарь зажигать и знаки переставлять.

— Знаю я,— откликнулась Фаина.— В Нагорье как раз против перевального столба живем. Присмотрелась. Большой шар — метр, крестовина — двадцать сантиметров, маленький шарик — пять. Всю работу изучила. Одно не знаю, как место узнавать, когда бакен плотом своротит. За этим вот к тебе и подошла, не научишь ли?

— Отчего не научить, только на что тебе?

— Дело-то у меня, парень, не лучше твоего,— и Фаина рассказала свою историю.

На эту угрюмую северную реку пришла она в голодный год с матерью. Мать тут большую промашку сделала — замуж вышла. Годы уж немолодые, а ребят прижила. Ее мужа в третьем году разбило параличом, и этот больной всех окончательно связал. Хозяйство,

какое было, давно пролечили и проели. Теперь всю семью «прибрал» деревенский богатей, которому паралечный в каком-то родстве.

— Не без расчету сделано,— пояснила Фаина.— Нам дал малуху под сараем. Все равно ее ни один дачник не возьмет. Ну, едим тоже у него. И за это с матерью круглый год работаем, а платы никакой. Он же из-за нас в сельсовете прибедняется. «Чужую семью, говорит, кормлю. Пять ртов, а работы спросить не с кого. Навязал себе камень на шею, да который год с ним и хожу».

— Ходит он! — сверкнула Фаина глазами.— Забыла, как ботинки носят, в лаптях шлепаю. А кто скажет, что на работу ленива. Обноски старушечьи переворачиваю да ношу,— рванула она себя за проймы сарафана.— Ножом бы полыснуть такого благодетеля, да мамыньки жалко.

И Фаина, может быть, неожиданно для себя, добавила:

— Видишь, незаконная я у ней. Сколько она из-за меня раньше горя-позора приняла. Вот и жалко теперь оставить.

— Да-а,— посочувствовал Кочетков: — чистая петля. Вдовая, говоришь, сама-то?

— Давно уж вдовая. Совсем молоденькой выходила. В гражданскую войну моего Васеньку убили. Ничем не похаю. Хорош у меня муженек был. На фабрике в Бронницах... городок такой около Москвы есть... работал. В девятнадцатом году ушел на южный фронт, да только его и видела. Сюда уж вдовой приехала. Нахвалили: «хлеба́ да хлеба́ там», а вышло — одно горе хлебаем.

— Здесь не выходила?

— Пробовала, да удачи не вышло. Пьянчужка попался. Бить меня лезет, а я этого не дозволю. Отмутузила его самого пьяного катком и ушла. Теперь еще похваляется,— убью, говорит. На этом зареклась. Да и верно, за кого выходить-то в наших деревнях? Пригородные ведь, да еще при реке. Одни спекулянтствуют, а те, кто около реки бьется,— запились. И от дачников много разврату идет. Теперь вот их — дачников-то — мало, так иные рады с дачей хоть мужа, хоть жену сдать, лишь бы дачника приманить. Какие это крестья-

не! Двенадцатый год советской власти идет, а у нас кулак в деревне все еще верховодит, только похитрее стал. Наш-то вон хозяин у себя внизу ясли открыл. Слава одна, а на деле советскую власть обмануть норовит.

— Такой же порядок, как у нас. Крестьянское хозяйство — видимость одна. По всем береговым деревням это же,— подтвердил Кочетков.

— Веришь? — заговорила опять Фаина: — До чего надоели эти спекулянты! Не смотрела бы! Только и передышки, что в воскресенье в лес уйдешь.

— Одна ходишь? Не боишься?

— Не из трусливых. От одного отобьюсь, а больше налезут, товарища позову,— и перед Кочетковым сверкнул широкий нож с плотно охватывающим руку ремешком у черенка.

Кочетков даже отодвинулся и поперхнулся от изумления, а гостья похвалилась: «Бритва», и, сильно вытянувшись всем телом, черкнула ножом по кусту папоротника. Узорные листья на миг оставались неподвижными, потом разом посыпались, образуя почти правильный круг.

— Вот ты какая,— удивился Кочетков.

— Станешь такой,— усмехнулась Фаина с злым блеском в глазах, а нож уж исчез так же незаметно, как появился.

«Как у пароходного фокусника,— подумал Кочетков.— Злющая, надо полагать. Очень просто кишки выпустит, а то и по горлу цапнет».

Быстрые руки между тем заняты были самым мирным делом: перебирали освободившуюся после чаепития посуду, укладывали в мешочек сахар, завертывали в листья папоротника оставшийся хлеб, картофель. Казалось, что ножа не было, как не было и злого блеска в глазах, но ровная линия среза куста говорила, что нож хорошо отточен, а рука сильна и ловка.

«Довели бабу»,— смягчил свою оценку Кочетков.

Точно читая его мысли, Фаина проговорила:

— Ты не думай худого... Около матерого волка живу... Нельзя мне без этого.

— У кого живешь?

— Евстюху Поскотина в Нагорье слыхал?

— Бурого-то?

— Ну, он и есть, наш благодетель. Без ножа спать не ложусь. И мужишко бывший грозится. Кисляк он, а все-таки...

— Понимаю... А без ножика как? — улыбнулся Кочетков.— Молодое ведь дело-то...

— Говорю, с души воротит глядеть на наших деревенских. Давно бы ушла в город либо на фабрику, если бы не такое мое положение. Давеча осмотрела твое хозяйство здешнее и позавидовала. Хоть бы лето мне так пожить с мамынькой. Дежурить бы без подмена стала.

— В бакенщики, что ли, хочешь поступать?

— Охота бы. То и прошу, чтобы все показал.

— Что ж, давай сплаваем. На месте все покажу. Только вот покурю из своей обновки. С утра у меня пост на табачок вышел.— И Кочетков, направив и закурив трубку, коротко пригласил: — Пойдем.

Дорогой он оживленно стал рассказывать.

— Утром принимал смену. Обошли участок, зашли в избушку, покурили, и другой бакенщик-старик уплыл на своей лодке. Как раз в это время буксир тянул плот, а навстречу шел дачный пароход. При таких встречах чаще всего плотами бакены режет, поэтому пришлось простоять на берегу, пока не разминутся. Обошлось благополучно, но волна показала, что дальний кол заездки еле держится. Занялся этим. Потом пришел к будке, развел костер, сходил на ключ, зачерпнул воды, поставил чайник. Хватился покурить,— нет бумаги. Обыскал себя, в будке все углы обшарил — нигде. А бумага была — четыре листа, запас на неделю. Со стариком из нее завертывали. Решил, что дедко по ошибке положил себе в карман. Делать нечего, придумал трубку сделать. Без привычки долго провозился, а ты пришла — нашлась моя потеря.

— Где?

— А как стал из чайника воду выливать, гляжу — охлопья какие-то. Это и есть моя бумага. Как она в чайник попала — не пойму. Старик, видно, сунул в пустой чайник. У него есть такая привычка в руках что-нибудь мозолить, когда разговаривает. Понимаешь, не просто намокла бумага-то, а совсем расползлась. Положил вон сушить, да едва ли толк будет.

— Какой уж толк. На игрушки только...

— Какие игрушки?

— А как же. Из такой бумаги много чего делается. Сама в детстве работала — знаю. У нас под Бронницами по деревням сильно этим занимались.

— Как это? — заинтересовался Кочетков.

— Да дело нехитрое. Покупали разную негодную бумагу. Тетради там исписанные, старые газеты, бумажную обрезь—и в котел. Варили с клеевой водой и размешивали, чтобы как жидкая каша стала. К этому прибавляли мелу, а то и глины. Получалось тесто, папье-маше называется. Им — этим тестом — и набивали разные формочки. Бывало и проще делали, без котлов. Вымажешь форму маслом и набиваешь ее размоченной в клеевой воде либо в клейстере бумагой. Как попало... Половинки склеят, выкрасят, отлакируют и на базар. Дешевые игрушки были. Легонькие такие. Лошадки, коровки, головки кукольные...

— Видал. Раньше их много было, а теперь что-то не часто видишь.

— Перестали, видно, делать. Кто первый успел, так большие деньги нажил, а потом чуть не все кинулись на это ремесло, игрушки и вздешевели. Из-за бумаги тоже стало трудно. Один у другого отбивал. Это еще до революции так-то, а теперь негодную бумагу, я слыхала, всю на фабрики сдают.

— Слушай, а ты не видала, как бумагу делают?

— Нет, не случалось. Знаю, что из тряпья. Тоже разваривают в котлах, отбеливают чем-то и черпают ситами особыми. Вода стекает, а разваренное тряпье остается тоненьким таким слоем... Как бумажный лист. Теперь, говорят, из дерева научились делать. И машинами, а не ситами.

— Из какого дерева?

— Из всякого будто.

— Из этого леса? Скажешь! Ха-ха-ха,— засмеялся Кочетков.— Тоже разварят его? А? Мне приходится березу загибать на рамы к коробьям, так я знаю, как лес-то разваривать. Паришь его, паришь,— а только и всего, что согнешь полегче. Так ведь то береза, толщиной в руку, а тут вон какие столбы стоят! Никогда не поверю, чтобы такой лес в кашу разварить можно. Что-нибудь не так сказываешь,— прибавил Кочетков,

заметив, что Фаина обижена его смехом и недоверием.

— С кислотой, говорят, разваривают.

— А-а... Это дело другое,— согласился Кочетков, но было заметно, что сомнение осталось.

— Много же кислоты-то понадобится,— сказал он, усаживаясь в лодку.

— Ты вот смеешься, а Евстюха уж барыши считает. Четвертого дня нас малухой своей попрекал. Скоро, говорит, в барском лесу бумажную фабрику строить будут. Такая квартира сколько тогда будет стоить. А вы на готовеньком живете, работы не видать, а еще которые и нос воротят. Это он про меня...

— Брехня, поди, про фабрику-то?

— Кто знает. Постоянно ведь он в городе бывает. Знакомство у него везде. Разнюхает вперед других.

— Так это,— согласился парень и налег на весла, кинув Фаине: — держи на красный.

Когда подходили к бакену, Кочетков размечтался вслух:

— Хорошо бы, фабрику-то! Мастерство какое-нибудь узнал бы обязательно.

— То же и я думаю,— отозвалась Фаина,— а пока объясняй свое дело.

На реке пробыли два часа, потом ходили по берегу. Кочетков самым подробным образом рассказал о своей работе и особенно о всех трудных случаях. Фаина слушала внимательно, переспрашивала, проверяла на опыте. «Для практики» даже залезла по боковой качающейся лесенке на перевальный столб, не смущаясь тем, что Кочетков подсмеивался над ее не приспособленной для лазанья одеждой.

Прежнего настороженного отношения к шуткам Кочеткова у Фаины не было. Она давно поняла, что добродушный хороший парень своими грубоватыми шутками пытается скрыть смущение.

— Эх ты, телок! — оценила она одну из шуток Кочеткова.— Недаром евстюхины телята к тебе льнут. Сколько тебе годов-то?

— Двадцать семь,— с серьезным видом ответил Кочетков, но Фаина звонко расхохоталась.

— Забыл, что рассказывал? В восемнадцатом году по четырнадцатому году был. Да и мало прибавил.

Все равно до меня не дотянуться,— лукаво прищурилась она.

— Тебе сколько?

— Мои-то годы легко считать. Никогда не забудешь. В семнадцатом году семнадцатый шел, а теперь...

— Двадцать девятый...

— То-то и есть, двадцать девятый. Тебе до моих годов не меньше пяти лет тянуться, мальчишечко! — И Фаина неожиданно мазнула Кочеткова рукой по пухлым, по-ребячьи оттопыренным губам.— Губошлеп!

Поняв этот жест, как разрешение к действию, Кочетков быстро ухватил Фаину за талию, но Фаина легко вывернулась и совсем другим тоном проговорила:

— Пора, видно, мне уходить, а то, пожалуй, рассоримся.

И она быстро зашагала к будке, за корзиной. Аккуратно повязала платок, вскинула корзину на руку и крикнула:

— Ну, я пошла. За науку спасибо!

Кочетков, все еще стоявший на прежнем месте, побежал догонять.

— Подожди, Фая... Не сердись... Не буду я... Когда придешь?

— Раньше того воскресенья не вырваться, а там смена не твоя. Полмесяца, видно, не увидимся.

— Долго... Приходи скорее! Урви часок... Ждать буду.

— Ну, ладно. Может, и приду... Телят попроведать,— улыбнулась она.

— Зачем хоть здесь их держите?

— Евстюхины хитрости. Не записаны они у него в налог. Понял? Ну, прощай пока.

— Поцеловала бы хоть!

— Ладно и так. Еще во сне увидишь тебя... толстогубого.— И Фаина опять быстрым движением мазнула растерявшегося парня по губам и сейчас же предупредила: — За мной не ходи. Дальние проводы — лишние слезы.

Уже скрывшись в лесу, крикнула:

— Дня через два приду. Думай пока... как бумагу делают.

2

Нагорье — маленькая деревушка. В ней только тридцать два двора. И все-таки это едва ли не самый заметный поселок на сотню километров правого берега. Всякий, кому приходится плыть мимо, невольно заметит его и одобрительно, а то и с завистью подумает: ловко выбрали местечко.

Холмистый, высокий берег здесь дает довольно обширную ровную площадку, образующую почти прямой угол по береговой линии. С запада площадки ровная, уходящая в гору грань высокого бора. С севера лес разорван прогалинами полей, смотрит не сплошным массивом, а колками, и от этого кажется более разнообразным и веселым.

Между крутояром берега и рекой — широкая травянистая пойма с причудливо разбросанными по ней клочьями кудрявых кустарников. Все тридцать два двора деревни расположены вдоль берега. Часть их смотрит окнами на восток и юг, часть на юг и запад. Лишь один дом, занимающий центральное место, глядит окнами двух своих этажей на три стороны. Этот дом заметно выделяется среди остальных построек деревни. Однако жалких хибарок с провалившимися крышами, осевшими пристройками, дырявыми воротами и кривыми загородками здесь почти не видно. Преобладает пятистенник на пять или четыре окна. У многих домов флигеля-малухи. Эти малухи тоже не смотрят грудами полугнилой трухи, как часто видишь по другим деревням.

Обращает внимание, что на пойме против деревни почти нет нижних огородов — капустников. Если кто-нибудь из проезжающих мимо на пароходе удивится этому, сейчас же найдется доброволец из местных жителей, который начнет объяснять:

— Легонько тут женщины живут. В верхних огородах, за избами, садят то, что без хлопот растет. Картошку, да морковку, да еще ягоду викторию разводят. А капусту ведь ее поливать надо, а им некогда. Положение такое, чтобы каждый день в городе на базаре сидеть.

— Чем же торгуют, когда, говоришь, огородом мало занимаются?

— У них найдется. Черпай, знай! — завидует рассказчик.

— Рыбаки, что ли, все? Место такое рыбное?

— Есть и это, а главное, у стены живут.

— Какой стены?

— А вон,— указывает рассказчик и, видя недоумение спрашивающего, объясняет: — Лес-то этот по берегу километров на десять да от берега до железной дороги где на три, где на пять километров. В середке хоть болото, а добренького тут много. Птицы сколько хочешь. Зверек мелкий водится, а грибов да ягод не выберешь. Они ближе всех живут, ну и пользуются. С весны до осени хватает. А больше того пользуются, что лес городского дачника подманивает. Строянка-то, видишь, у них на городскую стать. Под дачника и малухи приспособлены. И лодок у берега вон сколько! Тоже для дачника. С этого и живут. А огороды да пашня так только... звание одно... лишь бы крестьянами числиться. Скота раньше много держали. Место же у них на редкость. Там слева поскотина лесная большущая, а на пойме сена ставь, сколько сможешь. Вот и разводили скот. Теперь сильно сократилась с этим — от налогов уклоняются. А в остальном живут по старинке. Дачника доят, да на городском базаре спекулируют. Богатая деревня.

— Видишь, вон на самом юру домина! В любой город на хорошую улицу поставить не стыдно. Это Поскотина Евстигнея. Ох, и хитрый мужик! Ведь всякому с реки видно, что первый по деревне буржуй, а выкручивается. Флаги красные над воротами вывешены. Видишь? Это к чему?

— Ясли у него,— пояснила сидевшая рядом женщина.

— Для дачников?

— Зачем для дачников. Для своих деревенских.

— Та-ак,— протянул рассказчик.— Ловкач, что и говорить!

Когда Фаина вышла из лесу, этот ловкач стоял против своего дома у самого спуска к реке и, указывая рукой на лес, что-то рассказывал троим стоявшим около него городским.

Евстигней Федорович Поскотин, невысокий, широкоплечий человек, крайне неопределенного возраста. Раньше, когда он носил бороду, за цвет которой его прозва-

ли Бурым, возраст был виднее, теперь на бритом, продолговатом лице с крутым подбородком ничего не разберешь. Деревенские знают, что Бурому за пятьдесят, а тот, кто раньше его не видал, может дать лет сорок, даже меньше. Быстрые движения и бойкая речь сильно молодят его. Одевается Бурый, как говорят в деревне, под партизан. Брюки защитного цвета, заправленные в тяжелые сапоги, кожаная куртка с побелевшими швами и обрямкавшимися карманами, сдвинутая на затылок фуражка блином — таков его летний наряд. Зимой тужурка сменяется засаленным полушубком, фуражка — растрепанной шапкой с болтающимися наушниками, а брюки защитного цвета и сапоги остаются бессменными. Твердый шаг с легкой раскачкой туловища направо и налево усиливает сходство с людьми, проходившими военную подготовку, хотя Бурый никогда в армии не бывал. Встреться с ним кто-нибудь из прежних городских знакомых, он никогда бы не узнал в этом человеке с невыветрившимся налетом военной службы бывшего подгородного дачевладельца Поскотина. Тот ходил в платье городского покроя, носил кудрявую бороду лопатой, сверкал перстнями на пальцах и золотой цепочкой на жилете, вежливенько поскрипывал рубчатыми ботинками скороходовской марки, но таким же бойким говорком сообщал:

— Новость у меня, Иван Захарович! Площадку для лаун-тенниса устроил. Нельзя без этого. Люди городские, образованные, одичать можно в лесу-то. Поклончик передайте Елене Константиновне, Марье Васильевне... Васечке и Мурочке скажите, что все устроил, как просили. Будут довольны. Хе-хе-хе. По-европейски желали. Так и сделано. Могут с любой компанией приезжать.

Подобных зазываний от нынешнего Бурого никто из городских не услышит. Совсем по-другому сейчас это делается.

— Самая у нас беззатейная деревнешка. Горка на солнышке, лес да река, и больше ничего. Охотишке как не быть, раз лес рядом. Сам бегаю иногда. Больше рыбачить любитель. Всякую снасть имею. Одна беда — некогда. Работников у меня в семье раз и обчелся, а едоков считай — пальцев не хватит. Старых да увечных чуть не со всей деревни собрал, а еще место в до-

ме осталось. Комнатку? Это можно. Интересовались у нас раньше дачники. У каждого квартиры найти легко. А у меня дом большой. Настроили старики... Хе-хе-хе! Хоть телись! Замаялся с таким наследством. Путаешься в доме, как мышь в пологу. Радехонек, если кому удружить смогу. Цена? О чем говорить! Спекулянтством не занимался.

В деревне, конечно, многие помнили, как Бурый затеял постройку необычного для деревни дома, как усердно хлопотал, чтобы все дачные пароходы останавливались у Нагорья, как умел подманивать особенно выгодных дачников. Помнили хорошо, что и одевался и жил Бурый тогда совсем по-другому. Но об этом молчали по разным причинам.

Одни одобряли и сочувствовали: «Трудно ему с таким-то домом. Улика налицо». Другие добродушно посмеивались: «Ох, и вьется». Была в деревне и третья группа, которая относилась к маскараду Бурого с ненавистью, но эта группа была очень малочисленна, да к тому же чуть не каждый был чем-нибудь связан. У кого жена на базаре торговала, у кого к водке слабость, а кто и в долгах у Бурого. Как про него скажешь?

Маскировка Бурого, однако, не ограничивалась одним внешним видом. Она была гораздо глубже.

Большое хозяйство, которое вели старики, он давным-давно ликвидировал. Не было у него прежних четырех лошадей, шести коров и целого стада овец. Не было и записанных батраков. Теперь у Бурого однолошадное хозяйство без найма рабочей силы. Лошадь — орловская кобылица полных кровей. Такую, как известно, налогом не облагают и в госконюшню водят вне всякой очереди. Жеребят Бурый воспитывает старательно и не жалуется на убыток, так как в десятимесячном возрасте продает их рублей за шестьсот — восемьсот. Корова тоже одна, из премированных тагилок, а быка этой породы содержит «бычье товарищество», организатором и председателем которого состоит Бурый. Телята чуть не на десять лет вперед расписаны между своими деревенскими. Две свиноматки йоркширской породы дополняют хозяйство Бурого.

Каждую осень он представляет на районную и окружную сельскохозяйственную выставки чудовищного

размера овощи, выращенные матерью Фаины — Антоновной. Об Антоновне, понятно, нигде не упоминается. На дощечках около овощей отчетливыми буквами написано: «С огорода опытника Е. Ф. Поскотина из деревни Нагорье». Значится за Бурым и еще одна большая заслуга. Он не только сам перешел на девятиполье, но сумел и всю деревню убедить в выгодности такого севооборота. Правда, девятиполье Бурого условное. Как и в старину, оставалась половина земли под парами, но старый агроном, считавшийся тогда единственным научно-агрономическим авторитетом в округе, не видел или не хотел видеть здесь очковтирательства. Бурый же давал самый высокий урожай ячменя, спекулятивно рассеивая его первой культурой на участках, несколько лет находившихся в залежи.

Одним словом, в районе за Бурым давно установилось звание передового хозяина, опытника, агрикультурника.

Нечего и говорить о том, что он отзывчив на все мероприятия советской власти. Досрочно вносит налог, принимает деятельное участие в распространении займов, пишет в газету, когда можно похвалить кого-нибудь из районного начальства, выписывает газеты, книги, всегда отмечает советские праздники. Никто никогда не слыхал от него выражения недовольства властью, но всем в деревне все-таки было ясно, что это только маскировка. Чувствовали это и некоторые работники района, но только чувствовали, а доказательств не имели.

Лучше всех понимал свое положение сам Бурый. Давно уж искал он выхода, но никак не мог найти. Продать лошадь, корову — дело пустяковое, а вот с домом как? Кто его здесь купит? Оставить просто так и растаять где-нибудь в Сибири тоже нельзя. Обратят внимание и найдут. Пытался через своих многочисленных приятелей-охотников сбыть дом какому-нибудь учреждению,— тоже не вышло. А выбраться из деревни надо. С каждым годом труднее выкручиваться. Особенно когда в районном руководстве появилась молодежь из Красной Армии. Таких штанами да сапогами не проведешь, а больше насторожишь. Как быть?

Короткая заметка в окружной газете о проекте постройки бумажной фабрики подала надежду.

— Вот бы хорошо! Дом им под контору, самому немножко послужить тут, а потом... Семью в город, а сам в Сибирь. Ищи ветра в поле! Нашел бы место... По сборке пушнины, на мельницах, вообще на заготовках... Ведь документы у меня хорошие.

— Фаину бы с собой! — окончательно размечтался Бурый, но потом недовольно нахмурился:

— Чего упирается? Ножиком еще взяла моду грозить. Подожди у меня — покажу тебе ножик!

Дня через два после появления газетной заметки Бурый уже был в окружном городе, узнал адрес конторы новостройки, явился туда и предложил свои услуги в качестве проводника.

Старик инженер даже умилился «такому, а? отзывчивому отношению, а? местного населения» и обратился с вопросом к заведующему снабжением:

— Не можем мы, а? сегодня же выехать на моторке всем составом, а?

Заведующий снабжением долго крутил рукоятку телефона, кричал, ругал телефонисток и в конце концов торжественно объявил:

— Есть моторка. В шесть часов можно выехать.

— Так и устроим? Соберемся здесь к пяти, а? Вы согласны? — обратился инженер к Бурому.

Подходя к дому, Фаина внимательно рассматривала приехавших. Появление их казалось ей необычным. «На охоту теперь еще рано, а если дачу посмотреть, так почему без женщин?» — раздумывала она. Странным казался ей и вид приезжих.

Один из них, с широкой седой бородой и длинными седыми волосами, выглядывавшими из-под фуражки, стоял, заложив руки за спину, и поминутно вскидывал головой. Полки белого кителя от этих резких движений расходились, и было видно выступающее брюшко, синюю рубаху, низко подпоясанную белым шелковым шнурком с кистями. «Какой-то старый барин»,— определила его Фаина.

Рядом с Бурым стоял высокий костистый человек с непомерно длинным туловищем. Одет он был так же, как и Бурый, с той лишь разницей, что вместо фуражки-блина у него была кожаная фуражка австрийского образца с широким околышем и очень маленькой тульей, отчего он казался еще длиннее.

«Ровно щука на ногах»,— оценила эту фигуру Фаина.

Третий, в мягкой серой шляпе, хорошо выглаженном костюме, с клетчатым плащом на руке, стоял безучастно, как посторонний, случайно остановившийся около группы говоривших.

«Это кто? — задала себе вопрос Фаина и, не найдя ответа, предположила: — Не немец ли какой?»

Когда Фаина подошла близко, вся группа стояла, повернувшись к реке. Было слышно, что говорил Бурый.

— Это уж, поверьте, хорошо знаю. С малых лет на реке. Изучил ее, матушку. В случае можно и нашего бакенщика спросить. Вот будет зажигать фонари — и позовем.

Увидев подходившую Фаину, Бурый заговорил другим тоном:

— Вот и ягодки наши пришли... Свеженькие. Давно поджидаем. Соскучились... Долгонько что-то, Фаинушка. Тебе, видно, редко насыпано, а вон Нюрка Бачинова с ребятишками когда еще прошла. Полнехоньки корзинки тащат. Не твоей чета.

— Я ведь, Евстигней Федорович, телят ходила смотреть. Сам велел беспременно поглядеть.

— Ладно, ладно... Отговорку всяк найдет,— добродушно ворчал Бурый, а в глазах с колючими точками Фаина видела другое.— Иди-ка лучше приготовь гостям комнатку. Справь как следует. Сильно у меня гости-то дорогие. Да поставь с Тоней самовар, а рыбы на уху сам принесу. Есть где-то у меня для такого случая стерлядка.

Твердо глядя в злые евстюхины глаза, Фаина продолжала:

— Ничего телята-то! Все пять штук веселенькие. Пестрик вовсе большой стал. К твоим именинам, гляди, нагуляет мяска-то.

— Хватит тебе оговариваться,— откровенно озлился Бурый.— Целый день проходила за пустяком, а теперь о приблудных телятах разговаривает.

Когда Фаина ушла во двор, Бурый насмешливо проговорил:

— Знаем мы, каких телят по лесу разведенки ищут!

Приезжий в кожаной куртке, которого все звали товарищ Преснецов, поинтересовался:

— Прислуга ваша?

— Нет, свойственница. Содержу их семью. Целых пять ртов кормлю. Отец-то у нее лежит, параличом разбило, а в родстве мы. Куда денешься? Помогать приходится.

— Работает все-таки она? — добивался своего Преснецов.

— Работает! — пренебрежительно усмехнулся Бурый.— Видели вон ее работу. Целый день в лесу прошлендала, а несет не больше ребячьего. Недаром такую работницу муж прогнал. Всего, говорит, разорила. А мужик хороший. Вон с того краю третья изба у него. Сам бы прогнал, да по родству жалко. Вот какая работница!

— На каком же она у вас положении?

— Да ни на каком... при родителях живет... Я им квартиру предоставил, да помогаю кое-чем по-родственному, работает она на себя.

Преснецов звучно хмыкнул, и нельзя было разобрать, что скрывается за его «хм»: поверил ли он Бурому, или нет.

Хотя приезжие в Нагорье были постоянным явлением, но деревенские ребятишки все-таки не упускали случая поглазеть на каждого новоприбывшего. Около группы, стоявшей с Бурым, собралась уже целая стайка ребячьей мелочи. Они сосредоточенно и молча глядели на приезжих. Занимало их постоянное вскидывание головой старика, с удивлением глядели на жердеобразного Преснецова и особенно упорно следили за неподвижным щеголем, который стоял, «как статуй».

Один из этих белоголовых созерцателей неожиданно отозвался на слова Бурого:

— Дяденька Евстигней! Давеча как мы из лесу шли, Петька две набирушки ягод схамкал. Из корзины насыплет да и в рот. Не жалко, говорит, хозяйского...

— Ах он, стервец,— усмехнулся Бурый, принимая тот ласково-снисходительный вид, с каким обыкновенно взрослые разговаривают с детьми.— Скажу вот матери, она ему покажет, как ягоды из корзинки брать!

— Я ему говорил, а он мне плюнул вот в это место,— продолжал жаловаться мальчуган, показывая на подоле рубашки то место, куда плюнул Петька.

— Это какой же Петька? — опять заинтересовался Преснецов, обращаясь на этот раз непосредственно к обиженному.

— Антоновны парнишко... Это которая у дяди Евстигнея живет. Рублевы их фамилия.

— Ты пожаловался петькиной матери?

— Нету ее. Она на котором-то огороде у дяди Евстигнея полет.

— У нас тоже ноне полют,— вмешался другой карапуз.— Дедушка говорит: нечего праздники разбирать, коли трава силу взяла.

— Кш вас! — преувеличенно притопывая ногами, побежал на ребячью стайку Бурый, широко расставив руки.— Не мешайте разговору. Кш! Я вот вас!

Ребятишки отбежали и, стоя в отдалении, закричали: «Не поймать, не поймать!»

Бурый еще потоптался на месте, помахал руками в сторону ребят, потом обернулся к приезжим, силясь изобразить самое добродушное лицо.

— Пойдемте-ка в дом, а то эти шалыганы и поговорить не дадут.

Несчастьем Бурого была его жена Антонина.

Брал он ее из деревни Сумерят, выше по реке, у знаменитого в этих краях пароходовладельца Истомина.

Об Истомине в деревнях любили поговорить. Говорили, что смолоду он был рядовым крестьянином деревни Сумерят и каждый год уходил на сплав. Сначала плавал на плотах, потом был водоливом на барках и баржах.

Был он тогда большим весельчаком, балагуром и первым «горлохватом». «Никому его не перелаять... Так обложит, что только держись! Не голос — труба! Рупора не надо!» Потом этот весельчак и матершинник оказался содержателем кабака в деревне, а дальше уже совершенно неожиданно для всех купил двухэтажный пароход и стал «работать на дачной линии».

Через несколько лет пароходов стало три, а зимой в затоне около деревни Сумерят можно было найти кой-какую работу по ремонту.

Ставши владельцем пароходов, Истомин не потерял связи с своей родной деревней. Тут он сидел зимой и летом, устроив на речушке-притоке водяную мельницу. Жил по-крестьянски, ходил в сермяге, в разбитых сапогах, а летом в лаптях, нарочито подчеркивая, что он «простой» мужик, которого «за труды и бережливость господь наградил».

Никого это, разумеется, не обманывало. Прежние товарищи Истомина откровенно рассказывали о происхождении его богатства.

— Так дело было. На низу где-то разбило несколько барок с железом. Архип тогда водоливом ходил, и его баржи как раз к тому же месту подходили. В газетах печатали о несчастье, да и припечатали много лишку. Насчитали «убитых» барок гораздо больше, чем их было. Архип под эту фирму и подвел дело. Дал хозяевам телеграмму, послал газеты, какие ему надо, а сам подговорил кой-кого да и продал железо. Потом подвел пустые баржи да и ухнул их в ту же кашу, где затопленные были. Разбил, значит. Разбирай потом, было тут железо или не было. Оттуда у Архипа и пароходы появились. А что он торговал пивом да вином, так это один отвод глаз.

Все, кому приходилось работать на Истомина, хорошо знали, куда вела его сермяга и лапти. Под этим прикрытием старик самым жестоким образом ужимал копейку и постоянно жаловался на свое «тяжелое житье-положение».

— Связало меня с пароходами, а какая от них корысть! Людей кормишь, а сам впроголодь живешь — и спасиба не жди.

С рабочими в затоне и с своими служащими на пароходах старик обращался ласково:

— Ну, как, ребятушки, работенка? Идет ли? — а сам глазами зырк-зырк, и углядит какую-нибудь оплошку: сейчас же «усовещивать» начнет.

— Это у тебя, парень, ровно бы не ладно. Почему так? Али чужую копейку не жалко. Хозяин, дескать, все стерпит. Ох, пожалеть его надо, хозяина-то! Он к тебе всей душой, а ты вон что. Пустяк, говоришь? Поправить можно? Вот и поправь. А за эту за порчу,— не обессудь уж,— заплатить причтется. Нельзя без этого, мил-человек.

Если рабочий будет возражать, старик тоже не повысит голоса.

— Ну, что же, ступай с богом. Без тебя жил... Авось и дальше проживу, не понуждаюсь.

Бурый знал об этой прижимистости старика. Но не менее хорошо знал и другое. В городе старик вел себя совсем не так. Правда, и там он не расставался с своей сермягой и лаптями, зато представитель фирмы — его сын — был поставлен совершенно в другие условия. Жил в просторном, хорошо обставленном доме на одном из видных мест города, совсем на барскую ногу, часто устраивал всякого рода празднества, имел великолепный выезд.

Бурый мог ожидать, что старик постарается и свою дочь поставить в такое же положение. К затее Бурого устроить в Нагорье мощное дачное место старик относился одобрительно. Одобрил и то, что Бурый по своей затее держится на городскую ногу.

Учел все это Бурый, взвесил и присватался к дочке пароходовладельца. Девица была из таких, о которых деревенские свахи осторожно говорят: «На личико она средненькая, зато хороших родителей и здоровая. Как клюковка, бог с ней, налилась. Смотреть любо». Старик отец в минуты недовольства говаривал своей разнаряженной дочери:

— Чистое ты чучело, Антонидка! На огород только поставить. Вся в мать покойницу вышла. Экая же краля была. О пасхе ее через платок поцелуешь, так до вознесения отплевываешься.

«Средненькая» красота краснолицей, белобрысой, жидковолосой, смолоду расплывшейся невесты долго останавливала и Бурого, но в конце концов истоминские капиталы перетянули. Бурый женился и... жестоко просчитался.

Старик не пожалел денег на свадебный шум, не поскупился на приданое женское тряпье, но денег не дал ни копейки.

— Умненько жить станете — сами наживете.

Надежда получить наследство тоже не оправдалась. После Октябрьской революции и гражданской войны даже в ближайших к Нагорью деревнях осталось лишь туманное и какое-то очень далекое воспоминание о деревенском богаче-пароходовладельце.

— Точно, был такой... а куда он потом делся — не знаю. Убежал, может быть, а то и умер. Старик ведь. Давно такому по годам пора в могилу. Пароход один у красных был, и теперь он ходит по дачной линии в верхнем плёсе. Другие два, которые у белых были, сгорели. Это, когда они из города отступали, так флот речной жгли. Нефть в реку выпустили. Мост еще тогда подорвали... Одним словом, поминки себе справили... Мельница у старика была, так она за риком теперь. Только это пустяковое дело. От скуки, что ли, держал старик эту мельницу. Маломальская мельниченка. Ничего по-настоящему не осталось.

Когда такие разговоры велись при Буром, он их неизменно поддерживал:

— Чему и остаться, коли все деньги в пароходах были,— а сам думал: «Оставил старый черт наследьице... Куда бы только сбросить... Никто не подберет».

«Наследьице» действительно было не из важных. Безобразие жены и то, что она к тридцати годам превратилась в пыхтящую пирамидку из трех шариков разного размера, было еще вполгоря. Хуже, что она отличалась необыкновенной страстью к нарядам и каждому встречному готова была сказать: «А у моего тятеньки свои пароходы были».

Бурый, случалось, бил ее за такое непонимание своего настоящего положения, но это мало помогало. Стоило кому-нибудь из городских заехать в Нагорье, как Антонина Архиповна нарядится и уж как-нибудь ввернет заветное словечко: «Тятенька у меня пароходы содержал. Слыхали, может быть,— истоминские?»

3

Уводя своих гостей от неприятных разговоров на улице, Бурый не знал, как ему быть дальше.

«Выпалит дура про пароходы при таком вот,— думал он о Преснецове.— Сплавить бы колоду куда-нибудь».

Чтобы выиграть время, Бурый предложил приезжим осмотреть свое хозяйство. Рассчитывал показать, какой он «культурный хозяин» и как «помогает советской власти». Удачи, однако, и здесь не вышло. Приезжие, видимо, мало знали сельское хозяйство и в самых чувст-

вительных местах разглагольствований Бурого безразлично поддакивали.

«Пропал заряд»,— решил про себя Бурый.

Вороная, белоногая красавица Стрелка тоже не произвела должного впечатления. Оживился лишь «немец», который заговорил на самом чистом русском языке.

— Такую на Московском ипподроме выпустить не стыдно. Картинка! Кто наезжал? Откуда вы умеете? С секундомером? Сколько дает? Без сбоев?

Старик инженер даже удивился:

— У вас-то это откуда, Валентин Макарович, интерес этот, а?

— Люблю, знаете, Платон Андреевич. Предпочитаю этот вид спорта всем остальным.

— Вот я и спрашиваю, откуда это, а? Инженер-строитель, и вдруг — секундомер, сбои и прочие штучки? В кавалерии были или в тотошке, а? пристрастье имеете?

— Каждый развлекается как умеет,— сухо ответил «немец» и добавил: — Кто на Казбек лезет, а кто на дно рюмки глядит. Не стоит разбирать, почему один любит арбузы, а другой кружева на живой подкладке.— И замолчал, приняв тот деревянный вид, с каким не расставался с начала поездки.

Преснецов, с любопытством прислушиваясь к разговору инженеров, протянул длинную руку к лошади и ухватил ее за челку, но Стрелка вскинула головой и показала зубы.

— Ишь ты! Не признала, видно, хозяина! — усмехнулся Преснецов.

Бурого передернуло от этих слов, но он сдержался.

Дальше ведь еще хуже будет. «Придется свою колоду показать, а она ляпнет о пароходах. Убить мало, холеру».

Неожиданно выручила Фаина. Высунувшись из окна верхнего этажа, она спросила:

— Евстигней Федорыч, низом пройдете или парадкое открыть?

— Приготовила все?

— А как же... Помыться с дороги... самовар поставлен. Если уху варить, рыбы надо...

— Тоня там?

— Нет еще... Не управилась, видно,— улыбнулась Фаина.

— Отвори тогда. Удобнее будет. А я за рыбой сбегаю.

Когда приезжие поднимались за Фаиной по крутой лестнице в верхний этаж, Бурый забежал вниз и зашипел на жену:

— Разукрасилась, куча! Отрепье последнее надо, а она шелковое напялила. Как у березового пня ума-то... «У тятеньки свои пароходы были»,— передразнил он.— Ляпни только про это — изувечу!..— И в виде задатка Бурый сунул кулаком в среднюю шаровидность.

Антонина вскрикнула, но Бурый так свирепо посмотрел на нее, что она сейчас же стихла, только прошептала:

— Что ты, что, Евстюша?

— А то... Сдирай эту шкуру, надень самое простое... Слышишь? Да о пароходах у меня чтоб — ни-ни... Знаешь,— перешел Бурый на ласковый тон,— лучше бы ты совсем не показывалась...

— А как же!.. Чай кто разливать будет?

— Фаинка пусть разольет...

— Вон что! — вдруг визгливо вскрикнула Антонина.— Это чтоб в своем-то доме... полюбовницу завел... за хозяйку допустить. Не бывать этому. Пока жива буду, не допущу.

Бурый зажимал рот жене, но она вырывалась и продолжала выкрикивать.

Как большинство некрасивых женщин, Антонина была ревнива и уже давно подозрительно смотрела на отношение Бурого к Фаине. Предложение Бурого оказалось последней каплей, переполнившей чашу, и Антонина перестала стесняться. Бурый избил бы ее, если бы не было правды в ее словах. В мыслях он давно уже ставил Фаину на место своей постылой жены. Обратился к сидевшей тут же старухе матери.

— Хоть бы ты, мамонька, образумила дуру. Кричит невесть что, а вверху посторонние люди. Да замолчи ты, куча! — уж сам крикнул он на жену.

Старуха, мать Бурого, казалась равнодушной. Перебирая спицы вязания, она откликнулась на какие-то свои старушечьи думы.

— Я же тебе, Тонюшка, говорила, а ты все спорила! Печь видеть,— беспременно к печали.— И, немного оживившись, стала рассказывать: — Сажу будто я хлебы, а печка долгая-предолгая... конца ей нету...

Бурый махнул рукой и вышел.

Крик внизу был слышен приезжим, и Преснецов спросил у Фаины:

— Наследство делят?

— Кто их знает,— ответила Фаина.— Из-за нарядов поди...

— Из-за нарядов? — с недоумением спросил Преснецов.

— Да, видишь, хозяйка у нас любит барыней рядиться, а самому это не по нраву. Он совсем у нас подругому ходит.

— А-а,— понимающе протянул Преснецов.— Из барского роду, видно?

— Пароходы у отца-то были. В Сумерятах затон...

— Архипа Фадеича дочь? — как будто испугавшись, спросил Преснецов.

— Знавали, видно?

— Да так... работал у них немножко,— небрежно ответил Преснецов, а Фаине опять показалось, что он чем-то встревожен и потерял прежнюю свою уверенность.

«Как костью подавился»,— подумала она и еще более удивилась, заметив, что Преснецов украдкой поглядывает на люк из нижнего этажа.

«Боится будто»,— сделала вывод Фаина и тоже насторожилась.

Когда Преснецов спросил, на каком положении она живет у Поскотиных, Фаина уклончиво ответила:

— При своей семье живу. Квартиранты мы. Помогаю по малости.

— Так, так,— кивал головой Преснецов, но было видно, что ответы нисколько не интересуют его, что он спрашивает только для того, чтобы скрыть свою внутреннюю тревогу.

Инженеры после размолвки около лошади, видимо, дулись друг на друга. Старик, заложив руки за спину, расхаживал по комнате и время от времени останавливался перед стеной, где были развешаны фотографии

с видами окрестностей Нагорья. Молодой стоял у раскрытого окна в прежней позе отчужденности, полного безразличия ко всему. Даже клетчатого плаща не снял с руки. Старик изредка взглядывал на него, чаще обыкновенного взмахивал головой, но ничего не говорил.

Когда Фаина через люк спустилась вниз, Преснецов сейчас же вышел по парадной лестнице во двор.

Пройдя к противоположной стене двора, он сел на сложенные тут бревна и достал папиросу. Похоже было, что поджидает хозяина, но глаза бегали по окнам нижнего этажа. В этой половине как раз приходилась кухня, и Преснецову хорошо было видно старуху с вязаньем и стоявшую около печки Фаину. Посидев с минуту, он медленно поднялся, вышел за ворота, прошел мимо окон лицевой стороны дома и куда-то исчез.

Появился почти одновременно с Бурым, который поднялся с берега реки.

— Ну, как улов, Евстигней Федорыч? В садке-то ловко ловится? — добродушно встретил он хозяина. Заглянув в кошелку, одобрительно крякнул: — Ого! Для больших купцов такую раньше варили,—и вздохнул: — Только... как ее есть-то теперь?

— А что?

— Плавала ведь,— осклабился Преснецов.

Будто редине в облаках после затяжного ненастья обрадовался Бурый.

— Это-то? Хе-хе... Если пожелаете, в лучшем виде подливчик соорудим... Хе-хе... Расстараюсь для дорогих гостей... Шутник вы... Плавала, говорите... Хе-хе... Поплывет и у нас...

Такой переход, видимо, не понравился Преснецову, и он охладил восторг Бурого.

— Не для себя я... Старик наш большой на это любитель. Нельзя не уважить — специалист. Знаете ведь, все им предоставлено... Работай только...

— Понимаю,— подтвердил Бурый,— водочку потребляет, или как?

— Светленькое больше...

Фаина, вышедшая из кухни, стояла у воротного столба и из-под руки смотрела в сторону леса, как буд-

то кого ждала. На самом деле — ей хотелось узнать, о чем говорит приезжий с хозяином.

— Что ты, Фаинушка?

— Петюньки где-то нет у нас. Вот и смотрю, не идет ли.

— Давно дома ваш Петюнька, ребята сказывали,— говорит Бурый и передает ей корзинку с рыбой.— Вот отдай Тоне. Пусть сейчас же уху варит, а покрупнее стерлядок разварными пусть подаст. Да пошевеливайтесь у меня... Живой рукой, чтобы было... А я сбегаю кой-куда,— обратился Бурый к Преснецову,— расстараюсь, не беспокойтесь.

— Ладно, ладно. Устрой как-нибудь. Специалисты, сам понимаешь...

Идти Бурому было незачем, запасы водки и вина у него всегда имелись «на всякий случай», но этого не хотелось показывать Преснецову, да и казалось выгодней подчеркнуть: сам послал, по всей деревне искать пришлось. К тому же не надо было заходить в кухню, где Бурый боялся не выдержать разговора с женой.

— Будь что будет,— решил он и развалистой своей походкой направился в восточный край деревни.

— Там, видно, больше? — спросил Преснецов.

— К городу ближе, богаче живут,— отшутился Бурый.

Фаина, слышавшая разговор, легко разгадала маневр Бурого, но не удивилась этому. Не особенно удивилась она теперь и приезжему, который с первого взгляда чем-то не понравился ей.

— Как есть щука на ногах,— повторила она свою оценку, глядя в спину проходившего к парадному крыльцу Преснецова.— Пьяница, должно быть, не последний, а, может, вроде нашего — пристроился,— добавила она про себя.

Гораздо больше удивила Фаину хозяйка. Она ходила по кухне с припухшими глазами, но казалось, что ее так и распирает от какой-то радости. Фаина, передавая рыбу, даже пошутила:

— С праздником вас, Антонина Архиповна!

— С праздником и есть,— отозвалась было та, но сейчас же спохватилась,— с каким это!.. Чего мелешь?

Городские приехали — невидаль, подумаешь! Хотела приодеться, да и то раздумала. А она — с праздником. У самой, знать, на уме только праздничать. Целый день проходила, а что принесла?

— Не за ягодами я, а телят смотреть,— ответила Фаина, с трудом сдерживаясь, чтобы не сказать лишнего. Уж очень ей хотелось послушать, о чем будут говорить городские приезжие. Верно ли, что станут строить фабрику, и когда?

Сдержанность Фаины успокоила хозяйку, и она стала подробно расспрашивать о телятах. Фаина не менее подробно рассказывала о том, чего не видала, и этим окончательно задобрила хозяйку. До того расчувствовалась Антонина, что даже пожаловалась:

— До чего довели! Телятишек своих, и то в лесу приходится держать. А раньше-то... Хоть бы взять того же...— И она вдруг смолкла, взглянув на Фаину испуганными глазами,— не проговорилась ли.

В кухню вошла Антоновна, мать Фаины. С ней худенький ясноглазый мальчуган лет семи.

— Это, Фая, какие приехали? Зачем? — сейчас же спросил он.

— Не знаю, Петюнька. Вон Антонину Архиповну спроси.

— Говорят, завод строить будут. Бумагу будто делать? Верно это? — не унимался мальчуган.

— Какой тебе, сопляку, завод! — неожиданно накинулась на мальчика Антонина.— Болтает, чего не понимает, а мать стоит, будто и дело не ее. Закликнула бы! Его ли дело про заводы расспрашивать!

— Маленький ведь. Что слышит, то и говорит,— пыталась защитить братишку Фаина, но только растравила этим свою хозяйку.

Из отцовского дома, кроме страсти к нарядам, Антонина вынесла огромный запас всяких ходячих слов на разные случаи жизни и любила их кому-нибудь повторять. Теперь это выпало на долю Петюньки, и она усердно стала вытряхивать из себя всякую премудрость.

— Смолоду не научишь — потом покаешься. Учи малого, говорят, покуда поперек скамейки уложить можно, вдоль скамейки класть — в волость ходить. От людей — покор и себе — досада...

Петюнька не раз слыхал такие разговоры хозяйки и относился к ним с полнейшим равнодушием. А ждать приходилось — иначе хозяйка обидится и еще больше станет донимать своим поученьем. Когда запас слов на тему о воспитании детей пришел к концу, Антонина набросилась на Антоновну.

— Ты что, стоять пришла, а не помогать? — И опять полился поток всяких присловий о хозяине и его работниках.

Петюнька, как только мать перестала держать его за руку, шмыгнул к двери и с порога крикнул Фаине:

— Не могла сказать! Жалко тебе! — и, переменив тон, похвалился: — А я и без тебя знаю! Слышал, как тетя Тоня с приезжим дядей разговаривала. Бумажную фабрику в лесу строить приехали!

— Что? Что ты, свиненок, плетешь? С кем я говорила? — вскинулась хозяйка.

— А с дядей, который в кожаной фуражке! Еще Филей его звала,— крикнул мальчуган и захлопнул за собой дверь.

— Вот стервец! — хлопнула себя обеими руками по обширному животу хозяйка и опять набросилась на безответную мать Петюньки. Та отмалчивалась и вместе с Фаиной хлопотала у печки. Поток чужих слов нашел отклик только у матери Бурого. Старуха поддакивала снохе:

— Верно, Тонюшка, сказываешь. Так, так...— Вскоре, однако, потянула на свое: — А печь видеть — это беспременно к печали... Помяни мое слово. И печь-то долгая-предолгая... Конца-краю ей не видно...

Люк сверху открылся, торопливо стал спускаться Бурый. Плотно закрыв за собой западню, зашипел на жену:

— Говорил тебе,— гости особые, а она расселась, сны с мамонькой распутывает! Пока уха варится, закусочку бы подала. Да получше, смотри! Из запертого шкапчика на погребице возьми две коробки. Грибочков тоже, огурчиков. Чтоб, значит, по-хорошему. Да переваливайся поживее, а то люди томятся.

— Ох ты, господи! — вздохнула Антонина и стала «переваливаться» — сначала за ключом от шкапчика, потом вышла на погребицу.

— Ну, скоро у вас? — спросил Бурый у Фаины.

— Не задержим, не беспокойся,— ответила та и в свою очередь спросила: — Который высокий-то... в кожаной фуражке... Его как зовут?

— Не знаю,— небрежно ответил Бурый, потом добавил: — Все слышу: товарищ Преснецов да товарищ Преснецов... По-другому не зовут... Партийный, надо полагать... А тебе что? Зачем понадобилось?

— Думала,— знакомый какой,— раз Антонина Архиповна с ним разговаривала...

— Разговаривала? Где? — явно встревожился Бурый.

— Петюнька сказывал... Из окошка будто...

Дальше Бурый не мог слушать. Он выбежал из кухни, сильно хлопнув дверью.

— Будет теперь разговор,— сказала Фаина матери, на что та с укором отозвалась:

— И чего ты, Фая, встреваешь в это дело... Пусть их живут, как им надо.

— Нельзя, мамонька, не встревать... Вижу, что тут какой-то обман советской власти подстраивают... А мне что? В стороне стоять да поглядывать? У меня, поди-ка, Вася за эту власть голову положил, да и нам с тобой она не чужая.

— Молчи-ка ты,— кивнула Антоновна на старуху.

— Не до нас ей,— успокоила Фаина,— свою долгую печь видит. Что-то у них разговор затянулся. Пойти послушать.— И Фаина, захватив таз с рыбьей требухой, выскользнула во двор. Там увидела у погребицы мирно разговаривающих хозяев и услышала последний наказ Бурого:

— Ты виду не подавай, что знаешь... Будто отродясь не видала.

— То же и он говорил,— ответила Антонина и нарочито громко проговорила: — Ишь, вылетела подслушать, о чем хозяева беседуют. Житья мне не стало от роденьки-то твоей. Давеча вон их мозгленок успел подглядеть, как я с Филей перемолвилась. Прямо в гроб меня скоро загонят.

«Дай-то бог»,— подумал Бурый, но вслух сказал совсем другое:

— Христос терпел и нам велел. Не прогонишь ведь по родственному положению.— Обратившись к Фаине,

Бурый строго приказал: — Без зову вверх не показывайся, а подавать станешь, не застаивайся.

— Какой мне в том интерес? — ответила Фаина.

— Кто тебя знает... На что-то вон спрашивала, как приезжего зовут.

— Полюбопытствовала, не старый ли знакомец какой.

— А хоть бы и так... Не твое дело нос совать. Помни это.

— Буду помнить, Евстигней Федорыч! Хозяйское одно, наше другое.— И мысленно обругала себя: «Дурой была, что им подсказала. Теперь легче спеться».

Однако тут же утешила себя:

«Все равно, вижу теперь, что тот этому пара. Тоже, видно, деревенский кулачище, только уж в город пробрался и к большому делу прилипает. Как вот отлепить такого?»

С этим вопросом Фаина не расставалась весь вечер, а он выдался хлопотливым. Антонина Архиповна после разговора с мужем проявляла необыкновенную энергию. Она вытащила самую лучшую посуду, придирчиво требовала, чтоб все было «собрано, как при тятеньке», посылала Фаину в огород за укропом и тмином и даже обратила внимание на лапти Фаины.

— Ты бы ботинки надела для такого случаю.

— Нету у меня,— угрюмо ответила та.

— Мои старенькие надень,— милостиво разрешила хозяйка, но Фаина сдерзила:

— На лапти, что ли, твои-то надевать? Иначе спадут.

В других условиях это вызвало бы целую бурю, но теперь хозяйка только поджала губы:

— Вон что! Ей добром, а она зубы скалит!

Поднимаясь не один раз вверх, Фаина больше всего следила за приезжим, которого назвала про себя щукой. Видела, конечно, и других, но они ей казались менее интересными: «старый барин» быстро опьянел и чаще прежнего мотал головой и говорил одно и то же:

— Приятно это, а? Этакая отзывчивость, а? в деревне, а?

«Немец» большого усердия к напиткам не проявлял, но сильно налегал на еду. Ему, видно, нравилось, как «собран стол». С большим аппетитом ел уху, а когда

Фаина, сменив тарелки, подала на большом блюде разварную стерлядь, «немец» даже встал и раскланялся с хозяйкой.

— Благодарю вас, хозяюшка! В московских ресторанах и то такое блюдо редко увидишь.

Антонина старалась молчать, лишь изредка повторяла:

— Не обессудьте, гостеньки дорогие, на нашем деревенском угощении.

Это приводило в восторг старика, и он бормотал:

— Деревенское, а? Выпьем за хозяйку, а?

Бурый сидел рядом со стариком и усердно подливал ему в рюмку. Щука держался как-то в стороне, словно хотел показать свое невысокое служебное положение и каждый раз, принимая рюмку, вставал и кланялся инженерам: — Будьте здоровы, Платон Андреич! Будьте здоровы, Валентин Макарыч! — Заметно было, что он «сторожится». Бурый не раз укорял, что он не допивает, а уносившая посуду Фаина заметила, что остатки в его тарелке сильно пахнут водкой.

— Боится, видно, напиться — выливает,— отметила она.

Заметно «сторожился» и Бурый.

— Не снюхались еще. Боятся один другого,— решила Фаина.

Из отрывков разговора, который ей удалось слышать, Фаина поняла, что строительство будет большое, в пяти километрах от Нагорья, а Бурый старался доказать, что надо строиться тут, рядом с Нагорьем.

«Немец», которому надоели разглагольствования Бурого, даже сказал:

— Вы, любезнейший хозяин, просто не понимаете, какое это будет строительство. Для него нужна очень большая строительная площадка.

Бурый все-таки понимал «площадку» по-своему и обещал завтра показать сколько угодно «площадок» под самой деревней и «на ладошку выложить» все неудобства строительства в намеченном месте.

— Сами увидите, что там вовсе и строиться нельзя,— уверял он.

Засиделись чуть не до рассвета. Было уже светло, когда Фаина, перемыв посуду, пошла к себе в малу-

ху. Ее удивило, что калитка не заперта засовом. Выглянув, она увидела вдали на спуске к реке Бурого и Щуку.

«Спелись, ироды! — подумала Фаина.— Как бы им руки-то отшибить?»

С этим вопросом она и ушла в малуху, но уснуть долго не могла, слышала, как вернувшийся с берега Бурый уговаривался с гостем.

— Лошадку-то, думаю, не рано понадобится запрягать?

— Куда там рано. Наш Платоша наверняка к полдню раскачается. Ты его завтра не подпаивай. Неловко в город пьяного везти да еще на моторке. Все-таки начальство,— говорил гость.

— Ладно. Скажу, что достать не мог. Малость-то, конечно, будет.

При расставании Бурый проговорил:

— Будем, значит, в знакомстве, Филипп Кузьмич.

— Свой своему поневоле друг, Евстигней Федорыч,— ответил приезжий.

Фаине дело представлялось гораздо хуже, чем было. Она не знала, что вся эта тройка в сущности не имела никаких полномочий, и приезд был скорей увеселительной прогулкой. На деле руководители намечавшегося строительства еще не приехали в город, но просили Горсовет подготовить помещение для конторы и чертежной. Горсовет и поручил это бывшему городскому архитектору. Все знали, что старик, схоронив на одном месяце сына и жену, сильно опустился, но знали и то, что большая часть лучших городских зданий строена им, и продолжали ценить его вкус и строительные навыки. Помнили также честную и самоотверженную работу старого архитектора, когда надо было исправлять повреждения, нанесенные городу колчаковцами.

Валентин Макарыч Мусляков вовсе не был инженером. Он был только чертежником-практиком «с острым глазом и быстрой рукой». Культуру он понимал, главным образом, в галстуках, покрое платья и так называемых манерах. Его отчужденность объяснялась обидой, как это его, «урожденного столичного человека, запятили в какую-то глушь», откуда он надеялся, впрочем, скоро вырваться.

— Как только подыщу «подходящих» чертежников на месте, так и домой — в столицу,— утешал он себя

Преснецов был, действительно, парой Бурого, с той лишь разницей, что этот деревенский кулак, державший раньше в кабале бедноту многих деревень соседнего округа, брал подряды на плотничьи и лесозаготовительные работы. Пароходовладельцу Истомину он приходился дальним родственником и не раз «гащивал» в Суме-рятах. В годы гражданской войны Преснецов перекочевал в другой округ и «вышел с топором», объявив себя плотником. Платон Андреич стал знать его уже бойким, расторопным десятником и принял его к себе, громко назвав начальником снабжения.

Об инженерах Фаина не судила. Ей казалось, что они и должны быть «вроде бар». Не нравилось, что оба не видят, как вьются около них кулаки. Зато кулаков знала хорошо и боялась, что они будут поворачивать строительство, как им надо.

— Как бы им руки отшибить? — в сотый раз задавала она себе вопрос. Последние слова Преснецова «свой своему поневоле друг» заставили подумать: «А кто у меня свой?»

— Мамонька?.. Что она может... От Петюньки больше толку... Может, Кочетков? Иван Савельич,— улыбнулась опять Фаина.— Не больно силен парень, а все-таки... Трудного житья... из бедняков, как я... в партии, сказывал, состоит... знакомство с городскими партийными имеет и районных знает... Верно! Вдвоем-то, может, и придумаем, что сделать... Посмотрю завтра, что будет, и сбегаю к нему. Посоветуемся... с толстогубым,— вспомнила она лицо добродушного парня.

С таким решением Фаина заснула, а часа через три уже «толклась» в кухне, где на этот раз готовился «праздничный» обед. Хозяйка, намолчавшаяся вчера, теперь старалась наверстать упущенное. Сначала она высыпала запас пословиц на тему: люди обижают, да бог помогает; потом расхвасталась:

— Думали Поскотиных под голик загнать, а что вышло? Филя-то мне троюродным братцем приходится. Вместе, можно сказать, росли. А ему теперь вон какой подряд сдают. Разве он забудет своих?

Фаина не удержалась, чтоб не поддразнить хозяйку:

— Большой-то, большой, да как бы им не подавился твой братец!

— Не твоего ума дело,— отрезала хозяйка.

— Известно, где нам за умными угнаться,— улыбнулась Фаина и этим окончательно рассердила хозяйку. Та запыхтела, как будто поднялась на крутую гору, и погрозила:

— Доведешь ты меня, Фаинка, что из дому выгоню!

— Без даровых работниц останешься? — не унималась та.

— Ф-фы, ф-фы...— долго пыхтела хозяйка и, отдышавшись, накинулась на безответную Антоновну. Долго донимала ее своими наставлениями, но та по обыкновению молчала.

После утреннего чая Бурый запряг свою Стрелку и все четверо отправились осматривать место, намеченное под строительство. Архитектор и Мусляков поместились на заднем сиденье, а Бурый с Преснецовым взгромоздились на козлы.

— Повезли кулаки строителей,— отметила про себя Фаина.

Часа в четыре был обед. Обильный, но напитков на этот раз было мало: граненый графин с мутноватой жидкостью и распочатая бутылка с пестрой этикеткой. Мусляков ел, похваливая хозяйку, старик архитектор выпил рюмку, но не больше, и не ел, а только «ковырял вилкой». Он заметно был недоволен и к концу обеда откровенно стал ворчать:

— Площадка? Танцевать можно, а? Десятка два таких домов поставить, а? С огородами? Лишь бы к своей деревне поближе, а?

Все это относилось, как видно, к Бурому, который, несомненно, показывал свои «площадки», но дальше пошли вопросы о намеченном участке строительства.

— Одна береговая полоса, а? Поселок куда? На торфяное болото, а? Опротестовать надо, а?.. Вы как думаете, а? — неожиданно обратился он к Муслякову.

— Стараюсь не вмешиваться не в свое дело,— ответил тот.

— Напрасно, молодой человек,— вспылил старик и даже перестал акать.— Подлое правило жизни у вас... Подлое-с...

— Вы не имеете права меня оскорблять,— поднялся из-за стола Мусляков.

— Таких, а? оскорбить невозможно.— И старик тоже вышел из-за стола.

Бурый пытался «затушить огонь»,— он вдруг припомнил, что у него где-то есть «коньячок хорошенький, от старых времен остался». Но это усилило недовольство архитектора.

— Коньячок на площадку, а? Дешев стал Платон, дешев, а?

Старик направился к выходу, бросив Преснецову:

— Уплатите за ночлег, еду и поездку по их счету... Без ряды! Разницу против государственных возмещу, за отзывчивое отношение местного населения, а? — горько пошутил над собой Платон Андреич и вышел.

Мусляков сходил за своим клетчатым плащом и остановился у окна, откуда ему видно было, что старый «пьянчужка», как он называл своего начальника, стоит на спуске к берегу и смотрит по реке в сторону города. Около него уж толпились ребятишки, глазея на чудного дедушку, который поминутно взмахивал головой и что-то бормотал. Мусляков, поблагодарив хозяев, извинился за «беспокойного гостя» и тоже вышел. За ним вышли Бурый и Преснецов, но эти довольно долго задержались на лестнице.

Моторка пришла даже раньше назначенного времени и без задержки отправилась обратно. Бурый вызывался «проводить до города», но получил отказ.

— Зачем, а? Совершенно не нужно.

Обескураженный всем случившимся в последний час, Бурый, придя в кухню, пожаловался:

— Зря, надо полагать, потратились. Едва ли толк будет...

— А Филя-то! Настоит же, поди? — откликнулась жена.

— Что твой Филя! Сегодня при строительстве, а завтра сгонят. Слышала, как старик-то разъехался. До всего ему, видишь, дело, даром что из старых да и с большой слабостью.

Спохватившись, что его слушают посторонние, Бурый поправился:

— Может, самого старика прогонят. Не спустит ему Валентин Макарыч, да и Филипп постарается втравить по слабости.

Сказав эти утешительные слова, Бурый не удержался, вздохнул:

— Жить не дают.

Как запаленная лошадь, завздыхала и жена. Безучастная ко всему старуха, мать Бурого, услышав вздохи, оживилась и заговорила о своем:

— Я говорю,— печь видеть — беспременно к печали...

— Да будет тебе, мамонька, со своей печью... Себе и людям в тягость живешь,— проговорил Бурый.

Но старуха, попав на привычное, уж не могла остановиться:

— Сажу будто хлебы, а печь долгая-предолгая...

Кончить рассказ о вещем сне старухе и на этот раз не удалось. Хозяин с хозяйкой ушли наверх «допивать и доедать, чтоб не пропало». Антоновна вышла на погребицу. Фаина осталась одна.

Фаину встревожило, что старик архитектор недоволен выбором места под строительство, но ей понравилось, как он «отчитал клетчатого» и раскусил Бурого. Поняла и то, что кулаки не особенно «твердо сидят», но все-таки опасение осталось.

— Подведут старика-то да этого «клетчатого» и поставят, а он, может, обоих кулаков хуже. Надо все-таки посоветоваться с Ваней,— неожиданно для себя назвала она Кочеткова уменьшительным именем.

На рассвете следующего дня Фаина шепнула проснувшейся матери:

— До вечера не жди меня. В случае, если спросят, скажи, что в город уехала.

— Куда ты? — спросила было мать, но Фаина быстро вышла и направилась в сторону будки «У ключа». Несмотря на ранний час, Кочетков возился на реке у своего «заездка». Увидев Фаину, он обрадованно крикнул:

— Смотри-ка, Фая! Щуку-аршинницу поймал! На твое, знать, счастье.

— Везет мне на щук-то. Я тоже видела чуть не саженную.

— Во сне?

— Зачем во сне, наяву.

— Пойдем к будке, попьем чайку, как в тот раз, тогда и расскажешь, какую такую щуку видела,— приглашал парень, но Фаина, присев на борт лодки, отказалась:

— Сперва послушай да посоветуй, что делать.

Озабоченное лицо Фаины встревожило парня.

— Что ты, Фая?

— А вот...— И Фаина подробно рассказала о том, что видела в Нагорье за последние два дня. Выслушав ее, Кочетков раздумчиво произнес:

— Этак, значит... бумагу делают. Не успели начать, а коршунье уж высматривает, нельзя ли что урвать... Это ты верно придумала, что надо кулакам руки отбить. Только как быть? Надо бы мне побывать в городе, поговорить кой с кем, да, сама знаешь, до воскресенья нельзя. Может, ты съездишь? На дачном пароходе. Я тебе расскажу, куда сходить, а к вечеру домой, и мне расскажешь. Мешкать тоже в таком деле не годится. Так съездишь?

— Да у меня, стыд сказать, и на билет нету.

— На передний путь наскребу, а на обратный рыбину дам. Продашь ее в городе, вот тебе и билет, да еще и мне курительной бумаги купишь.

— Сроду не торговала.

— Да ведь это не торговать, а свое продать.

— К кому хоть там сходить-то?

— Это я потом скажу. Тебе, думаю, не с Нагорья надо садиться, а с Котловины. Тут ближе, да и по воде. Живо сплывем. К отвалу поспеем. Дорогой и расскажу, к кому сходить в городе, а пока беги-ка вон за корзинкой. Ту принеси, которая с крышкой, да травки нарви, чтоб чешуя не сохла. Кормовое весло не забудь! — крикнул он вдогонку.

Когда плыли по реке, Кочетков, усердно работая веслами, рассказывал, к кому надо зайти в городе. Особенно настаивал, чтоб побывала у Козыревых.

— Иван-то старше меня годов на пять, в гражданскую войну вместе с моим отцом были, а теперь выучился по агрономической части и в Окружном комитете по этим же делам, а жена у него из нашей деревни. Раньше ее Гланькой Лешачихой звали, а теперь учительница она и тоже в партии. Они помогут. А в слу-

чае никого не застанешь, иди прямо в Комитет и скажи: «Желаю секретаря видеть по важному партийному делу».

— А сама беспартийная...

— Что ж такое! У партии на это запрету нет. Там скажи насчет Бурого и про этого — Щуку-то... Пусть поглядят, что за человек. Может, он от колчаковцев остался, а дома вроде того был, какой мне ногу попортил и в армию дорогу загородил.

Фаина, слушая это напутствие, даже похвалила парня:

— Ты, гляжу, расторопный и смекалистый.

— Погоди,— поженимся, так ребята у нас сразу грамотные пойдут.

— Только толстогубые, поди,— отшутилась Фаина.

— Может случиться,— согласился парень,— потому мать тоже не из тонкогубых. Оно, может, и лучше, коли подгонка есть. Как думаешь?

Фаина с удивлением почувствовала, что краснеет, и, чтобы скрыть смущение, строго проговорила:

— Замолол! Дело большое, а он о пустяках.

— Сама начала,— отозвался Кочетков и добавил: — Дело делом, а ребята ребятами. Без них тоже не бывает.

Подплыли к пристани как раз вместе с пароходом. На берегу стояло десятка полтора пассажиров. Посадка была нетрудная, но у Кочеткова оказались знакомцы. Один из них усиленно начал расспрашивать, что за женщину он привез.

Чтоб отвязаться, Кочетков сказал:

— Щука вчера мне попалась подходящая, так вот посылаю свойственницу продать. Хранить-то ведь мне негде.

Объяснение показалось понятным, и знакомец попросил:

— А ну, покажи!

Аршинницу-щуку посмотрели и другие, и разговор на пароходе пошел «по рыбацкой линии»: «а у нас...»

Кочетков из этого сделал свой вывод:

— Коли на пароходе кто вздумает купить, продавай. Можно и с корзинкой.— И назначил цену.

Пароход отвалил «в минуты», и Кочетков, стоя на берегу, пошутил:

— Со щукой на Щуку поехала.— Серьезным тоном прибавил: — Не сомневайся. Найдутся рыбаки и на твою Щуку. Выловят. А с этой щукой не канителься. Скинь в случае, чтоб она тебя не вязала. Не за тем ведь поехала, чтоб на базаре сидеть. К Козыревым первым делом зайди, а потом, как я говорил.

— Не забыла, не беспокойся.

— Вечером мне скажешь?

— Сюда же с вечерним сплыву.

— Ну, счастливо — против воды плыть!

— Спасибо, Ваня! Не сробею. Решилась я! Перешагну деревенскую межу.

В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ

Широко рассеялось вблизи башкирских степей село Круглые Озера. Свыше четырех сотен домов накопило, паровой мельницей обзавелось, большую церковь «миром» поставило.

В глубокую даль отодвинулись времена, когда здесь бывали столкновения русских с башкирами.

Давно смешались люди одеждой, обычаями, языком, «обличьем», фамилиями.

Не разберешь, почему скуластый, с редкой подвеской черных прямых волос под подбородком зовется Кузьмой Лупанцевым, а рыжий, с широким окладом бороды, подсадистый крестьянин носит башкирское имя Садык Телакаев.

Телакаев только что сдал перевод по почте и теперь рассматривает маленькую витрину, закрытую сеткой, где выставлены недоставленные письма. Остановился на одном с особым вниманием. Там мигающим почерком «наковырено»:

Станся Шумляк
Вилянськиӣ равион заззерски сильсавет
Получить Анни Петровни Тилятивай

Садык укоризненно качает головой.

— Ай-яй! Анна Петровна! Совсем не научила парня. Разобрать не могут его письмо.

Обращаясь к почтовику, говорит:

— Отдай мне. Завезу. Из нашего места парень. Ныне только в Красную Армию ушел. Матери пишет... Вдова она.

— Которое письмо? — спрашивает седенький, сухонький почтовик.

— Вот это,— тычет пальцем Садык через сетку витрины.

Почтовик выходит из-за загородки, открывает витрину и передает письмо.

— Свези, если знаешь.

— Как не знать. По соседству живет, и пашни наши сходятся.

Осторожно уложив письмо во внутренний карман, Садык укоряет почтовика:

— Все-таки разобрать можно, а вы его держите на выставке... Бюрократство это с вашей стороны.

— Из Академии наук надо человека, чтобы здешние письма разбирать,— дребезжит почтовик,— чисто все тут исперепутались, не разберешь, кто русский, кто башкирец.

— Перепутались и есть,— примирительно отзывается Садык.— Только вера разная, да хозяйство у каждого мало-мало осталось. И тому приходит конец.

— Это ты правильно,— поддакнул почтовик и с таинственным видом добавил: — Вчера в вашу сторону три трактора прошли. Чуешь, к чему?

— Видел я... у Куртугуза завязли... Когда еще вылезут...

— Вылезут! Будь без сомнения... С норовом этот народ... который с машинами-то в степь попер... От своего не отступит...

— Это же и у нас говорят... Помогают еще которые... Голь-то самая...

— Ему что, голому-то... Хуже не ждет...

— Да,— вздохнул Садык,— времена, я тебе скажу! Каждый день чего-нибудь да жди.

Почтовик не забыл, однако, укора в «бюрократстве» и неожиданно повернул разговор:

— Не все, видно, коту масленка, подходит и великий пост.

— Ты это к чему?

— А вот к тому... Кончил дело, отходи от окошечка, гражданин!

— Вон как заговорил! — удивился Садык и с обиженным видом направился к выходу. Уже в дверях вслух сказал:

— Я и говорю,— каждый день чего-нибудь да жди...

И все-таки такого случая еще не бывало в Круглых Озерах.

Козинский мужик Иван Саватеич привез со станции в страстную субботу каких-то городских...

Мало ли ездит... Только этих сразу заметили.

— Гляди, девки, с приданым городские приехали... Сватать, видно, которую... Не подгадь дело, покажи скатерки с кисточками! — кричит от пожарницы щуплый старичонка в сторону девиц, снимавших в соседнем дворе развешанное белье.

Но девиц приглашать не надо. Они уж и так выбежали за ворота с охапками снятого белья и глядели не столько на приезжих, сколько на их багаж: две деревянных и три железных шкатулки...

Ребятишки уж успели составить около плетенки живой крикливый полукруг.

«Бывалый человек» — сторож пожарницы начинает дипломатический подход.

— Не от Зингера будете? Иголочку к машине через вас доступить нельзя?

— Зингера, дед, запаху не осталось. Госшвеймашина теперь на том месте орудует... Свои у нас машины ноне, советские... на Подольском заводе изготовляют.

Старику не так уж много дела до Зингера, но не хочется терять репутацию бывалого человека, и он пытается взять под защиту этого самого Зингера.

— Как же это возможно, чтоб, значит, все машины без иголок оставить. Что-то вы неладно судите, гражданин.

— Ладно, дед, сужу. В самый раз,— ответил веселый парень.— Попользовались при царской власти американцы, а теперь им отставка. Хватит! Сами не хуже машины делаем.

— А как же, например, иголка? — не сдавался дед.

— Иголки тоже Госшвеймашина, какие надо, продает. Адресочка вот не могу тебе сейчас сказать. Не по этой мы части...

Такой поворот речи позволяет старику сделать другую догадку, но уже предположительно:

— Неуж землемеры будете?

— Не угадал, дед.

— То-то, я и думал,— не подходит будто: и одежа и обычай вроде не те. Так с чем же вы приехали?

— Кинокартины показывать в вашей деревне будем. Приходи вечером, увидишь.

— Шутишь все, а ты скажи по правде.

— По правде и говорю. Приходи вечером и увидишь «Светлый город» в своей деревне.

— Не деревня у нас, а село. Видишь,— вон церквато. Хоть в город поставь. А мельница — махина! А ты деревня!

— Ну, село, так село. А такого все-таки тут не бывало. Да еще одну штуковину привезли... В городе запоют либо заиграют на музыке, а тебе слышно будет. Радио называется...

— Бескостный у тебя, гляжу, язык... Ровно овечий хвост мотается, а все зря. Таись, не таись, а всякому видно, что с товаром каким-то приехали,— обиделся старик и пригрозил: — Милиционеру, небось, покажешь!

— Всем покажу, когда время придет.

— И до времени покажешь! — продолжал угрожать старик.— Болтает околесицу, а у самого целый воз товару!

На ворчанье и угрозы старика, однако, никто не обращает внимания. Подростки и молодежь, успевшие собраться большой толпой, одолевают приезжих вопросами: — Какие картины? Откуда привезли? Из самого Свердловска? Где показывать будут? Какая цена?

Среди подростков уже в большом избытке появились помогальщики и киноактивисты. Начались даже перекоры за право помогать.

— Давно ли против коллективу говорил, а тоже лезешь!

— От тебя много активности в колхозе! Считать не сосчитаешь!

Какой-то бойкоглазый мальчонок, в малахае и бешмете, уж оказался верхом на лошади и, бросив с ходу: «Съезжу нето за председателем»,— начал охаживать концом повода по бокам своей лошаденки.

— Завсегда Ванька Вемзоров вперед выскочит,— завистливо промолвил один из подростков.

— Первеющий втыкало во всяко место,— подтвердил другой.

А бойкоглазый парнишка между тем едва виднелся в конце длинной улицы. Зря старался. Приезжие уже видели председателя и теперь поджидали его вместе с группой колхозников.

Вскоре подошли эти «машинники», как зовут здесь членов колхоза «Труд» за то, что у них три трактора «Интернационал». С ними пришел и председатель сельсовета, молодой еще человек, в потрепанной шинели старого образца.

— Так вы что не заносите? — обратился он к приезжим.— Там ведь комнатка есть... Командировочные тут у нас всегда останавливаются.

— Комната есть, а двери где? — быстро отозвался парень в резиновке.

— Воровства у нас нет,— обиделся председатель.— Коней, случалось, когда сведут... а чтоб другого баловства — ни-ни... Где положишь, тут и возьмешь.

— Про то не говорят,— отмахнулся приезжий.— Груз-то у нас особый — липучий. Всякие цапанцы-лапанцы, вроде вот этих,— указал он на подростков,— обязательно под крышку заглянуть норовят... Ну, и портят, случается... Не отвернись... Нарочно с собой кольца и свой замок вожу... чтоб понадежнее было... Чуланчик бы хоть какой, только бы запирать можно.

— К Ваштаганихе нето их направь, Иван Афанасьич,— посоветовал один из колхозников.

— Каюта у ей ровно на миноноске — хоть узко, да крепко... И ребятишек нет...

— Туда, видно, придется,— согласился председатель,— старуха она советская, бедняцкого слою. Только к религии приверженность имеет большую и девку свою на те же копылья поставила... Монашки вроде... А так ничего... не вредная старуха... Тесно только двоим-то, поди, будет...

— Нам ведь не сидеть,— отозвался приезжий пожилой рабочий, до сих пор молча смотревший на шумливую ребячью толпу.

— Мне вот и вовсе не к чему туда ехать... Дела хватит до потемок.— И он стал вытаскивать из плетуш-

ки мотки проволоки, деревянный баульчик и какие-то изогнутые железины, похожие на серпы.

— Вези нето этого товарища, Саватеич...

— Вон в тот проулок, за церкву... Знаешь Ваштагановых-то?

— Знаю будто... На три окошка, второй дом...

— Он и есть.

— А пустят?

— Пустят. Да вот тебя Гриша Чукреев проводит... Он у нас активист к Ваштагановым ходить... в колхоз их зовет,— бабку со внучкой... Да все как-то у них разбежка выходит,— с улыбкой «разъяснял вопрос» один из «машинников».

— Чего ж, и провожу,— откликнулся подвижной колхозник в защитного цвета рубахе, по уличному прозвищу Гриша Стрижок.

— Раз мне знакомые, а товарищ затрудняется — почему не проводить? А насчет разбежки потом говорить будем,— с задором бросил он в сторону «разъяснителя».

— Либо ты в монахи, либо Дуня в колхоз? — пошутил тот.

Ребячья толпа, отвлеченная пучками проволоки и особенно скобами, не увязалась за Саватеичем, когда он направил свою лошаденку в сторону Ваштагановых.

Хорош голос у Дуни Ваштагановой. Старенький попик очень одобряет.

— Украшение хора Дуня наша. До слезы трогательно выводит. Через десятки лет такие ангельские голоса бывают. Наградил господь за родительские молитвы.

Прихожанам тоже по сердцу сильный, чистый голос. Про регента Кузьму Вертишлеева говорить нечего. С такой важностью вытянется и так гордо кругом глянет, будто сам он поет. Так и шло дело. Еще с подростков бегала Дуня в церковь и «украшала». За последние годы, правда, дорожка в церковь не такая гладкая стала. Перед подружками порой обидно станет, как кольнет которая: «Старушечья радость!» — да и Гриша Стрижок голову забивает. Но как обидеть бабку? Да и не это главное. А вот тянет к складному церков-

ному напеву. С песней его не сравнишь. Не зряшное оранье, кто как вздумал, а настоящая красота, если голоса подберутся, да каждый вовремя запоет — не забежит, не отстанет...

Всю пятницу у Дуни держалось торжественное настроение. Накануне вечером она пела любимую церковную песню «про разбойника».

Безвыходная тоска этого церковного напева, кончающегося страстным криком мольбы, всегда захватывала Дуню. И ныне регент Кузьма не один раз высморкался и протер ребром ладони подглазицы, когда на фоне густого баса хлебопродуктовского бухгалтера из бывших дьяконов истомно взметнул ввысь тоску красивый девичий голос.

Кузьма — строгий регент. Считает ошибкой хвалить своих хористов, а тут не удержался.

— Ровно херувимы и серафимы,— и, злобно покосившись на редкую толпу старух и стариков, добавил: — Не по коню корм. Клячи глухие — что они разберут...

И Дуне обидно, что нет Гриши, нет близких подружек. Один Гераско Нагматуллин уставился на нее своими оловяшками. Не парень—чурбан осиновый. Иструх уж теперь, хоть и рыло наел. В женихи еще лезет...

Обида на редкую толпу старух, на Герасковы оловяшки еще больше усилила тоску церковных песен, когда Дуня пела их дальше.

Но самой Дуней завладела эта мрачная красота. Перестала замечать струю самогонного перегара, которую на высоких нотах густо выпускал всегда полупьяный бухгалтер-дьякон. Забылись старухи, Гераско. Казались перед глазами другие слушатели, для которых радостно петь. И в первом ряду Гриша...

После службы Дуня с бабушкой осторожно перебиралась через грязную церковную площадь. Во все стороны расползлись от церкви в густой весенней темноте мигающие огоньки «четверговых свечей»...

На крыльце ярко освещенной избы-читальни толпа молодежи. Слышатся смех, выкрики, шутки...

«Там он... Гриша,— уныло отметила про себя девушка.— Не придет послушать... все с комсомолом своим...»

И сейчас же, поймав эту невеселую думку, задорно сказала вслух:

— Подожди! В пасхальную ночь все-таки будешь меня слушать!

— О чем ты? — откликнулась старуха.

— Да так, бабушка... Вишь, греха не знают... Галдят да хохочут, когда люди от «страстей» идут...

— Ох, девонька, как только жить будем.— И старуха начала тянуть бесконечную нитку воркотни, где слышались антихрист и комсомол, церковь и колхоз.

Эта привычная Дуне нитка старушечьих дум только раздражала, толкала мысль в другую сторону,— туда, откуда слышался смех, где был Гриша. С ними ведь ей идти в жизнь, а не с этими отжившими старухами.

Что они понимают. Вся-то их радость дотащить до дому по грязи и потемкам непогашенную свечку...

И Дуня с досадой загасила свой ехидно подмигнувший огарок.

— Еще Гриша к огню разглядит. Смеяться станет.

В субботу с утра Дуня была на спевке. Вернулась домой как раз в то время, когда Гриша с киномехаником перетаскивали в боковуху тяжелые шкатулки.

Ласково сцепившись глазами с Гришей, девушка все-таки недовольно подумала:

«На что только бабушка пустила какого-то... Натопчут перед праздником».

Но непривычный вид груза заинтересовал ее, и она спросила:

— С чем это приехали?

— С передвижкой, гражданочка,— приветливо откликнулся на певучий голос киномеханик, с трудом выволакивая ноги из месива грязи.

— Кино вам показывать будем. «Светлый город» — картина называется. Тут вот «Китайская мельница». Еще есть картина «Когда спящий пробуждается». С участием Игоря Ильинского. Очень занимательный сюжет. Хотя 32 процента годности... Перфорация подносилась... Только вот лампочек абсолютно дефицитное количество — две всего. Достаточно из-за этого затрудняюсь. Потому чуть перевернул — она и перегорела. Ва-

ши, между прочим, деревенские к ветрогону привыкши... Как начнут крутить, так и перегар... в обязательном порядке.

Многое не поняла из речи городского парня деревенская девушка, но расспрашивать не стала. Постеснялась Гриши. Подумает еще: «какая бестолковая».

Торжественное настроение, с которым шла из церкви, исчезло. Резко махнула длинной косой и забежала в сенцы... Даже ноги не вытерла.

Больно кольнуло замечание приезжего:

— По старому режиму, видать, гражданочка... Косатая...

Вскоре в боковуху набилось народу. Пришел председатель, прибежал избач.

Дуня слышала, как горячился Гриша:

— Запереться, значит, на замок?.. в школе-то твоей? Обязательно на площади надо, и начать пораньше... до службы...

— Посмотрят и уйдут в церковь,— возражал председатель.

— Да ведь ты пойми — почему молодежь в церковь ходит в такие дни,— кричал Гриша и сам отвечал: — Там убранство, свечи палят не жалеючи, поют складно... Вот и тянет. А если мы на улице кино дадим, да еще громкоговоритель поставим,— кому она нужна будет... церковь-то?

«Ведь это он верно говорит»,— отметила про себя Дуня.

Киномеханик тоже высказался за установку на улице, но опасался: вдруг дождь.

— Дожжу бы ровно не время,— успокоительно сообщает какой-то случайно забредший сюда старичина,— по всем приметам не должно быть. Только вот народу смешение может произойти. Который, например, в церковь пошел, а тут ему картинку показывают. Грех, поди, так-то, и неудовольствие выйдет?

Это «вмешательство со стороны» окончательно решает вопрос в пользу площади.

«Стемнело.

Селение тонуло в том особенном сумраке, которым полны весенние звездные ночи, когда тонкий туман, по-

дымаясь с земли, сгущает тени лесов и застилает открытые пространства серебристо-лазурной дымкой... Все тихо, задумчиво, грустно.

Село тихо дремлет. Убогие хаты чуть выделяются темными очертаниями, кой-где мерцают огни; изредка скрипнут ворота; залает чуткая собака и смолкнет; порой выделяются фигуры пешеходов, проедет всадник, проскрипит телега. То жители одиноких поселков собираются в свою церковь встречать весенний праздник.

Церковь стоит на холмике, в самой середине поселка. Окна ее светят огнями. Колокольня, старая, высокая, темная, тонет вершиной в лазури.

Скрипят ступени лестницы... Старый звонарь Михеич подымается на колокольню, и скоро его фонарик, точно взлетевшая в воздухе звезда, виснет в пространстве...»

Это описание пасхальной ночи взято из «Весенней идиллии» В. Г. Короленко «Старый звонарь». Оно настойчиво вытягивалось из памяти двумя рычагами: сходства и полной противоположности. Точь-в-точь так, и совсем непохоже...

Село тонуло в густом весеннем сумраке. Была и тишина. Но в ней ни задумчивость, ни грусть, а напряжение борьбы и какая-то подготовка.

Церковь с высокой колокольней на холме посредине села. Правда, не старая церковь, а крепкая, каменная. Недаром рабочие паровой мельницы уже дважды пытались провести на общегражданском собрании постановление — передать церковь под клуб, но добиться этого не могли. Не соглашались как раз те жители деревень, которые теперь пешеходом, верхами и на телегах «собираются в свою церковь встречать весенний праздник».

— Граждане, здеся ровно бы дорога,— сладко, но не без ехидства звучит тенорок.

— Объезжай той стороной. Под «Смычкой»... установка тут. Не видишь? На людей прешь...

— Объехать, конечно, можно... Непорядок только это... На одиннадцатом-то году Советской власти...

— Господи... Без хлеба оставили, а теперь и дороги лишили,— шуршит старушонка, в руках которой смутно белеет объемистый узелок.

— Отломи, баушка, куличка да по яичку нам дай — легче донесешь, крюку не заметишь,— озоруют мальчуганы.

— Без хлеба, вишь, Земзюровы остались... На куличи перешли... Хватают рубли-то на базаре,— ворчит кто-то из толпы, узнавший старуху из спекулянтского дома.

У запасного пожарного бака мелькают огоньки церковных свечей. В неровном их свете проглянет порой ребристый костяк основания, взмахнет широкое полотнище, отчетливо видна станет рука с молотком, обвислые усы, татарский малахай, защитного цвета рубаха, красный платок.

— Выше подтяни левый край! Хорош... Давай гвозди... Подтяни книзу... Правый угол, тебе говорят. Эх, Гриша, комсомол еще... уклоны разбираешь, а нет того, чтобы смекалку иметь...

— Задело, видно, тебя... Раз говоришь неправильно, спуску не дам.

— Ладно. Потом договорим,— примирительно кидает сверху малахай,— аккурат будет!

В густой толпе за дорогой тоже копошатся. Парень в резиновке и кепке возится с тремя ящиками у стола. Ближайшим зрителям кое-что видно при свете одинокой, тоже церковной свечки. Обмениваются замечаниями.

— Вывел вороную кобылку из конюшенки... Ростом две четверти, а сила в ней большая.

— Смотри, бабы, мотовило выставил, нитку мотать будет...

— Ровнее только, товарищи... Чтоб перегару не случилось, запасных-то лампочек у меня немного,— объясняет киномеханик сидящему верхом на скамейке крестьянину с кудрявой молодой бородой.

— Вот так,— одобрительно отзывается он, когда над «мотовилом» загорелась ровная яркая точка, отчетливо осветившая укрепленное на пожарном баке полотно.

Еще несколько минут возни, и ребра подставки пожарного бака и самый бак исчезли, забылось и «мотовило», и «вороная кобылка ростом в две четверти», и русобородый двигатель, сидевший верхом на скамей-

ке. Взоры всех приковались к яркому окну в другую жизнь, которая вначале казалась знакомой,— такой же деревенской.

Дунина бабка ушла в церковь пораньше. Дуня проходила мимо пожарного бака как раз в то время, когда в ярко освещенном круге появились слова: «Светлый город». Нельзя же было не взглянуть, что дальше будет. И Дуня остановилась «на минутку». Сначала часто оглядывалась на тусклые огни церковных окон, утешая себя: «долго еще до крестного хода», а когда под звон колоколов этот ход начался, Дуня не смогла даже оглянуться: так захватила ее картина. Молодая крестьянка, пришедшая в город, оказалась в безвыходном положении. Усталая от бесплодных поисков, она так и свалилась на снег перед воротами какого-то большого дома. Что с ней будет?

Издали церковное пение показалось Дуне глухим и не очень складным с выкриками, которые только мешали смотреть, и Дуня была довольна, когда эти звуки прекратились. Зато судьба молодой крестьянки ее радовала все больше. У нее нашлись уже друзья в городе, и чем дальше, тем легче и шире открываются перед ней двери в будущее. Стало понятным, почему картина названа «Светлый город».

— Светлый и есть,— прошептала Дуня, когда картина окончилась.

Идти в церковь теперь было поздно, да и не хотелось. Стала присматриваться, нет ли вблизи кого из подруг, но разглядеть даже рядом с собой было невозможно. После того, как потухло светлое пятно на полотне, темнота, казалось, стала еще гуще. Хоть народу было кругом немало, но разговоров не слышно: не прошли еще минуты очарования, когда обычно каждый молчит. Вот опять появилось светлое пятно, и против него встал живой человек — секретарь Круглоозерского комитета комсомола Григорий Чукреев.

— Вот он где,— обрадовалась Дуня, но тут же пришли тревожные мысли: и Любка Пантуева там и Аниска Руколеева. Обе от Гриши не отстают. Любка так и прилипает, хоть Гриша на нее и смотреть не хочет. Анисья, конечно, комсомолка настоящая, и в колхозе ее одобряют. А Любка что? Ей бы с парнями повер-

теться. Она не она — плясунья! Подумаешь — хитрость каблуками пристукивать! И не в лад когда.

С этими ревнивыми мыслями Дуня стала продвигаться к экрану. Здесь ее разглядела одна из подруг и пожалела:

— Опоздала, Дуня!

— Нет, я с самого начала видела.

— Дуня,— обрадовалась та.— С нами, значит, ты! не с теми!

— Подожди, послушаем! — остановила Дуня расспросы подруги.

Гриша между тем говорил, что скоро начнется передача по радио концерта для крестьян, а так как многие по глухим местам еще не верят, что можно за сотни верст слышать голос, то сперва будут разговаривать с земляками крестьяне, которые теперь в городе.

— Из наших там председатель сельхозкооперации Иван Кузьмич Паршуков. Все знаете его голос. Так вот он тоже будет говорить. После этого будет концерт. Самые лучшие артисты Свердловска будут петь, музыка тоже будет, а потом еще картину покажем.

— Эту же?

— Нет, другую.

— Эту бы! Больно занятно... Еще бы поглядеть... одно место недоглядел.

Рядом с Гришей против светового круга появился киномеханик.

— Нельзя, граждане! Перфорация не дозволяет при такой температуре ленты вторичный прогон делать.

«Технические» слова подействовали. Никто больше не просил о повторении, зато начался самый оживленный разговор о картине и о «недосмотренных местах». Один лишь «пожарный дед» с торжеством отозвался на слова киномеханика:

— Ага! Не можешь без подстройки людей морочить!

— Не могу, дед! — сознался киномеханик под дружный смех большинства собравшихся и добавил: — Твоя, видно, взяла!

Эта перекличка «пожарного деда» с киномехаником была дополнительной забавой. Старик явился сюда

к началу установки и всячески доказывал, что «при пожарном баке собираться законом воспрещается». Старика убеждали, что он «зря кипятится», что подъезд к баку не загорожен. Напоминали и о том, что воды в баке нет. Старик ничего слушать не хотел, а когда перестали с ним считаться, он закричал, что было силы:

— Товарищ милиционер, прошу отстранить этих людей от пожарного имущества!

Милиционер, который был тут же, немедленно отозвался и «отстранил»... самого пожарника.

— Предлагаю вам, гражданин, не мешать людям делать приготовление к показу картин, с которыми они приехали из области. Документы их, по вашему заявлению, проверил, и ничего противузаконного здесь не имеется.

Перейдя с официального на простой разговор, пожаловался:

— Надоело прямо. Давеча прибежал, кричит: «Городские приехали с каким-то слепым товаром! Беспременно допросить надо». Без понятия человек.

Старик, однако, не думал сдаваться. Он с задором объявил:

— Будьте свидетелями, граждане! Милиционер отступился, а я никогда не отступлюсь. Незаконно действуют.

Больше все-таки он не мешал, только неотступно следил за киномехаником. Механик иногда приглашал: «Ты взгляни, дед, что в городе делается»,— на что получал неизменный ответ: «Пусть другие смотрят,— у меня дело есть».

Теперь «пожарный дед» готовился разоблачить приезжих. Дружный смех, поддержавший слова киномеханика, ничуть не смутил старика. Он громко крикнул в ответ:

— Слыхали, граждане,— не может? То-то и есть! Потому фокус это у них... Они мелконькие картинки через большое стекло показывают, а вы думаете...

В это время «заговорило со столба». На старика со всех сторон зашикали, а кто-то даже пригрозил: «Дошабаршишь ты у меня до худого!» Старик и сам растерялся. С вечера он видел, что на столбе «пристраивают какую-то штуку», но думал, что тоже к «фокусу с кар-

тинками», и вдруг оттуда «заговорило». Да ведь громко и четко как. Но старик недаром называл себя «бывальцем». Он и здесь разгадал хитрость. «Граммофон поставили. Большой только. Мало ли я их слыхал, как по городам жил. В каждой пивной бывали. Поставят кружок, он и говорит, либо песни поет. Очень просто». Успокоившись на этом, старик решил: «Пусть послушают, кому не доводилось, а потом я все и выложу,— какой обман подведен».

Вначале, как и предупреждал Гриша, говорили крестьяне разных районов. Каждый старался «доказать» своим землякам, что это говорит именно он, а не другой кто-нибудь. Убедительнее всего это достигалось приветами родным и близким с полным перечнем всех членов семьи. Старый «бывалец» лишь усмехался, слушая эти разговоры. Ишь, подстроили! Граммофон, а будто люди говорят! Ловко придумали. Кто вот только кружочки меняет?

Но вот объявили: «Сейчас будет говорить Иван Кузьмич Паршуков из села Круглые Озера». Все насторожились и с первых слов стали переговариваться:

— Его голос...

— Маленько будто не такой, а походит.

— Через машину ведь... А речь его. Ишь сыплет...

— Точно... Как горох на железный лист.

— Иван Кузьмич... Ни с кем его не смешаешь.

Паршуков похвалился, что ему удалось достать все, за чем он ехал, передал, как и другие, «поклончики» своим семейным и друзьям. В заключение добавил:

— Савве Трофимычу, который у нас при пожарнице, купил четыре картузика нюхательного табачку. Того самого, какой он заказывал. Ярославской фабрики. Много его тут. Не выберешь. Пусть утешится, да про бак не забывает. Не рассушить бы, как в позапрошлом году.

Дальше стал говорить еще какой-то представитель района, но его уж мало слушали. Конец речи Паршукова всех развеселил. Посыпались шутки.

— Слышал, Трофимыч, купил тебе табачку-то, какого надо?

— Он, поди, то и сердитый, что самотером нос набизает.

— Прочистит ярославским, так и «Светлый город» увидит.

— А насчет баку правильно. Пора воду подвозить.

— Ненадежна погода. Разморозит еще,— пытался возражать старик.

— Придумал отговорку. Пахать скоро, а он,— разморозит!

— Чем бы зря людям мешать, взял бы да и нарядил привезти бочку, две...

Конец этому подшучиванью над «пожарным дедом» положил концерт. Все замерло, когда в сопровождении музыки запел чудесный мужской голос. Захватил он даже старого «бывальца», который когда-то сам бывал в музыкальной команде и теперь одобрительно приговаривал: «Эх, выносит! Вот подымает!» Даже тем, кто много раз слыхал и раньше любил этот сильный редчайшего тембра голос, он казался полней и сильней в этой густой темноте тихой деревенской ночи. Не мудрено, что он зачаровал музыкальное ухо деревенской девушки, никогда не слыхавшей ничего подобного. Дуня стояла в оцепенении. Ведь как поет! Каждое слово, как обточенное, а последнее так и растаяло в сладком тумане. Звуков уж нет, но они продолжают звенеть и дрожать где-то внутри, неуловимо, но прекрасно. Этот же голос пел еще и еще, и Дуне казалось, что она сама зазвенит от восторга. Запели скрипки. Совсем не так, как у регента Кузьмы. Дальше опять чудесный голос. На этот раз женский, чуть гортанный, со звоном металла и побеждающий страстностью, он песней рассказывает о праве на любовь!

— Заворожило мою Дуняшку? — шепчет рядом ласковый голос.

— Заворожило, Гриша. Себя не помню.— Растерянно смотрит она на улыбающееся милое лицо. Потом решительно говорит: — Ладно. Согласна. Будь, что будет. Только дослушаем, Гриша.

— Да ничего худого не будет,— утешает парень.— Запишемся в загсе, примем вас с бабкой в колхоз, потом в комсомол вступишь. Может, и учиться поедешь. С твоим-то голосом в Советской стране люди не в мусор идут. Их ценят, отбирают. Может быть, вот так же петь будешь.

— Что ты, Гриша! Разве можно о таком думать... Мне? И так петь? — искренне удивляется Дуня и неожиданно добавляет: — А косу я завтра же обрежу.

— Совсем это не обязательно и не нужно,— шепчет парень, впиваясь горячими губами в упругий толстый жгут волос против затылка.

Чудесный голос передает настроение девушки,— в новой песне рассказывает о весне и сладких муках любви.

«Пожарный дед» вдруг неожиданно для всех, громко отзывается на последние слова песни:

— Да! Это тебе не граммофон!

СПОР О СТИХАХ

Часть бора против юго-западной окраины Камышлова зовется Бамбуковкой. Почему Бамбуковкой — этого никто не скажет. Может быть, просто какой-нибудь шутник хотел отметить, что здесь допивались до «бамбукового» положения — не встанешь. Может быть, и другое: рослый камыш по берегам заболоченной старицы Пышмы сравнивали с бамбуковыми зарослями.

Бамбуковка издавна дачная местность. Наряду с добротными дачами городских толстосумов немало дач «среднего качества». Есть и вовсе облегченного типа — «вроде нужничка с верандой», как про них говорилось.

В солидно устроенных дачах основное занятие — чаепитие, еда и простое сидение, в средних — рукоделие и преферанс, а в «нужничках» — что придется. Там и книжку-газету читали, и «проникали в политику», и Бальмонта разбирали, и природой наслаждались, то есть обрывали цветы вплоть до пахнущего трупом багульника и перетаскивали их в свои веранды: отбиваясь от комаров, «вдыхали аромат соснового бора», «внимали таинственным шумам лесным» и прочее, что полагалось «отдыхающему культурному человеку».

В праздничные дни сюда довольно густо шли рабочие с семьями и в одиночку. Тащили чайники, гармошки, иногда пиво.

Мещанин города, имеющий «свою собственную лошадку», обычно проезжал дальше,— на Шумовое, Белый Яр и другие места. Он старался и в праздники остаться в замкнутом кругу своей семьи и родни.

«Отцы города» — еще вовсе старого выпуска — унюхали в Бамбуковке «добрую копеечку» и «всех ублаготворили», построив довольно обширное здание курзала.

Ловкий ресторатор объявил здесь «кухню под управлением повара Жана из Киева, с отдельными кабинетами». Все, конечно, понимали, что это так только,— для важности. Знали, что Жана зовут Кузьмой, что родом он из Закамышловки и раньше, пока не изувечили, содержал в Барабе «терпимый дом».

Появился оркестр, тоже «под управлением». Половину здания оборудовали, как летний театр, где «местными любителями сценического искусства» ставились «эффектные драмы» и «веселые водевили». Иногда тут появлялись престидижитаторы, трансформаторы и другие изголодавшиеся в более крупных центрах «зряшного ремесла 4-й руки подмастерья». Для «простого народу» — качели, «залезальные за жилеткой столбы», «кольца для лягушки», «исполинские» брусья, лестницы. Словом, были приняты все меры, чтобы обеспечить верный доход буфету «с горячими и прохладительными». И расчеты оправдывались. Тот же ресторатор, который держал «кухню под управлением», настолько бойко торговал из буфета, что каждый год «отцы» делали «накидочку попенной платы». Ресторатор канючил, скулил, клялся-божился, что прямой убыток несет на «этом деле», что только по слабости характера он терпит такое беспокойство. Но «отцы» благодушно улыбались, возражали:

— Ты скажи, около которого пенька у тебя пьяный не валялся? В хороший праздник вплоть до Фадюшинского кордону лежат. Не с пятака же человек скопытился. Народ у нас на этот счет крепкий. Ежели тебе рублишко замотает, так ни в едином глазу не заметишь.

— С собой приносят,— вздыхает буфетчик.

— Еще бы! Трезвый не всяк к твоей стойке подойдет. Цены-то у тебя, как хорошая собака. Вот попадет закваска, тогда и пошел-гуляй, Маша, пока воля наша. До последнего, значит, грошика. Хо-хо-хо... А ты и от закладу, небось, не откажешься? Верно? С ломбардом конкуренцию ведешь и патента не выбираешь... Хо-хо-хо... А Кузька твой что делает в кабинетах-то?

— Да и что тебе беспокоиться? Ломтик потоньше пустишь, копейку, где можно, подкинешь, и набежит. Еще как набежит-то!

Такую «прозорливость отцов», разумеется, перекрыть было нечем — сами были жулики первостепенные.

и буфетчик «добавлял», не забывая добавить «соответственно».

«Нужнички», по мягкости сердечной, протестовали — внутри себя, конечно,— против спаивания народа и мрачно декламировали: «По русскому, славному царству»... Но сами в мужской своей части нередко подходили к стойке или «требовали за отдельный». Уходили после этого не совсем на твердых ногах, с трудом заканчивали словесное ратоборство с понтийскими Пилатами и лукавыми Иудами, которые «Христа своего рас-с-п-пи-нают, отчизну свою прод-д-дают».

Зато в купеческих дачах на праздничную «работу» буфета смотрели с явным удовлетворением. Даже с гордостью.

Вон в крайней Выборовской даче сидят на террасе двое около неизменного самовара. Оба толстые, с облезлыми уже головами и опухшими ногами. Та только и разница, что у одного бороденка вроде насмешки, а у другого широким седым веером.

— Наши это... Мельнишные... От людей не отстанут... Ухом землю достанут...

— Гляди-ко, алафузовские... Лыка не вяжут, а на железную дорогу драться лезут.

— Ничего не выйдет,— вздохнула широкая борода и пояснила: — Эта черная копоть — железна-то дорога, не очень драться охоча. Все у них уговоры да шепоты. Против хозяина настроить — это их поискать, а чтобы драться, стенка на стенку,— этого нет. В кишках, видно, силы не имеют.

— Приказчиков нонешних тоже не хвали,— откликнулся другой.— У тятеньки вон, покойника,— боец к бойцу приказчики-то были. Посмотреть любо. А ныне что? Назгальный народишка. Надели брючки да книжку и читают. Приказчичье это дело, скажи, пожалуйста... а? Вон у Щербакова в магазине-то до чего дошло. Политики оказались. Конфуз старику-то, Григорь Гордеичу. Он там в Екатеринбурге сном дела не знает, что у него сынки в Камышлове устраивают.

— Это все Евгении Егоровны братец развел около себя. Он все. Послали тоже из Екатеринбурга подарочек. Наденут очки-то с молодых лет да и мудрят.

— Тоже и Щербаковы братья по за глазам у стари-

ка сверх голов умничают — эких людей на службу принимают.

— Образованные! Не старое, говорят, время — в ухо не съездишь, надо по-другому обращение иметь с рабочими.

— Вот и дошел Николай-то... Застрелился... Как офицер какой, даром, что они старого обряду купцы. Старик-от, слышь, поучил его хлыстиком маленько. Николай не стерпел... По-благородному выходит — пулю в лоб, а отца оконфузил...

— Дело тут семейное, не наше... Только вот неймется молодым-то. У Козырицкого опять какой-то появился... ссыльный, говорят. Видел? В синей рубахе ходит... при галстуке...

— Так то́ сапожник... по уголовному делу сослан... таких бояться нечего.

— Кто его знает! Разговор у него ровно не в ту сторону клонит, куда надо. Слыхал я как-то на базаре. Шумел... Я бы такого на порог не пустил, а тут его привечают. Помяни мое слово,— покается Козырицкий-то, что не послушался старых людей. Перебулгачит эта синяя рубаха у него всю мастерскую.

Помолчав с минуту, широкобородый пожаловался:

— Говорил я в Думе про это... Чтобы то есть с опаской брали пришлых-то...

— Ну и что? — заинтересовался собеседник.

— Чуть не на смех подняли... Депутат этот наш, в Думу-то... Михаил Алексеевич дома случился... Он мне и наговорил четвергов с неделю.— Мы, говорит, должны о машинах заботиться и при них настоящих рабочих иметь, которые понимают, как и что, а купеческому сословию,— это нам-то, учиться надо, как с рабочими обхождение иметь. Надо, говорит, Михаилов-архангелов отставить и всем записаться в кадетскую партию. А то, видать-де, что Сидор Матвеевич вовсе духу не чует.

Тут я погорячился. Обидно показалось. Как, говорю, духу не чую, коли я с малых лет по рыбному делу. И тятенька этой части держался и де́данька. Да у меня, говорю, нюх-от хоть на выставку — за версту различу, который день рыба лежит. Ну, и отчитал его поотечески. За архангела тоже постыдил. Довольно, говорю, совестно тебе, Миша, так выражаться про архange-

ла, святое имечко которого носишь. Мыслимое ли дело архистратига божия кадетом заменить. А насчет того, чтобы мне в кадеты поступить, прямо сказал — комплекция не позволяет. Кадет должен быть легкого весу и на ногу быстрый, чтобы туда и сюда поспеть. Какой же из меня кадет, коли весу во мне восемь пудов.

— Восчувствовали? — спросил собеседник.

— Извинялся потом. Не так, говорит, меня поняли. И долго рассказывал про Думу и вообще. Говорок ведь и раньше был, а в Думе вовсе понаторел. Так и сыплет. Все больше о том, что теперь к рабочему надо подход иметь. По старинке, дескать, нельзя. Потом Яша Крупин стал говорить. Тоже ведь ученый. Этот больше насчет банка городского и про то, как лукавуты устраивать. Заедино, дескать, всем купцам и промышленникам действовать надо одной партией. К тому же и вывел. Чисто заели меня своими разговорами, да спасибо Хромцову. Он хоть тоже ихней партии, только помягче будто и Михаила-архангела не опровергает. Только он и сказал: «Поосторожней бы со старыми людьми обходиться надо». Тут и поднялось. Я думал — драка будет. На что Петр Петрович солидный человек, ровно так с палкой и родился, а тут орет тоже за кадетскую партию. А Зазюкович, знаешь, глиста такая судейская, сухонький, а видно ярый, так тот на стул, понимаешь, залез и визжит на всю залу: «Враги нам, которые без понятия действуют». Нам, старикам, невтерпеж показалось, что мальчишка не знай чему учит, мы заорали скопом: «Прикрыть наставления!» Они опять свое орут. Так допоздна и спорили. И все об одном: кого правильнее купечеству держаться — архангела али кадета?

— И до чего договорились?

— Да так, не доспорили до конца-то. Только шибко сильно берут кадеты. Вроде как их большина выходит.

— Д-да,— согласился собеседник и, перебирая заплывшими пальцами волоски своей бороденки-насмешки, задумчиво заговорил: — Не понимаю я, Сидор Матвеич. Ведь вот Михайло-то ровно вовсе хороших родителей сын. Домов у него целый квартал. С чего он в кадеты записался? Крупину Яше, тому боле подходит, он все по письменной части, вроде из дворянства. Отцы-то, поди, царю служили в юнкерах либо еще кем. Ну этот

в кадетах служит. А Михайло-то с чего? Ведь не молоденький уж, скоро сам стариком пахнуть станет. От чистого купеческого корню, а тоже кадет... Вот в Шадрине, в Ирбите — там этого нет. Перед выборами барахолят, конечно, по малости... с казового конца товар подносят. Ну, там поговорят насчет школ-больниц, про землю-матушку, про трудовой народ, да про пьянство. Тем дело и кончится. Нет того, чтобы, как у нас, по-военному,— всем купцам в кадеты... Этого ни-ни. Спокойно живут... А у нас, смотри, какая зараза завелась! Из всей губернии, должно, только и есть один Камышлов под кадетами ходит. С чего это? И ведь стараются как... Будто им за это жалованье дают. Петр-от Петрович вон ко мне приехал... Думаю, по делу какому, а он о кадетской партии говорить. Ты подумай!

— То я и говорю — образованные стали. От стариков отодвинулись. По лесу вон телефонов наставили... Машин купили пеньки дергать. А к чему они, пеньки-то? Лесу не стало? Пять вон школ завели постройкой. Легкое ли дело... Отцы-то сколько лет наживали, а тут живо раструсят на то да на се.

— Это ты напрасно, Сидор Матвеевич. Тоже они не без расчету... Леском неплохо торгуют, от банка да ломбарда тоже отламываются крохи немалые.

— А кто им лес-от нажил? Кто его сохранил? Ловко это готовым-то торговать. И благодарности не чувствуют. А вот за то место,— и старик указал на Бамбуковый курзал,— даже укоряют. Пьянство, дескать, тут разведено... Ровно грех рабочему с устатку выпить праздничным делом...

И, глядя на свалившегося около камышей пьяного, оба «обветшалых столпа» умилились:

— Мой это, с мыловарки мастер. Ишь, нашел место... рылом в болото... прохладнее, видно.

Сменившие облезлых «отцов города» новые представители буржуазии, хорошо вооруженные знанием, называвшие себя уже не «отцами», а «деятелями», шире захватывали глазом, глубже проникали в суть явлений. Но и они, эти «деятели», могли быть спокойны, глядя на бамбуковский барометр. Пока неизменно росла «попенная плата» с буфета, пока рабочий в значительной массе проводил свой досуг «под парами», капиталисту, разумеется, было легче. «Деятели» внешне протестовали

против «спаивания народа на Бамбуковке», хотя мосты через Пышму и старицу наводили без запоздания, а спуск к реке даже вымостили камнями, чего не было нигде в городе. На очередном повышении «попенной платы» тоже пытались нажить кой-какой политический капитал. Изображали это мерой, направленной к сокращению пьянства. С этой же, вероятно, целью — показать свою полную непричастность к бамбуковским безобразиям — «деятели» с званием «настояще-образованных», как правило, не имели на Бамбуковке дач и не жили там. Появлялись лишь во время «благотворительных гуляний», «гала-представлений», лотерей и то больше в женской своей части. Так безопаснее.

В годы империалистической войны Бамбуковка сильно изменилась. Буфет по случаю «сухого закона» закрылся, кухня под управлением Кузьки-Жана сникла еще раньше. В населении дачного поселка произошли внешние и внутренние перемены.

Объемный купчина старой закваски перестал здесь жить, откровенно мотивируя:

— Злой ноне народ стал,— боязно в лесу-то.

Место этих испугавшихся занял новый жилец, из только что начавших оперяться хищников. Все эти «поставщики фуража хозяйственным способом», «вагонные воры», «одеколонщики-политурщики» и другие разновидности, появившиеся во время войны, были народ рисковый. Сами готовые на все, вплоть до «мокрого дела», лесу они не боялись, им там даже казалось удобнее.

Частично на опустевших купеческих дачах были размещены беженцы — живой показатель обнищания, вызванного войной.

Все это отразилось и на дачной интеллигенции. Одним стало «противно с этими грязными беженцами», другие струсили «вагонных воров», но дачи все-таки не опустели, в них стали появляться лишь на день, а на ночь большинство уходило в город.

Проблемы Бальмонта, Игоря Северянина сменились проблемами «спасителя отчизны». Перебирались Самсонов, Иванов, Алексеев и прочие очередные генералы-спасители. Вместо стихотворного разоблачения понтийских Пилатов и лукавых Иуд теперь со слезой гордости декламировалось некрасовское: «Ты и убогая, ты

и обильная, матушка-Русь». В утешение себе, что война не дойдет до Бамбуковки, добавлялось: «А там, во глубине России... там... вековая тишина».

Летний театр все-таки работал и без перебоев. Играл и оркестр «под управлением».

По создавшейся годами привычке шли на Бамбуковку в праздничные дни рабочие. Но в составе рабочих посетителей произошел заметный отбор. Те, кого раньше привлекал главным образом буфет, теперь разбредались на праздник по рыбалкам, поближе к деревням, чтобы «нюхнуть самогончику», в «сортах разобраться». На Бамбуковку шел лишь тот, кто в какой-нибудь степени интересовался музыкой и театром, или тот, кому надо было «перекинуться словцом с дружком», повидаться с рабочими других предприятий, потолковать о делах на фронте и в тылу.

Это «соответственно было учтено», и около рабочих закружились шпики.

Тут же полезли добровольцы обывательского типа, которые пытались «вразумлять», и было уже несколько случаев, что таких «вразумителей» жестоко били, когда было основание подозревать их в доносах.

На второе отделение публики осталось не очень много, и она заметно разграничилась.

Ближе к сцене сидели представители городской интеллигенции, тут же и тыловые мародеры, временно заменявшие на дачах буржуазию старого образца. Около барьера, на задних скамьях — довольно компактная группа рабочих. На облысевшей середине — редкие фигуры того неопределенного элемента, который при выборах голосует за самый неожиданный список вроде «домовладельцев Малоподвальной улицы».

Передние ряды настроены в тон ласковому летнему вечеру. Сладенького бы теперь, со смешинкой! Забыться бы от газетных сообщений, сквозь туман которых все чаще стала пробиваться струя тревоги.

«Средний зритель», как ему и полагается, никакого своего настроения не выражает. У него единственное желание — не пропустить, кто с кем разговаривает и о чем, и он навостривает уши и поворачивает голову то в ту, то в другую сторону.

Рабочая группа расположилась в правом углу к барьеру, образуя почти правильный треугольник, короткое ребро которого доходило до шестой скамьи, а длинное тянулось на три четверти барьера. Преобладают в группе мужчины, но изредка есть и женщины. Заметно выделяются двое мужчин, которые сидят один за другим с краю скамей у прохода посредине зала.

Один — спереди, среднего роста, русоволосый, со «свислыми» усами, лет 35, в выцветшей синей блузе без пояса, в потрепанной фуражке австрийского образца — с узким верхом.

Другой — сзади, вовсе еще молодой человек, лет 22—23. Одет щеголевато. Черная сатинетовая рубашка аккуратно стянута широким желтым ремнем, суконные брюки заправлены в безукоризненно вычищенные сапоги. Под одеждой чувствуется на редкость сложенная фигура. Такие иногда встречаются среди атлетов так называемого среднего веса. Они не подавляют фундаментальностью, но каждому видна и большая физическая сила и редкая четкость регулирования движений. В глубокой дали веков с такой натуры высекались из мрамора Дионисы, Аполлоны и другие образцы юной мужской красоты и силы.

Густые, широкие, как наклеенные бархотки, брови и черные с угольным блеском глаза на продолговатом лице с твердо выраженным подбородком нельзя не заметить на общем фоне русоволосых голов со смазанными в большинстве чертами лица. И как-то даже не верится, что этот на редкость красивый человек родился и вырос тут, в Камышлове, и с детских лет работает на Алафузовском сырьезаготовительном заводе.

За барьером справа одинокая фигура лысеющего, длиннолицего, длиннозубого человека. Длина зубов может быть потому особенно заметна, что из «говорильных» зубов четырех нет — по паре вверху и внизу. Такие «метки» чаще всего делались в полиции. Специалисты этого дела, как известно, даже особые кольца носили с утяжелением в виде печатки для удара. Одет этот длиннолицый по-приказчичьи: брюки навыпуск, манишка, галстук, пиджак; в правой руке, которой опирается на барьер,— шляпа-котелок. Характерный жест — вскидывание головы и настороженное прямое

положение корпуса. За эту повадку враги зовут его «загниголовый Терентий».

Настроение у рабочей публики, как говорится, среднее. Собрались после звонков и теперь ждут, что дальше. Скучновато...

— Фокус бы какой показали,— резюмирует свое настроение один из сидящих у самого барьера.

— Вишь выискался на пустяки любитель! Ровно бы не маленький,— с укоризной отозвался другой и повернул в сторону говорившего свое испитое, строгое лицо, с глубоко запавшими глазами и грубой щеткой коротко остриженных усов. По огрубевшей бурой коже лица можно было легко догадаться, что это рабочий по металлу.

— Это же ты напрасно, Данилыч,— вмешался в разговор человек в синей блузе.— Я бы вот хороший фокус посмотрел. Поучился бы сам, как его лучше делать.

— Какой тебе понадобился? — все так же сурово спросил Данилыч.

— Такой вот...— Синеблузник немного задержался и, чуть понизив голос, пояснил: — Показали бы, как из золота кровь добывать.

— А есть такой?

— Должен, по-моему, быть. Видим же мы, третий уж год... как из крови золото делают...

— Вон ты куда,— примирительно отозвался строгий слесарь, но в это время заширкали по железу кольца занавеса, и разговор прекратился.

На сцене рослая, пышноволосая сбитыш-девица крепкой купецкой выкормки. Мягкие, спокойные движения, но в голосе какая-то далекая отрыжка базарной торговки. Он неприятно резок и со срывами.

Звонко выкрикнула: «Родина зовет», стихотворение Наталии Грушко... Уверенно, как привыкшая к выступлениям, дала длинную паузу... для настроения. Предполагалось, очевидно, и самой перестроиться на глазах у публики, как-то внешне отразить «красиво-печальный образ тоскующей, но гордой матери».

Но ничего не выходило. На лице чтицы по-прежнему одно глупое самодовольство. Видно, что она горда своим молодым, крепким телом, своей пышноволосостью, двумя отцовскими салотопками, ловко сшитой гимназической формой из хорошей материи, праздничным белым

фартуком и тонкими «настоящими бельгийскими» прошвами, идеально проглаженными складками, и только.

У публики тоже нужного настроения не получилось. Передние ряды, впрочем, пытались сделать приличный случаю вид торжественного внимания, зато в задних рядах сказалось прямое недовольство.

— Опять эта выползла про войну размазывать!

Патриотическую гимназистку широко знали. Знали, что она всегда «про войну читает», что ей с чрезмерным усердием аплодирует офицерская молодежь расквартированного в городе 157-го запасного полка. Который полюс магнита действовал сильнее: молодое, здоровое тело или тятенькины салотопенные доходы — разбирать не стоит, только чтице часто подносили цветы, в антрактах она была в офицерском окружении и уже стала чувствовать себя восходящей театральной звездой уездного масштаба.

На этот раз почему-то в зале не видно было золотых погон. Только пара серебряных полицейских спускалась от длинной шеи по очень покатым плечам тощего, остроголового надзирателя. Рядом с надзирателем прели телеса его «ужасно нравственной» супруги, которая могла тут же «на людях» задать головомойку своему рыжему Мефистофелю в случае его восторженности перед «этой воображулей». Подозрения у нее были. Верные люди передавали, что иногда в изысканном поклоне бронзовый завиток на подбородке надзирателя что-то уж очень близко подходит к пышному бюсту уездной патриотической звезды.

— Я тебе покажу, жирафа плешивая! — И в глазах затаилась змеиная злоба.

Гимназистка не учла особенностей зрительного зала и самоуверенно начала:

Я в муках родила четыре сына...

Человек в синей блузе довольно громко и быстро спросил:

— Двойнями или по одному?

Молодой человек, сидевший сзади, громко расхохотался. Нашел на него тот смешливый стих, когда при всем желании сдержаться не можешь сделать этого, пока не нахохочешься вволю, до слез, до колик. Такой смех всегда заразителен: глядя на смеющегося, начи-

нают смеяться и те, кто даже не знает причины смеха. Так и тут — по рабочей группе прошла волна смеха.

Из передних рядов зашикали, зашипели, но тут же начались расспросы шепотом: над чем это они?

Средний зритель-передатчик охотно объяснил:

— Сапожник вон слух пущает... будто гимназистки обязательно двойнями родят.

Другой «промежуточный» поспешно и неосмотрительно дал свое заключение:

— Верное слово. Завсегда около таких грудкой ходят... Меньше двойни никак невозможно...

Гимназистка между тем продолжала выкрикивать о довольно странном, но безусловно патриотическом желании старшего сына.

Хочется погреться в сече, средь огня,
где кружатся пули — майские жуки,
как ежи, щетинясь, высятся штыки...

Это бестактное размусоливание войны, когда чуть не в каждой рабочей семье она уже болезненно чувствовалась в виде потери или увечья кого-нибудь близкого, вызвало возмущение. В задних рядах начали ругаться в открытую:

— Погреть бы тебя, толстомясую, в этом месте, запела бы!

— Ежиком-то таким в брюхо двинуть!

— Берегись, жуки летят! — весело крикнул подросток и звонко засвистал «по-жуланьи».

Чтица оборвала на половине строки и быстро сунулась за кулисы.

Самый строгий ревнитель общественных нравов города, акцизный чиновник не мог дальше терпеть такого «хамского отношения» со стороны публики и встал.

— Господа! Прошу прекратить неуместный шум и посторонние разговоры и тем более свист в театральном зале.

— Ты и не разговаривай,— откликнулся синеблузник.

— Господин сапожник Подпорин,— язвительно подчеркнул первые два слова акцизник,— во-первых, не обращайтесь ко мне на ты,— я вам не сват и не брат, а во-вторых, не распространяйте клеветнических слухов о нравственности девиц, которые против вас высоко стоят.

Выслушав эту рацею, Подпорин поднялся, снял фуражку и под смех окружающих проговорил:

— Извиняюсь, ваша монопольная светлость восьмого разряда!

— Это что? Оскорбление? Будьте свидетелями, господа... Я вам этого не оставлю.— Обращаясь к сапожнику: — В суде ответите.

— Так и в суде скажу. Учили, мол, меня в солдатчине титуловать полным званием, вот я и титулую. Чего в табели нет, сам придумываю. Поблагодарят за это, больше ничего не будет.

Рабочие хохотали, акцизник исступленно визжал:

— И за клевету... тоже ответишь.

— За какую?

— Про воспитанниц местной женской гимназии... Все... слышали. Будьте свидетелями... Не отопрешься...

— Дура, так она же сама объявила, что четырех родила. Я и спросил — как. В остальном мне дела нет... Пусть хоть все купецкие девахи по пятнадцати родят. Пусть всех на войну отправляют... Препятствовать не стану... Только бы наших детей не трогали.

— Вот, вот... Правильно говорят.

— Своих, небось, при доме держат, а наших гонят. Вшей кормить... да уродов делать...

— Перестаньте, господа! — высоким голосом крикнул учитель мужской гимназии, прижав руку к виску.— Как вам не стыдно, наконец! Юную артистку чуть не до обморока довели...

В передних рядах шло шушуканье. На сцену уже раз выбегал вертлявый конферансье, но, бестолково посовавшись в стороны, исчез. Теперь он снова выбежал и шептал что-то, наклонившись к рампе. По рядам прошло: «Доктора, доктора! Илья Петрович, скорее идите».

Слышно было, как шарообразный доктор в просторном летнем костюме отказывался:

— Я ведь по тюремному ведомству. Не привык с девицами... У нас там по-другому.

Все знали, что у него обращение с больными «вовсе по-другому», но выбора не было, и тюремный доктор, раскачиваясь на ходу, потащил свое обширное брюхо за сцену. Поднялся и полицейский надзиратель со своей «половиной». «Половина», надо думать, была удов-

летворена до отказа «скандалом с воображулькой» и теперь хотела взглянуть на «поверженную в прах». Ну, и нельзя же его одного к обморочной девице допускать.

За полицейской парой за сцену ушло еще несколько женщин, и занавес закрылся.

— Кончилось представление! — кричал тот же подросток, который свистал «по-жуланьи».— Только и видели, что полицейского надзирателя с женой, и то с заду. Картина последняя!

Широкобровый парень коротко приказал:

— Шурка, домой... сейчас же... без разговора.

— Зачем, Коля? — просительно спросил мальчуган, но старший брат строго пообещал:

— Завтра скажу...

Учитель гимназии, растирая висок и морщась, как от боли, между тем наставительно скрипел:

— Вот видите, до чего довели. Дикость какая, право. Хамство!

— А не хамство со стихами такими выходить? — спросил Подпорин.

— Не дискуссию же о стихах мне с вами открывать прикажете,— пренебрежительно пожал плечами учитель.— Еще Александр Сергеевич Пушкин сапожникам предлагал: «Суди, мой друг, не свыше сапога».

— Так то про искусство,— откликнулся какой-то, видимо, интеллигент, со стороны Подпорина.

— А это, по-вашему, что? Стихи или сапоги?

— Ни то, ни другое...

— Бахилы,— вставил Подпорин.— Таких мы, мастера, не шьем. Мужики сами тачают, как придется. Кожу переводят... Так хоть там сами носят, а тут мало — бумагу извели, да еще вслух такую брехню читают.

— Т-а-а-к,— растянул учитель гимназии и подозрительно насторожился.— Эти именно стихи вам не по нраву пришлись по их содержанию?

— Вроде того,— отрывисто буркнул Подпорин и весь подобрался, как перед дракой. Он оглянулся на широкобрового парня, взглянул на строгого слесаря и, получив обратный кивок, перевел глаза на стоявшего у барьера со шляпой. Тот продолжал казаться равнодушным и чуть заметно крутил головой.

— Запереглядывались! Одна шатия! — торжествующе закричал «промежуточник».

Интеллигент со стороны Подпорина пытался было говорить о праве каждого зрителя по-своему оценивать выступления, но ему не дали.

— Еще образованный, а хулиганов защищает.

— Ученые пошли! По сапожному делу ходатаи.

«Промежуточники» теперь окончательно определили свою позицию. Они оказались передовой цепью наступающих от сцены.

Под их прикрытием кричал акцизник:

— Нет, пусть Подпорин прямо скажет, чем ему стихи не понравились. Вот при господине надзирателе пусть объяснит.

— Да хоть в участке. Не твое заячье дело, не испугался...

— Пусть и то скажет, о чем он с Терентием да с Удниковым с рабочими говорили. Там вон на травке-то сидели, когда я проходил. Забыл, поди? Напомнить надо! — впутался хорькообразный старичонка из ломбарда. И на хищном, остреньком личике, к которому с подбородка и щек как будто были привешены пучки сухого седого мха, отразилось торжество побеждающего шпика.

Парень, сидевший за Подпориным, легко поднялся и, сунув левую руку за широкий желтый ремень, сделал два шага вперед по направлению к старичонке, который оказался в проходе. Парень не сказал ни слова, но в твердом движении и в сухом блеске глаз ломбардный старичонка почуял серьезную угрозу. Он сразу сник, спрятался за других, как-то по-крысиному пискнув:

— Могу напомнить... если пожелаю...

— А ты не желай,— спокойно посоветовал парень и добавил: — Без тебя хватит собачек-то зря брехать. Побереги язык, а то чем блудить будешь в ломбарде-то своем, на оценке.

Эти спокойные слова вызвали взрыв смеха в рабочей группе, которая теперь уже вся была на ногах и, перешагивая через скамейки, приближалась к «линии боя». Пробежал смешок и в рядах противника. Многим «промежуточникам» тоже приходилось иногда закладывать вещи в ломбард, и все знали поганую привычку оценщика осмеивать и всячески поносить заклад с целью снизить цену.

Вообще вмешательство этого ломбардного хорька оказалось на руку рабочим. Большинство интеллигенции

все-таки считало себя либералами. Прямой призыв акцизника к полицейскому участку их смутил — стали уже «расходиться от скандала». Гнусное предложение ломбардного хорька сейчас же сделать подробный донос усилило желание «отстраниться от грязного дела».

Молодой, но уже непомерно раздавшийся вширь присяжный поверенный под руку с «дамой в белом» крикнул в сторону почти совсем опустевшей передней части зала:

— Господа, к драке, кажется, близко! Расходитесь скорее, пока бока не намяли.— И из дверей ворчливо добавил: — Черт знает! Какие-то юберменши из сапожников появились. Хоть театр закрывай из-за них.

— Ты, господин... как тебя... сытый барин! По-заграничному не матерись! Мы не сильно учены... Только по-российски можем. Обложу, так мадама твоя скорачь поползет. Остерегайся! — крикнул ему вдогонку Подпорин.

— О чем это он? — деловито спросил слесарь.

— Да так... Задается, что слова немецкие знает. Юберменш по-нашему сверхчеловек означает. Ему, видишь, против шерсти пришлось, что сапожник о стихах заговорил.

— Не любят этого. Все за себя захватить желают,— вставил свое слово «промежуточник», один оставшийся с рабочей группой.

— Ты-то что тут вертишься? — сурово спросил слесарь.— Ушли твои хозяева. Беги скорее... хвостиком вилять. Ну...— И слесарь двинулся, прямой и строгий, на оставшегося одиночку, который быстро отступал, бормоча: «Что ты, что ты, разве я худое...»

— Зачем так? — упрекнул Подпорин.— Может, не разобрался человек.

— Знаю я их, криводушных! Мотаются туда-сюда. А у самого сына на войне убили. Дурак!

— Вот я и говорю, может,— сглупа он.

— Пришьешь ему ума-то, ежели он базаром живет?

— Пришить не пришью, а прояснить можно,— не сдавался Подпорин.

— Городских мещан нам просвещать некогда,— неожиданно заговорил стоявший со шляпой у барьера.

— Обронил-таки золотое словечушко,— насмешливо отметил Подпорин и вместо ответа спросил: — У тебя что... шея болит?.. Головой-то все вертел?

— Есть от чего и голове заболеть. Крику на пустом месте вон сколько наделал. Целесообразно это?

— Как же ты думаешь? — обиделся Подпорин — Так им и спускать, когда тебе в лицо харкнут?

— Ну, пошли,— предложил слесарь,— дорогой договорите.

— На вольном-то поветрии способнее,— подтвердил лохматый, корявый старичина и, понизив голос, добавил в сторону Подпорина: — Без лишних ушей про семейные дела говорят.

— Почему семейные? — запротестовал было Подпорин, но старик, обхватив его своими заскорузлыми ручищами, добродушно говорил:

— Не кипятись ты, чайник, не расплескивай воду! Промеж своих спор. Вот и говорю — семейное дело.

Когда прошли оба моста через Курейку и Пышму и стали расходиться небольшими группами по городу, разговор о целесообразности выступления в театре возобновился, но уже без прежнего задора. Подпорин, видимо, переоценил свое выступление и мирно спрашивал:

— Так говоришь, не надо было связываться?

Сысков, тоже без раздражения, стал говорить о необходимости экономить силы, не впутываться в такие дела, которые не могут дать значительных результатов, а могут вызвать ослабление сил рабочих. Кстати, пожурил Удникова, который слишком быстро переходил к «действиям». Закончил он шутливым предсказанием:

— Смотрите, не вышли бы эти стихи нам всем «с заключением».

— Не могу я,— оправдывался Подпорин.— В рожу дать хочется. От слова тут не удержишься. И этих, пустяковиков-то, жаль все-таки. Взять хоть эту чиновную блоху акцизную. Жалованьишка ему на хлеб не хватает... Жена со слезами ходит ко мне ребятишкам сапожнешки починить... А он тоже вякает... Капиталист выискался! Вот и охота в башку вбить настоящее понятие...

Стихи действительно оказались если не с заключением, то, во всяком случае, с замечанием и некоторыми последствиями.

Дня через два Подпорина и всех сколько-нибудь замеченных в «посторонних разговорах» «пригласили» к уполномоченному по военной охране города. Обрюзгший старик выспрашивал каждого поодиночке, записывал что-то, но для подписи не давал и угрожающе резюмировал: «Если будут замечены повторения подобных проступков, то мною всенепременно будут приняты меры к административному выселению за пределы губернии».

Таскали и Сыскова, хотя тот не проронил ни одного слова во время «дискуссии о стихах».

По этому случаю наши шутили:

— Тебе тоже пообещали высылку. Поделом — не молчи!

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

В начальных школах 70—80-х годов прошлого столетия учились читать и писать по книгам Ушинского «Родное слово». Книг было три. В двух первых — материал для чтения, пересказа, бесед, заучивания наизусть: третья книга — учебник грамматики.

Понятно, что такой выдающийся представитель русской педагогики, каким был К. Д. Ушинский, в своих книгах отводил большое место и народному творчеству и творчеству нашего гениального поэта А. С. Пушкина. Третья книга «Родного слова» даже полностью опиралась на одно произведение Пушкина, на сказку «О рыбаке и рыбке».

Наряду с пушкинскими стихами в книгах имелись и такие, что пишутся для хрестоматий по специальному заданию. Они тоже делались, как говорится, «без нарушения просодии», но тонкое восприятие ребенка все-таки улавливало в них что-то фальшивое. Об одном из подобных стихотворений вспоминает А. М. Горький в «Детстве»: «Большая дорога, прямая дорога, простора немало взяла ты у бога...»

«Я возненавидел,— говорит Горький,— эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла...

Дорога, двурога, творог, недорога...»

Встречались в книжках «Родного слова» и слащавые стихи, которые в мужской школе рабочего поселка вызывали недоверие даже у первоклассников.

— Вишь, поет! Разевай рот,— пряников насыплют!

Первым пушкинским стихотворением для меня было «Утро». Потом выяснилось, что и до этого я со своими сверстниками распевал пушкинские стихи, но не знал, кому они принадлежат. На этот раз запомнилось не только стихотворение, но и его автор. Оно оказалось даже событием, которое запомнилось на всю жизнь.

Было это, помню, во второй половине учебного года, после святочных каникул. Точно это пришлось на январь — февраль 1887 года. Мы — ученики 1-го отделения школы — к тому времени научились «складывать слова» и теперь усиленно упражнялись в чтении. Одним из видов упражнения было чтение стихов, которые тут же заучивались наизусть. Считалось, что такое чтение содействовало укреплению навыков в схватывании глазом целых слов. В то же время это было и упражнение памяти, чему в старой школе придавали большое значение.

Заучивание стихотворений начиналось, как водится, с объяснения непонятных слов и выражений. Порой на это требовалось немало времени. Взять хоть ту же «дорогу-двурогу», где надо было втолковать выражения вроде «широкою гладью, как скатерть, легла» и т. д.

Стихотворение «Утро» удивило тем, что там вовсе не потребовалось никаких объяснений. По вопросам учителя мы составили такую оценку стихотворению: «В нем все говорится по порядку, потому оно само запоминается да еще как-то веселит».

Эта оценка подтвердилась и на деле. Большинство запомнило стихотворение с первой читки.

Когда даже самые слабые ученики запомнили стихотворение и «бойко читали по знакомому месту», учитель сказал, повторяя нашу оценку:

— В том и дело, что у Пушкина все понятно, «все

говорится по порядку» и все «само запоминается». Так и знайте, что нет и не было у нас писателя ближе, роднее и больше, чем Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня вот как раз исполнилось пятьдесят лет, как его убили, а никто вровень с ним не стал и станет ли — неизвестно.

Учитель держал нас строговато, не любил, чтобы «высовывались» с вопросами, когда нас не спрашивают, но на этот раз не сделал замечания, когда со всех сторон послышалось:

— Кто убил? Где убил? Как убили? Почему? Что сделали с теми, кто убил?

Учитель рассказал о дуэли и последних днях Пушкина и угрюмо добавил:

— Подрастете, сами узнаете, что дуэль подстроена была. Большому начальству неугоден был Пушкин,— его и подвели под пистолет, а того чужеземца, который Пушкина убил, выслали домой. Все и наказанье ему было в этом.

Такой осталась в моей памяти пятидесятая годовщина смерти великого поэта.

Был необычный урок, запомнившийся на всю жизнь,— и только. Никаких других напоминаний о годовщине смерти Пушкина по заводскому селенью не было, хотя селение это насчитывало свыше десяти тысяч жителей. По старым меркам это считалось в ряду уездных городов. В поселке было три школы и даже клуб для конторских, где изредка давались «представления для простого народа». Теперь после святок этот клуб оказался закрытым до пасхи, а в школах, как мы узнали, даже не было упомянуто о годовщине смерти Пушкина.

Когда я об этом рассказал дома, отец пояснил:

— Так ведь ваш-то Александр Осипыч из таких... за народ которые... Такой, небось, про Пушкина не забудет. А по тем школам учительки есть из управительской родни. Они, поди, пикнуть боятся про Пушкина, потому, ясное дело, убило его начальство. Я еще когда на военной службе был, слыхал об этом. Вчера картину

вон показывали. С Трофимовой улицы один приносил. Так там сразу видно, что военные были подосланы, чтоб Пушкина застрелить.

С этого времени, с пятидесятой годовщины смерти, стихи Пушкина стали для нас, школьников, особо приметными. Каждое новое стихотворение продолжало удивлять тем, что не требовало никаких объяснений: «само понималось» и «само училось». Не забывался и разговор о том, что «Пушкина убили» и что в других школах об этом даже не говорят «из-за управительской родни». Выходило, что Пушкин «вроде политики», то есть тех людей, которых особо не любит начальство и о которых говорить надо с оглядкой. Это, однако, никак не укладывалось в ребячьем понимании — почему же тогда печатают стихи Пушкина. Казалось непонятным и другое: за что начальство невзлюбило Пушкина, у которого «всегда к веселому выйдет»... Кажется, хуже нельзя: «В бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в окиян», а глядишь, волна «бочку вынесла легонько, и отхлынула тихонько», а дальше «сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся... вышиб дно и вышел вон». Последние строки у нас были в большом ходу, когда надо было показать победный выход из трудного положения.

В детском представлении казалось просто невозможным не любить такого веселого писателя, и в силу этого возникало предположение, что Пушкин писал и что-то другое, если его так ненавидели люди из начальства. Захотелось найти это другое, за что начальство не любило Пушкина. Однако впервые удалось получить том пушкинских стихов лишь через три года после первого знакомства с его произведениями. Получил книжку на довольно тяжелых условиях — выучить наизусть весь том. Надо думать, что библиотекарь пошутил, а я понадеялся на то, что пушкинские стихи «сами заучиваются». На этот раз оказалось не совсем так. Не знаю, что это было за издание, но помню, что было в пяти хорошо переплетенных книжках, и первый том начинался стихотворениями: «Невод рыбак расстилал по бере-

гу студеного моря» и «В младенчестве моем она меня любила»...

Первое из этих стихотворений, при своей краткости и кажущейся простоте, оставляло какой-то неразрешенный вопрос, а второе и вовсе было сложно для десятилетнего и не очень привыкшего к литературной речи мальчугана. Заучивая наизусть, я не очень отчетливо понимал, что значит — «она внимала мне с улыбкой; и слегка по звонким скважинам пустого тростника уже наигрывал я слабыми перстами и гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов».

Такое начало, помню, сильно смутило, но, перелистывая книгу, дошел и до таких поэм, как «Братья-разбойники», «Тазит». Здесь нашел того Пушкина, стихотворения которого «сами заучивались». Настроениям ребячьей героики, конечно, близка была картина, как «За Волгой, ночью, вкруг огней удалых шайка собиралась». Неотразимо действовали и такие описания:

«И с ним кладут снаряд воинской:
Неразряженную пищаль,
Колчан и лук, кинжал грузинской
И шашки крестовую сталь,
Чтобы крепка была могила,
Где храбрый ляжет почивать,
Чтоб мог на зов он Азраила
Исправным воином восстать».

В этой же книге были сказки, отрывки которых мне были известны еще в начальной школе. В результате, сдавая через месяц книгу, я мог смело заявить библиотекарю:

— Вот, выучил.

В 1899 году была годовщина столетия со дня рождения Пушкина. Она тоже запомнилась. Царское правительство, как видно, не решалось замолчать эту годовщину, как это было с пятидесятилетием смерти поэта. В то же время правительство явно боялось студенческих

я ученических волнений, которые, будучи поддержаны рабочими, могли принять в больших городах внушительные размеры. Чтоб уменьшить в больших городах число учащихся, решили применить тот же прием, что и в 1896 году, когда по случаю царской коронации был сокращен учебный год. На этот раз тоже было объявлено о сокращении учебного года более чем на месяц. Учащиеся младших классов, разумеется, этому радовались, старшие понимали, чем вызвана такая мера, но тоже «проживаться в городе без занятий» не могли, и к юбилейной дате большинство разъехалось по домам.

Мне в 1899 году было уже двадцать лет, и я готовился, как говорилось тогда, к выходу в жизнь с очень небольшим багажом среднего образования. Творчество Пушкина знал теперь гораздо основательнее и выделял на первое место совсем не то, что пленяло в детстве. Знал теперь и то, почему разных рангов «управительская родня» избегала говорить о смерти поэта. В отдельных случаях за извращенным царской цензурой текстом умел читать подлинное пушкинское слово, знал на память немало произведений и успел ознакомиться с частью тех, которые тогда ходили в рукописях.

Понятно, что при юношеской самоуверенности тех дней я склонен был считать себя достаточно сведущим в творчестве А. С. Пушкина.

С той поры прошло пятьдесят лет. За это время, особенно в начале столетия, не раз пришлось слышать утверждения, что «Пушкин устарел», что «нельзя теперь писать стихи и прозу в пушкинской манере». Какая-то часть этих утверждений повторялась и в первые годы советской власти, когда грамотеи старой выучки усиленно призывали «идти вперед не от давних этапов, а от последних достижений литературы». Вскоре, однако, эти «последние достижения литературы», то есть словесные фокусы, сюжетное вихлянье и всякого рода кривлянье на пустом месте, были отброшены, а «давние этапы», в частности творчество Пушкина, стали предметом внимательного изучения.

Всенародная известность поэта справедливо является предметом национальной гордости каждого из нас, но, мне кажется, она особо волнует тех, кто еще помнит времена, когда о Пушкине нельзя было говорить полным словом.

А все-таки и теперь, когда появилось немало солидных работ о Пушкине, его творчество не кажется раскрытым полностью. Даже больше того, с годами начинаешь думать, что многое в этом творчестве гораздо сложнее, чем ты раньше считал.

Взять, например, «Повести Белкина», пять небольших рассказов об анекдотических случаях жизни разных слоев населения крепостной России. Написаны они так просто, что кажется, будто каждый грамотный может так рассказать. Читал ты эти «Повести Белкина» не один раз, помнишь фабулу каждого рассказа, но почему-то любой рассказ с любой строки приковывает твое внимание и заставляет читать или слушать до конца.

Говорят, что это своего рода рефлекс — воздействие усвоенного с детских, юношеских лет. Может быть, это и верно в какой-то степени, но полной правды тут нет. Что побуждает перечитывать «Выстрел», «Метель», «Станционного смотрителя», «Гробовщика», «Барышню-крестьянку»? Там как будто все ясно до предела, усвоено с первого чтения, не особенно волнует близостью темы, а читаешь с наслаждением. Что здесь больше действует? Насыщенность живой деталью, в силу чего кажется интересным даже похмельный сон гробовщика? Или, может быть, влечет внешняя простота, за которой чувствуешь ту высокую ступень искусства, когда оно становится незаметным для читателя, слушателя, зрителя.

Не менее удивительным кажется у Пушкина и воплощение исторических образов, их историческая правдивость и полнокровность. В частности, особо изумляет изображение Пугачева, который, как известно, действовал среди мало знакомого поэту казачьего населения. Между тем едва ли кто станет оспаривать, что за сто

двенадцать лет, прошедших со дня смерти Пушкина, наша литература не смогла дать образ Пугачева, равный тому, какой имеем в «Капитанской дочке».

А полиметалл пушкинских сказок? Разве мы знаем тайну этого сплава личного и народного творчества?

Наконец, черновые записи Пушкина. Что в них? Стремление уловить «первозданную красоту и оригинальность факта» или творческое его преобразование при самой записи?

Словом, семидесяти лет моей жизни не хватило, чтоб понять тайну творчества А. С. Пушкина.

Есть, правда, для всего этого простое объяснение — ссылка на гениальность поэта. Гениальность, разумеется, бесспорна и несравнима, но рядом с ней у Пушкина идет и большой труд. Все мы знаем, например, что роман «Евгений Онегин» писался 8 лет, что небольшой повести «Капитанская дочка» предшествовала большая работа в архиве и, кроме того, длительная и трудная по условиям того времени поездка на лошадях из Петербурга в Оренбург.

Эта вот сторона трудовой жизни поэта и кажется мне слабо изученной, а в ней-то и надо искать ответа на вопрос о пушкинском проникновении в жизнь народа, в его речь, жест, устремления и мечты.

ПРИМЕЧАНИЯ

В третий том вошли автобиографические произведения П. П. Бажова — его очерки, повести, рассказы, воспоминания. Расположенные в хронологическом порядке изображаемых в них событий, очерки и повести не только складываются в целостное повествование о жизни самого писателя, но одновременно дают широкую картину быта и труда уральских рабочих, прошлого и настоящего горнозаводского Урала.

УРАЛЬСКИЕ БЫЛИ

Первые главы книги печатались в журн. «Товарищ Терентий», Екатеринбург, 1924, №№ 17—19, под заголовком «Из недавних Уральских былей». Полностью очерки вошли в книгу «Уральские были», Екатеринбург, Уралкнига, 1924, под заглавием «Уральские были (Из недавнего быта Сысертских заводов. Очерки)». В дальнейшем отдельные разделы книги публиковались в различных сборниках: «Старики», «Спичечники и кустари», «Забастовка в Сысерти» — вошли в кн.: «Классовая борьба на Урале», Свердловск, 1930; «Расчеты по мелочишкам» в кн.: «Литературная хрестоматия к истории Урала», т. I, XVII—XIX века, Свердлгиз, 1936, а «Жалованный кафтан» был опубликован в журн. «Уральский следопыт», 1935, № 2.

Место действия «Уральских былей» — Сысертский горный округ в последние десятилетия девятнадцатого века. В производственных и бытовых взаимоотношениях героев автор раскрывает типические общественные связи той эпохи.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ЗЕЛЕНАЯ КОБЫЛКА

Впервые — детский альманах «Золотые зерна», Свердловское областное издательство, 1939, а затем отдельным изданием: Свердлгиз, 1940, под псевдонимом Е. Колдунков. Позднее изда-

валась уже под фамилией автора. По мотивам этой автобиографической повести, рисующей детские годы писателя, Свердловской киностудией в начале 1961 года был поставлен фильм, который назывался «Тайна заединщиков», а в 1979 году фильм «Тайна зеленого бора».

По свидетельству самого П. Бажова, он часто прибегал к псевдонимам: «Помню — Егорша Колдунков для повести; Чипонев (читатель поневоле) — для библиографических заметок, которые печатал в журналах «Штурм» и «Товарищ Терентий»; П. Осинцев (по девичьей фамилии матери) — для очерков из быта новостроек; П. Деревенский — подписывая очерки из быта колхозной деревни» (из архива писателя). А для очерков, статей, корреспонденций о жизни уральских заводов П. Бажов прибегал к псевдонимам П. Старозаводский, С. Заводский. Многие из своих газетных статей и заметок подписывал он просто инициалами П. Б. Псевдоним Е. Колдунков — синоним фамилии писателя. Сам Бажов объяснял его так: «Бажить» — самое ходовое северное слово, означает — ворожить, но не угадывать, а предвещать, накликать. «Не бажи, себе не наворожи». Отсюда и наше заводское уличное прозвище — Колдунковы» (из беседы с писателем. См. кн.: Л. Скорино «П. П. Бажов». М., 1947, стр. 90).

ДАЛЬНЕЕ — БЛИЗКОЕ

Первый набросок повести был дан П. Бажовым в очерке «Наш город» (Воспоминания о Екатеринбурге — Свердловске), опубликованном в сборнике «Свердловск», Свердлгиз, 1946. В законченном виде повесть вышла отдельным изданием в «Библиотеке «Огонек», изд. «Правда», 1949, № 2—3, а также в журн. «Уральский современник», Свердловск, 1949, № 14, с подзаголовком: «Из повести «Егоршин случай». Эта автобиографическая повесть является продолжением «Зеленой кобылки». Писателем были задуманы еще две детские повести— «Крашеный панок» и «Егоршин случай», но замысел этот остался неосуществленным.

ЗА СОВЕТСКУЮ ПРАВДУ

Впервые — изд. «Уралкнига», Свердловск, 1926.

Автобиографическая повесть написана в 1924—1925 годах, рисует годы гражданской войны в Сибири, партизан сибирского урмана, подпольную работу большевиков в колчаковском тылу. К ней примыкает очерк писателя «По колчаковии. В 1919 году. Из воспоминаний невольного туриста» (газ. «Красный путь», 1922, 15 июля).

Повесть «За советскую правду», по замыслу автора, должна была открывать цикл книг-воспоминаний о жизни горнозаводского Урала и Сибири в годы борьбы за Советскую власть.

«Таких книг,— говорил Бажов,— тридцать две штуки было намечено. После рассказа о жизни урмана хотел показать Алтай, как бились за прииск Аджар в 1920 году... Или вот еще деталь: горцы Кавказа — в чеканных поясах, папахах, кинжалы и прочее. А деревня Орловка — выше кавказских гор, жители в зипунах, овчинах, кашемировых кистях: партизаны. И называются эти бабы и мужики — «полк горных орлов». Пиши, не отрывая пера». (Запись беседы от 29 марта 1943 года. Из архива писателя.)

Герои повести — реальные участники и свидетели великих событий трудного, героического 1919 года. «Здесь нет выдумки,— писал П. Бажов.— Местами даже не изменены названия мест и действующих лиц. Оставшиеся в живых могут узнать себя». Ученики «подпольщика Кирибаева» — Бажова, теперь передовики колхозного строя, и сегодня помнят своего учителя: «Много он нам рассказывал разного, и все больше про то, какая жизнь будет у нас через пятьдесят лет... Помню, нас прямо-таки огорошили слова Белинского о том, что он завидует тем, кто будет жить в 1940 году... «Да как он знает об этом?» — удивлялись мы. Павел Петрович лишь улыбался: «Умный человек всегда знает, что наступит в будущем...» — «А вы знаете?» — «Знаю...» — «Расскажите!»... Сейчас я уже и не упомню всего, но многое из того, что он говорил нам, сбылось. Даже с лихвой! А ведь, честно признаться, сказками считали». (Из рассказа о поездке по следам П. Бажова-Кирибаева: Геннадий Андреев. «Вторая жизнь села Бергуль». «Литературная Россия», 5 декабря 1968 г., стр. 5.)

ЧЕРЕЗ МЕЖУ

Впервые — сборник ранних произведений П. Бажова «Уральские были», Свердлгиз, 1951. Этот сборник был подготовлен самим автором, но вышел уже после его смерти.

Начато это произведение в 1934 г., после поездки писателя в Краснокамск, на строительство крупного бумажного комбината. Задумано первоначально как повесть об уральской прикамской деревне в период развертывания индустриального строительства, коллективизации, острейшей классовой борьбы. П. Бажовым написано было лишь несколько глав. Позднее автор придал им законченный характер. Герои совершают переход «через межу», отделявшую старую жизнь деревни от новой.

В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ

Впервые — «Крестьянская газета», 1929, 22 мая, за подписью П. Б. Позднее под названием «В пасхальную ночь» включен автором в книгу «Уральские были», Свердловск, 1951.

Рассказ написан на основе жизненных впечатлений, полученных П. Бажовым в поездках по уральским деревням по заданиям «Крестьянской газеты» (Свердловск). В мае 1927 г. писатель выезжал в Щучанский район для проведения Дня печати, что и послужило сюжетной канвой для рассказа, первоначально названного автором «Везде бы так (Радио в пасхальную ночь)».

СПОР О СТИХАХ

Писателем была задумана большая повесть о революции и гражданской войне на Урале. В 1933 г. в свердловском журнале «Штурм» №№ 8—9 печатались первые ее главы под названием «В кадетской крепости». Позднее П. Бажов изменил заголовок — «Спор о стихах» и включил в книгу «Уральские были», 1951.

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Впервые — журн. «Огонек», 1949, № 23.

Л. Скорино

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В 1—3 тт. СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ П. П. БАЖОВА

СОДЕРЖАНИЕ

Павел Петрович БАЖОВ

Сочинения
в трех томах

Том III

Оформление художника
В. В. Еремина

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1235

Сдано в набор 16.07.85. Подписано к печати 25.10.85.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 18,06. Уч.-изд. л. 17,98. Усл. кр.-отт. 20,58.
Тираж 750 000 экз. Изд. № 63. Заказ № 1186.
Цена 1 р. 80 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс 70684